

Доктор Паскаль

Эмиль Золя

Доктор Паскаль

Эмиль Золя

Аннотация
Эмиль Золя. Доктор Паскаль
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV

Аннотация

«Доктор Паскаль» – история любви, которая связала двух очень разных людей и сделала их счастливыми. Доктор Паскаль – ученый, отдавший себя науке и не замечавший ничего и никого вокруг себя. Так продолжалось до тех пор, пока в его жизни не появилась Клотильда – юная, наивная девушка, которая полюбила его всем сердцем. Ее любовь стала для Паскаля ценным даром. Благодаря Клотильде он наконец узнал, что значит настоящее счастье.

Эмиль Золя
Доктор Паскаль

© Яхнина Е., перевод на русский язык, 2019
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

* * *

ПАМЯТИ МОЕЙ МАТЕРИ И МОЕЙ ДОРОГОЙ ЖЕНЕ
Посвящаю я этот роман-итог, который венчает мое творчество.

I

В знойный июльский день в большой комнате с тремя окнами, тщательно закрытыми старыми деревянными ставнями, царил глубокий покой. Сквозь щели рассохшихся ставней пробивались скупые солнечные лучи, и комнату, погруженную в полумрак, наполнял рассеянный свет, мягко озарявший все предметы. Здесь было почти прохладно, но чувствовалось, что на улице, где солнце раскалило стены дома, все изнывает от жары.

Стоя у шкафа против окон, доктор Паскаль искал какую-то рукопись. Резные дверцы огромного дубового шкафа с искусной добротной оковкой работы прошлого века были открыты настежь, и в глубине его чрева виднелись груды бумаг, нагроможденные в беспорядке, папки, рукописи. Уже свыше тридцати лет доктор складывал сюда все свои работы, от кратких заметок до завершенных больших трудов о наследственности. Вот почему здесь нелегко было что-нибудь разыскать. Паскаль терпеливо рылся в своих записях и, найдя наконец то, что искал, улыбнулся.

Еще несколько минут он задержался у шкафа, перечитывая найденную заметку, на которую из среднего окна падал золотой луч. Паскалю было под шестьдесят, но он сохранил юношескую осанку, коричневая бархатная куртка плотно облегала его фигуру, черты лица не расплылись, кожа была свежей, а глаза так по-детски ясны, что, несмотря на седые волосы и бороду, он казался в этой полутьме молодым человеком, надевшим пудреный парик.

— Вот что, Клотильда, — произнес он наконец, — перепиши-ка эту заметку. Рамону ни за что не разобрать моих каракуль.

И он положил бумагу на высокую конторку, за которой, стоя в амбразуре правого окна, работала молодая девушка.

— Хорошо, учитель, — отозвалась она.

Она так увлеклась рисунком, который набрасывала крупными штрихами пастели, что даже не повернула головы. Подле нее в вазе стояла роза причудливого лилового оттенка с желтыми прожилками. Паскалю была отчетливо видна круглая головка девушки с белокурыми, коротко остриженными волосами, был виден ее прелестный строгий профиль, внимательно нахмуренный лоб, голубые глаза, тонкий нос, упрямый

подбородок. Особенно пленяла своей юной свежестью ее склоненная молочно-белая шейка с буйными золотистыми завитками. В длинной черной блузе, очень высокая, с тонкой талией, маленькими грудями, она стройным удлиненным телом и гибкостью стана напоминала божественно прекрасные фигуры Возрождения. В двадцать пять лет в ней все еще было что-то детское, и она выглядела никак не старше восемнадцати.

— Наведи, кстати, порядок в шкафу, — продолжал доктор. — Там ничего не найдешь.

— Хорошо, учитель, — повторила она, по-прежнему не поднимая головы. — Немного погодя.

Паскаль сел за письменный стол, стоявший на другом конце комнаты у левого окна. Это был простой стол черного дерева, заваленный, как и шкаф, бумагами и всевозможными брошюрами. И снова все погрузилось в безмолвие, в сумеречный покой, а там, за стенами дома, нещадно палило солнце. В просторной комнате длиной в десять метров и шириной в шесть стояли шкаф и две массивные полки, загроможденные книгами. Стулья и старинные кресла были расставлены как придется, а стены, оклеенные старомодными обоями с розетками в стиле ампир, украшали только пастели с изображением цветов необыч-

ной окраски, смутно различимых в полумраке. Резьба на трех двухстворчатых дверях: входной, ведущей на площадку, и двух других, — в спальню доктора и напротив, в спальню Клотильды, относилась к временам Людовика Пятнадцатого, так же как и карниз закопченного потолка.

Так прошел час в полной тишине, ни звука, ни шороха. Потом Паскаль, чтобы немного отвлечься от работы, вскрыл бандероль, забытую на столе, и, развернув газету «Тан», воскликнул:

— Вот как! Твой отец назначен главным редактором «Эпок» — весьма популярной республиканской газеты, в ней публикуются документы о Тюильри.

Этой новости он, по-видимому, не ждал, потому что рассмеялся от души, довольный и в то же время слегка огорченный.

— Право, странная штука жизнь! — продолжал он вполголоса. — Любая выдумка покажется более правдоподобной, чем эта история. Ага, тут есть интересная статья…

Клотильда ничего не ответила на слова дяди — казалось, она унеслась мыслями куда-то очень далеко. Он тоже умолк и, кончив читать, вырезал статью, наклеил ее на лист бумаги и крупным, неровным почерком обозначил дату и название

газеты, откуда сделана вырезка. Затем вернулся к шкафу, чтобы присоединить новую заметку к другим. Ему пришлось взять стул — несмотря на высокий рост, он не мог дотянуться до верхней полки.

Здесь аккуратно выстроились в ряд пухлые синие картонные папки, расставленные по определенной системе. Чего только в них не хранилось! Рукописи, листы исписанной гербовой бумаги, статьи, вырезанные из газет. И на каждой папке крупным почерком выведено название. Было видно, что эти документы содержатся образцово, читаются и перечитываются, а затем неукоснительно ставятся обратно; во всем шкафу только на этой полке и был порядок.

Стоя на стуле, Паскаль отыскал нужную папку — одну из самых внушительных, с надписью «Саккар», вложил в нее вырезанную статью и тут же поставил обратно на место в алфавитном порядке. На мгновенье он задумался, затем аккуратно поправил груду бумаг, грозившую рассыпаться. И, наконец, спрыгнув со стула, сказал:

— Клотильда, когда будешь убирать, не трогай папок наверху, слышишь?

— Хорошо, учитель, — покорно ответила она в третий раз.

Он засмеялся и с обычной своей веселостью заметил:

— Это строго запрещается!

— Я знаю, учитель!

Он затворил шкаф, решительно повернул ключ и бросил его в ящик письменного стола. Клотильда была знакома с его трудами и могла навести порядок в рукописях; он охотно поручал ей также секретарские обязанности, давая переписывать набело ту или иную заметку, когда его коллега и друг доктор Рамон хотел с ними ознакомиться. Но Клотильда отнюдь не была ученой, и доктор просто-напросто запрещал ей читать то, что считал для нее бесполезным.

Заметив, что она с головой ушла в свое занятие, Паскаль удивленно спросил:

— Что с тобой? Ты как будто язык проглотила! Неужто ты так увлечена своим рисунком?

Доктор часто доверял Клотильде подобную работу — рисунки карандашом, акварелью или пастелью, служившие затем иллюстрациями к его научным трудам. Вот уже пять лет он производил очень любопытные опыты над коллекцией штокроз, получая путем искусственного опыления цветы все новой и новой окраски. Клотильда так тщательно передавала оттенок и форму

цветка, что Паскаль неизменно восхищался ее добросовестностью, повторяя, что у нее «славная, светлая головка, разумная и смышленая».

Но на этот раз, подойдя к Клотильде и заглянув через ее плечо, он закричал с комическим негодованием:

— Этого только недоставало! Ты опять в мире своих фантазий?! Изволь сейчас же все разорвать!

Она выпрямилась, краска залила ее щеки, глаза все еще горели вдохновением. Зажатые в руке пастельные карандаши раскрошились и оставили красные и синие пятна на ее тонких пальцах.

— О, учитель!

И в слове «учитель», звучавшем в ее устах такой нежной покорностью и полным подчинением, в этом слове, с каким она всегда обращалась к нему, стараясь избегать обычных «опекун» или «дядя», казавшихся ей банальными, — впервые послышалась нотка возмущения, протест человеческой личности, вдруг осознавшей себя и желающей утвердить свое «я».

Она перестала старательно копировать штокрозы и на другом листе за два часа успела набросать гроздья каких-то небывалых цветов, великолепных, причудливых и сказочных. С

Клотильдой случалось порой, что, срисовывая самый обыкновенный цветок, она вдруг испытывала потребность отдаться своей капризной фантазии. И, уступая разыгравшемуся воображению, она неизменно повторяла все ту же тему этих необычных соцветий и создавала плачущие желтыми слезами розы с кровавой сердцевиной, лилии, похожие на хрустальные чаши, и даже цветы не существующих в природе форм, чьи венчики походили то на лучистые звезды, то на зыбкие облака. Сегодня на лист бумаги, крупно заштрихованный черным карандашом, хлынул дождь бледных звезд, целый поток бесконечно нежных лепестков; а в углу рисунка распускался девственный бутон диковинного цветка.

— Ты и это собираешься повесить сюда? — спросил доктор, показывая на стену, где уже висели другие, столь же странные пастели. — Но что же тут изображено, хотел бы я знать!

Сохраняя серьезность, она отступила на шаг, чтобы лучше рассмотреть свое произведение.

— Сама не знаю, но это красиво!

Тут в комнату вошла Мартина — единственная служанка доктора, ставшая хозяйкой в доме за те без малого тридцать лет, что она у него прожила. Всегда деятельная и молчаливая, в

неизменном черном платье и белом чепце на голове, придававшем ей сходство с монахиней, она, как и ее хозяин, тоже была моложава, хоть ей и перевалило за шестьдесят; на ее бледном умиротворенном лице светлые, выцветшие глаза казались угасшими.

Не говоря ни слова, Мартина опустилась на пол возле потертого кресла, из которого вылезал волос, и, вытащив из кармана иголку и моток шерсти, принялась за работу. Уже три дня ей не терпелось урвать свободную минуту, чтобы заштопать дыру.

— Раз уж вы занялись починкой, Мартина, — воскликнул шутливо доктор, взяв в обе ладони непокорную голову Клотильды, — почините-ка заодно и эту головку, которая дала трещину.

Мартина подняла свои потухшие глаза и с неизменным обожанием устремила их на хозяина.

— Почему вы говорите это мне, сударь?

— Да потому, голубушка, что мне сдается, будто именно вы с вашей набожностью наполнили потусторонними фантазиями эту славную головку, такую смышленую и разумную…

Обе женщины понимающе переглянулись.

— Что вы, сударь, еще не было случая, чтобы вера причинила кому-нибудь вред. Ну, а если

кто с этим и не согласен, то, право же, лучше не спорить.

Наступило неловкое молчание. Только разговоры о боге приводили порой к ссорам эту дружную, всегда согласную во всем троицу. Мартине было всего двадцать девять лет, на год больше, чем доктору, когда она поступила к нему в услужение, а он только начинал свою деятельность врача в маленьком светлом домике нового квартала Плассана. Тринадцать лет спустя один из братьев Паскаля, Саккар, овдовев и собираясь жениться вторично, прислал ему из Парижа свою семилетнюю дочь Клотильду, — и Мартина занялась воспитанием девочки, водила ее в церковь, стараясь передать ей свою горячую набожность. Доктор, человек широких взглядов, этому не препятствовал, ибо не считал себя вправе лишать людей счастья, какое дает вера. Позднее он сам взялся за образование девушки, стремясь внушить ей правильные, трезвые взгляды. Так жили они втроем вот уже почти восемнадцать лет, уединившись в Сулейяде — маленькой усадьбе одного из городских предместий неподалеку от церкви Св. Сатюрнена, жили счастливо, — доктор был всецело поглощен своими трудами, в которые он не посвящал никого; их безмятежную

жизнь нарушало только смутное беспокойство, все резче проявлявшиеся разногласия в вопросе веры.

Помрачневший Паскаль несколько минут ходил взад и вперед по комнате, затем сказал без обиняков:

— Знаешь, дорогая, все эти мистические бредни совсем сбили тебя с толку… Ваш боженька в тебе не нуждается, напрасно я не уберег тебя от него. Тогда тебе было бы куда легче!

Клотильда не сводила с него ясного взгляда и, дрожа от волнения, все же не сдавалась.

— Это тебе, учитель, было бы легче, если бы ты не смотрел на все только телесными очами… Есть еще нечто другое… Почему ты не хочешь этого понять?

Мартина поспешила прийти ей на помощь, как умела:

— И то верно, сударь, вы праведный человек, об этом я и толкую повсюду, вот вам и пойти бы с нами в церковь… Что и говорить, бог спасет вашу душу. Но как подумаю, что, может быть, вы не прямо попадете в рай, так меня дрожь пробирает…

Паскаль был смущен: обе эти женщины, никогда ему не прекословившие, покоренные его

жизнелюбием и добротой, боготворили его, а теперь они вдруг взбунтовались. Он уже раскрыл было рот, чтобы осадить их, как вдруг почувствовал всю бесполезность спора.

— Ладно! Оставьте меня в покое! Пойду работать, так будет лучше… Но потрудитесь мне не мешать!

Легким шагом он направился к себе в комнату, где у него было устроено некое подобие лаборатории, и заперся там. Паскаль строго-настрого запрещал входить к себе, потому что он занимался какими-то особыми опытами, в которые не посвящал никого. И тотчас послышался медленный, размеренный стук пестика в ступке.

— Ну вот, теперь он, как говорит бабушка, занялся своей дьявольской стряпней, — сказала, улыбаясь, Клотильда.

И снова она принялась не спеша срисовывать цветок штокрозы. Она с математической точностью набрасывала контуры лиловых с желтыми прожилками лепестков, передавала все оттенки, вплоть до самых тончайших.

— Какое несчастье! — пробормотала через несколько минут Мартина, снова усевшись на пол чинить кресло. — Такой праведный человек и так попусту губит свою душу! Ведь ничего не

скажешь, тридцать лет я его знаю, и ни разу он не сделал никому зла. Вот уж поистине золотое сердце, последнее отдаст. И такой он добрый, и всегда-то бодр и весел — божье благословение, да и только! Одна беда — не хочет примириться с господом богом! Правда, барышня, надо его заставить!

Удивившись такой необычной словоохотливости служанки, Клотильда ответила со всей серьезностью:

— В самом деле, Мартина. Мы его заставим, обещаю тебе!

Снова наступило молчание, как вдруг задребезжал звонок у входной двери. Его повесили внизу, чтобы о приходе посторонних было слышно во всех уголках дома, слишком обширного для трех его обитателей. Служанка удивилась и, пробормотав себе под нос: «Кого это принесло в такую жару!» — встала с пола, вышла на лестницу, наклонилась над перилами и, вернувшись, объявила:

— Госпожа Фелисите!

И тотчас на пороге показалась сама г-жа Ругон. Несмотря на свои восемьдесят лет, она легко, точно молоденькая, взбежала наверх: смуглая, худощавая, подвижная, она так же, как и в моло-

дости, походила на цикаду. Теперь она одевалась очень элегантно, ходила в черном шелковом платье, и талия ее была по-прежнему так тонка, что со спины ее можно было принять за молодую женщину, увлеченную честолюбивыми замыслами или любовной страстью. Кожа на ее лице высохла, но глаза сохранили былой блеск, и она по-прежнему умела расточать обольстительные улыбки.

— Неужто это ты, бабушка? — воскликнула Клотильда, идя ей навстречу. — Но ведь сегодня настоящее пекло, впору изжариться!

Фелисите, смеясь, поцеловала ее в лоб.

— Ну, мы с солнцем старые друзья!

Быстрыми мелкими шажками она засеменила к окну и откинула задвижку на одном ставне.

— А ну-ка, приоткройте окно! Разве не грустно жить в такой темноте! К себе я солнце впускаю.

Сквозь полуоткрытые ставни ворвалась струя яркого света, целый поток танцующих брызг. И под иссиня-лиловым, как при пожаре, небом среди этого всепожирающего зноя открылась широко раскинувшаяся, опаленная солнцем равнина, словно заснувшая мертвым сном. Справа над розовыми крышами высилась колокольня церкви Св. Сатюрнена — позолоченная башня,

выступы которой в этом ослепляющем свете напоминали побелевшую от времени кость.

— Я собираюсь в Тюлет, — сообщила Фелисите, — и забежала узнать, не у вас ли Шарль… Я хотела увезти его с собой. Но коль скоро его здесь нет… придется отложить до следующего раза…

Пытаясь объяснить свой визит этим предлогом, она продолжала шарить по комнате пытливым взглядом. Впрочем, она быстро переменила тему и, услышав ритмичный стук пестика, все еще доносившийся из соседней комнаты, заговорила о своем сыне Паскале.

— Ну конечно! Он, как всегда, занят этой дьявольской стряпней! Не беспокойте его. Он мне не нужен!

Мартина, снова принявшаяся за починку кресла, покачала головой, как бы говоря, что у нее нет ни малейшего желания беспокоить хозяина; и опять все умолкли. Клотильда вытирала тряпкой испачканные пастелью пальцы, а Фелисите, словно что-то выискивая, снова заходила по комнате мелкими шажками.

Старая г-жа Ругон вдовела около двух лет. Ее муж, ожиревший настолько, что уже не мог двигаться, скончался от удара, вызванного несварением желудка, в ночь на 4 сентября 1870 года,

после того как узнал о Седанской катастрофе. Казалось, его сразило крушение режима, одним из создателей которого он себя мнил. С тех пор г-жа Ругон делала вид, что больше не занимается политикой, жила, как королева, лишившаяся престола. Всем было хорошо известно, что в 1851 году Ругоны спасли Плассан от анархии, способствуя признанию государственного переворота 2 декабря, и что несколько лет спустя они снова одержали верх над легитимистскими и республиканскими кандидатами, отдав голоса Плассана бонапартисту. До войны сторонники Империи были здесь всемогущи и так популярны, что во время плебисцита получили подавляющее большинство голосов. Но после разгрома город стал республиканским, квартал Св. Марка снова занялся втихомолку роялистскими интригами, а старый квартал и новый город послали в палату депутатов либерала, близкого орлеанистам, который готов был в любую минуту перекинуться на сторону Республики, если та восторжествует. Вот почему Фелисите, женщина весьма умная, отошла от политики и примирилась с положением королевы, свергнутой с престола при смене правительства.

Но и в этом положении было нечто возвы-

шенное, овеянное своеобразной поэтической меланхолией. Фелисите царила целых восемнадцать лет. По мере того как шло время, все прекраснее становилась легенда о двух ее салонах — желтом, где созревал государственный переворот, а потом зеленом, где на нейтральной почве было завершено завоевание Плассана. Вдобавок Фелисите была очень богата. Все находили, что она с большим достоинством перенесла свое падение, без слез, без жалоб, к тому же за ее плечами была такая длинная цепь грязных интриг, алчных страстей и необузданных желаний, что в ее восемьдесят лет это придавало ей даже величие. У г-жи Фелисите оставалась единственная радость — наслаждаться на покое своим огромным состоянием и былым высоким положением, и она знала отныне одну лишь страсть — оберегать свое прошлое от всего, что в дальнейшем могло бы его запятнать. В своем тщеславии, питавшемся двумя деяниями, все еще не забытыми местными жителями, она ревностно пеклась о том, чтобы сохранились лишь те документы, которые могли упрочить славу семьи, ту легенду, благодаря которой г-жу Ругон приветствовали, как бывшую королеву, когда она проходила по улицам города.

Фелисите подошла вплотную к двери в комнату сына, прислушиваясь к стуку пестика. Затем с озабоченным видом обратилась к Клотильде:

— Что это он там стряпает, господи боже? Знаешь, ведь доброму имени Паскаля очень вредит его новое лекарство. Говорят, что в прошлый раз он опять чуть было не отправил на тот свет одного из своих пациентов.

— Ну что ты, бабушка! — воскликнула Клотильда.

Но Фелисите уже не могла остановиться.

— А вот представь! Знаешь, о чем судачат женщины... Пойди-ка в предместье и порасспроси. Они расскажут тебе, что он толчет кости мертвецов в крови новорожденных.

На этот раз даже Мартина возмутилась, а Клотильда, оскорбленная в лучших своих чувствах, рассердилась не на шутку.

— Бабушка, как ты можешь повторять такие гнусности!.. И это говорят про учителя, про человека с таким добрым сердцем, помышляющего только о благе других!

Увидев, что обе женщины негодуют, Фелисите поняла, что зашла слишком далеко, и сразу заговорила медоточивым голосом:

— Но, детка, не я же выдумала все эти ужасы.

Я только передаю тебе вздорные слухи, ведь должна ты наконец понять, что Паскаль напрасно пренебрегает общественным мнением. Он уверен, что нашел новое лекарство, — чего же лучше! Я даже допускаю, что и впрямь он излечит всех на свете.

Но почему делать из всего тайну, почему не заявить об этом во всеуслышание?

И самое главное, почему он испытывает свои блестящие методы лечения на всяком сброде из старого города и деревень, а не на пациентах из порядочного общества, что принесло бы ему славу. Нет, в самом деле, детка, твой дядя все делает не по-людски.

В ее тоне послышалась скорбная нотка, она понизила голос, чтобы поведать о своей скрытой ране.

— Слава богу, из нашей семьи вышло немало почтенных людей: разве другие мои сыновья не радуют меня? Посуди сама, шутка ли, как вознесся твой дядя Эжен. Двенадцать лет в министрах, чуть ли не император! А отец твой ворочал миллионами и был причастен к грандиозным работам по перестройке старого Парижа. Я уж не говорю о твоем брате Максиме, человеке достойном и богатом, ни о твоих кузенах — Октаве

Муре, одном из столпов новой коммерции, и нашем дорогом аббате Муре, — вот поистине святой человек! Так почему же Паскаль, который мог бы идти по их стопам, упрямится и сидит в своей норе, словно какой-то старый, выживший из ума чудак?

И, видя, что девушка снова возмутилась, Фелисите ласково прикрыла ей рот рукой.

— Постой, постой, дай мне кончить. Я знаю, Паскаль не дурак, у него есть замечательные труды, материалы, посланные им в Медицинскую академию, даже завоевали ему хорошую репутацию в ученом мире… Но разве это может сравниться с тем, о чем я для него мечтала? Блестящие пациенты в городе, крупное состояние, орден — словом, положение и почести, достойные Ругонов… Пойми, детка, только на это я и сетую; он как будто не из нашей семьи, словно ему на нее наплевать. Честное слово, я так и говорила ему, когда он был еще ребенком: «Да в кого ты такой уродился?! Ты — не наш!» Что до меня, то я всем пожертвовала для семьи и дала бы себя изрубить на куски, лишь бы не померкла ее слава!

Фелисите выпрямилась, и ее маленькая фигурка, казалось, выросла от снедавшей ее всю жизнь страсти — спеси и жажды почета. Она сно-

ва начала прохаживаться по комнате, но вдруг вздрогнула, увидев на полу номер «Тан», брошенный доктором после того, как он вырезал статью, чтобы положить ее в дело Саккара; зияющая дыра посредине страницы, видимо, объяснила ей все, так как Фелисите вдруг остановилась, затем упала на стул с таким видом, словно узнала наконец то, зачем сюда пришла.

— Твой отец назначен главным редактором «Эпок»! — выпалила она.

— Да, — спокойно ответила Клотильда, — учитель сказал мне, он прочел об этом в газете.

Фелисите впилась в нее настороженным и беспокойным взглядом — назначение Саккара, сближение его с Республикой было в глазах г-жи Ругон огромным событием. После падения Империи Саккар осмелился вернуться во Францию, несмотря на то что был осужден как директор Всемирного банка, нашумевший, бурный крах которого предшествовал падению режима. Сейчас, для того чтобы снова встать на ноги, ему, как видно, пришлось найти новые влиятельные знакомства, прибегнуть к замысловатой интриге. Его не только простили, но он опять начал заправлять крупными делами, стал газетным воротилой, брал взятки, где только мог.

Фелисите вспомнилось, как, бывало, между братьями вспыхивали ссоры; Саккар прежде часто компрометировал Эжена, и вот теперь, по иронии судьбы, он, возможно, будет покровительствовать бывшему министру Империи, ныне простому депутату, который примирился с ролью заступника низвергнутого властелина, внося в эту защиту такое же упорство, с каким его мать отстаивала интересы семьи. Фелисите все еще беспрекословно подчинялась старшему сыну, который остался в ее глазах героем, хотя и поверженным. Но и Саккар, что бы он ни делал, был тоже близок ее сердцу своей неукротимой жаждой преуспеяния; она гордилась также и братом Клотильды Максимом, который после войны вновь поселился в своем особняке на проспекте Буа-де-Булонь и теперь проедал там состояние, унаследованное после смерти жены. Пытаясь перехитрить угрожавший ему паралич, он стал благоразумным, как все те, чьи дни сочтены.

— Главный редактор «Эпок», — повторила Фелисите, — чем не министерское кресло! И его завоевал твой отец!.. Да, совсем забыла тебе сказать, я ведь опять написала твоему брату, чтобы убедить его наконец навестить нас. Это его развлечет и к тому же пойдет ему на пользу.

Вдобавок его сын, бедняжка Шарль…

Она умолкла. Вот еще одна кровоточащая рана, нанесенная ее тщеславию, — ребенок Максима, которым тот в семнадцать лет наградил служанку. Теперь пятнадцатилетний слабоумный мальчик жил в Плассане на иждивении родственников, переходя от одного к другому.

Фелисите помолчала еще немного, надеясь услышать от Клотильды хоть слово в ответ и перевести разговор на то, что ее беспокоило. Но девушка занялась приведением в порядок бумаг на конторке и не проявила никакого интереса к рассуждениям бабушки. Тогда Фелисите наконец решилась, бросив предварительно взгляд на Мартину, которая, словно набрав воды в рот, продолжала штопать обивку кресла.

— Так, значит, твой дядюшка вырезал статью из «Тан»?

Клотильда улыбнулась все так же безмятежно.

— Да, учитель спрятал ее в свои папки. Чего в них только нет! Рождения, смерти, самые незначительные события — все там! И родословное древо тоже, наше знаменитое родословное древо, к которому он изо дня в день добавляет новые сведения.

Глаза старой г-жи Ругон загорелись. Она в упор

смотрела на внучку.

— Ты знаешь, что в папках?

— Нет, бабушка. Учитель никогда не говорит об этом. Мне даже запрещено до них дотрагиваться.

Но г-жа Ругон не поверила внучке.

— Полно, ты, конечно, в них заглядывала, ведь они у тебя под рукой.

Продолжая улыбаться, Клотильда со свойственными ей спокойствием и искренностью ответила:

— Да нет же, если учитель мне что-нибудь запрещает, значит, у него есть на то причины, и я его слушаюсь.

— Ну так вот, дитя мое, — воскликнула Фелисите громко, не сдержав кипевшего в ней негодования. — Паскаль тебя очень любит, может быть, он послушается тебя, ты и должна упросить его сжечь все эти бумаги, — ведь умри он внезапно, люди узнают обо всех злобных наветах на нашу семью, и мы будем опозорены!

Ах, эти проклятые папки! Ночью в кошмарных сновидениях они мерещились ей; там огненными буквами была запечатлена правдивая история Ругонов, все их наследственные пороки — та изнанка славы, которую она хотела бы похоронить вместе с умершими предками!

Фелисите знала, что, приступив к обширному исследованию о наследственности, Паскаль начал подбирать семейные документы и, потрясенный обнаруженными в них типическими случаями, подтверждавшими открытые им законы, решил доказать свою теорию на примере собственной семьи. Семья Ругонов была для Паскаля наиболее естественным и доступным полем научных наблюдений, и он знал ее досконально.

С великолепной беспристрастностью ученого он вот уже тридцать лет собирал, накапливал и систематизировал самые сокровенные подробности о своих родных, составляя родословное древо Ругон-Маккаров, и объемистые папки были лишь пространными комментариями к нему.

— Да, да, в огонь, в огонь все эти бумажки, которые нас обесчестят! — пылко продолжала г-жа Ругон.

И, увидев, что служанка поднялась с пола и собирается выйти из комнаты, почувствовав, какое направление принимает разговор, она решительно ее остановила:

— Нет, нет, Мартина, не уходите! Вы нам не мешаете, ведь вы теперь все равно что член семьи. — И добавила шипящим от злости голосом: — В этих папках куча измышлений, сплетни,

клевета, которые когда-то изрыгали на нас враги, взбешенные нашим торжеством. Подумай немного, детка! Сколько мерзостей обо всех нас: о твоем отце, матери, о твоем брате, обо мне!

— Мерзостей, бабушка! Но откуда ты-то знаешь?

На мгновение г-жа Ругон смутилась.

— О, я догадываюсь, поверь! Да разве есть хоть одна семья, где бы не было какого-нибудь несчастья, которое можно истолковать в дурную сторону? Взять хотя бы нашу общую прародительницу, дорогую и почитаемую всеми тетю Диду, твою прабабушку; вот уже двадцать один год, как она в доме умалишенных в Тюлет! Хотя милосердный господь даровал ей долгую жизнь, — ей уже сто четыре года, — он в то же время жестоко ее покарал, отняв разум. Конечно, в этом нет ничего позорного, но меня приводит в отчаяние, что про нас могут сказать, будто все мы сумасшедшие, и этому надо помешать. Или взять хотя бы твоего двоюродного деда Маккара, разве о нем не говорили бог знает чего? У Маккара были в свое время грешки — я его не защищаю. Но разве нынче не живет он вполне благопристойно в собственном именьице Тюлет, в двух шагах от нашей злополучной матери, о которой он печет-

ся, как хороший сын? И, наконец, еще последний пример. Твой брат Максим совершил тяжелый проступок, когда сошелся со служанкой и она родила от него этого бедняжку Шарля, и — что греха таить — у несчастного мальчика с головой неладно. Ну и что из того? Разве тебе будет приятно, если начнут болтать, что твой племянник выродок, что в нем через три поколения повторился недуг его бедной прапрабабушки, у которой ему так нравится бывать. Да о чем толковать! Какую семью ни возьми, если покопаться хорошенько, то окажется, что у одного не в порядке нервы, у другого — мышцы. Право, жизнь станет не мила!

Стоя перед г-жой Ругон в своей длинной черной блузе, Клотильда внимательно слушала ее, опустив руки и потупив глаза. После недолгого молчания девушка задумчиво произнесла:

— Но ведь это наука, бабушка!

— Наука! — воскликнула Фелисите, вновь принимаясь расхаживать по комнате. — Хороша наука, которая посягает на все, что есть самого святого на свете! Что толку от их открытий, если эти святотатцы все разрушают. Они подрывают устои, подымают руку на семью, на бога…

— Ох, не говорите так, сударыня, — горестно прервала ее Мартина, оскорбленная в своем

благочестии. — Не говорите, что хозяин поднял руку на бога…

— Но это так, моя милая, на самого бога… Да и мы все совершаем большой грех, позволяя Паскалю губить свою душу. Право, раз вы ничего не делаете для того, чтобы вернуть его на путь истинный, значит, вы его не любите, честное слово, не любите… А ведь вы обе сподобились счастья верить в бога. Будь я на вашем месте, я разнесла бы этот шкаф вдребезги и устроила славную иллюминацию из всех хранящихся здесь богохульных бумаг!

Она остановилась перед огромным шкафом, сверля его огненным взглядом, словно собираясь накинуться на него, разворотить, уничтожить, несмотря на то что была уже стара и немощна. Затем добавила, жестом выразив всю свою иронию и презрение:

— Если бы еще его наука помогла ему все узнать!

Клотильда стояла, погруженная в раздумье, рассеянно глядя перед собой. И, забыв о Фелисите и Мартине, произнесла вполголоса, словно отвечая на свои мысли:

— Это верно, всего узнать он не может. Все-таки там, на небе, есть что-то другое… Вот это-то и

сердит меня, потому я иногда и ссорюсь с ним, я ведь не могу, как он, отметать все таинственное; оно так мучительно волнует меня, я страдаю… Та воля, что действует в загадочном, трепетном полумраке, все те неведомые силы…

Голос ее постепенно затихал, и последние слова она произнесла еле слышным шепотом.

И тут в разговор вступила помрачневшая вдруг Мартина.

— А что, барышня, как и вправду хозяин обрекает себя на погибель своими мерзкими бумажками? Ну, скажите на милость, неужто нам сидеть сложа руки? Я-то, можете не сомневаться, прикажи он мне броситься вниз с террасы, — закрою глаза и брошусь, потому что знаю, правда всегда на его стороне. Но для спасения его души, — если б только я могла, — я бы пошла на все даже наперекор ему. Да, да, на все, что угодно. У меня сердце разрывается, как подумаю, что он не попадет в царство небесное вместе с нами.

— Вот это правильно, голубушка, — одобрила Фелисите. — Вы-то, по крайней мере, любите своего хозяина разумной любовью.

Но Клотильда, казалось, все еще колеблется. Ее вера не подчинялась строгим догматическим канонам, а религиозное чувство не сводилось к

одной только надежде на место в раю — этом блаженном уголке, где уготована встреча с родными. Просто ее неосознанно влекло к потустороннему, она была уверена, что огромный мир не ограничен миром чувственным, что существует еще другой, неведомый мир, которым нельзя пренебрегать. Но старая бабушка и преданная служанка вселили тревогу в ее сердце, исполненное нежности к дяде. Может, и в самом деле они любят его разумней и взыскательней, чем она, хотят, чтобы он избавился от чудачеств, присущих ученым, стал непогрешимым и удостоился войти в царство избранных? Она вспомнила строки из религиозных книг об извечной борьбе со злым духом, о славных обращениях, к которым приходят после мучительной борьбы. Что, если она возьмется за это святое дело, что, если вопреки воле учителя она спасет его? И, склонная к романтическим фантазиям, она мало-помалу пришла в странное возбуждение.

— Разумеется, — сказала она наконец, — я буду счастлива, если учитель перестанет корпеть день и ночь над своими бумагами и начнет ходить вместе с нами в церковь.

Видя колебания Клотильды, г-жа Ругон воскликнула, что пора действовать, и даже Мартина

поддержала ее, сказав свое слово. Обе подошли к Клотильде и, понизив голос, стали наставлять девушку, будто замышляли заговор, сулящий разрешиться благодетельным чудом, божественной радостью, которая напоит благоуханием весь дом. Подумать только, какая победа, если удастся примирить доктора с богом! И какое блаженство жить потом в сладостном единении веры!

— Так что же я должна сделать? — спросила побежденная, завоеванная Клотильда.

Как раз в эту минуту в наступившем молчании ритмичный стук пестика стал громче. Торжествующая Фелисите уже собралась было ответить внучке, но тут с тревогой оглянулась на дверь, ведущую в соседнюю комнату, затем спросила шепотом:

— Где ключ от шкафа?

Клотильда не ответила, но невольным жестом выразила, как ей тяжело предавать учителя.

— Какой ты еще ребенок! Обещаю тебе, что не возьму ничего, все останется на месте… Но раз уж мы одни, а Паскаль выходит только к обеду, почему бы нам не удостовериться, что там лежит… Даю тебе слово, мы только взглянем…

Не трогаясь с места, девушка продолжала молчать.

— Да, может быть, я и ошибаюсь, может, там вовсе и нет мерзостей, о каких я тебе говорила…

Эти слова бабушки решили дело. Клотильда побежала за ключом и даже сама настежь распахнула шкаф.

— Вот, бабушка! Папки там, наверху!

Не проронив ни слова, Мартина стала на страже у дверей, напряженно прислушиваясь к стуку пестика; а Фелисите, глядя на папки, словно застыла на месте от волнения. Вот они перед ней, эти страшные бумаги, отравляющие кошмаром ее жизнь! Вот они, она их видит, может дотронуться до них, унести с собой! И, привстав на цыпочки, она жадно потянулась к ним, стараясь добраться до полки.

— Мне не достать их, детка, — произнесла она, — помоги, подай их мне!

— Нет, я не могу, бабушка! Возьми лучше стул!

Фелисите взяла стул, проворно влезла на него.

И все же она была слишком мала ростом. Сделав невероятное усилие, она вся вытянулась, как будто даже выросла, и наконец коснулась синих картонных папок: ее руки шарили по обложкам, судорожно сжимали, царапали их. И вдруг раздался страшный треск: Фелисите задела лежавший на нижней полке образец геологической

породы — кусок мрамора, и он полетел на пол.

Стук пестика тут же оборвался, и Мартина прерывисто зашептала:

— Осторожней! Он идет!

Но Фелисите была так поглощена своим делом, что не слышала ее и не заметила, как в комнату вбежал Паскаль. Вначале доктор подумал, что произошло несчастье, что кто-то упал, но при виде картины, представившейся его глазам, он оцепенел: Фелисите приросла к стулу, подняв руки, Мартина отступила к стенке, а Клотильда, очень бледная, выжидательно смотрит на него, не отводя взгляда. Поняв, что здесь происходит, Паскаль сам побелел как полотно. Его охватил страшный гнев.

Но старая г-жа Ругон нимало не смутилась. Как только она поняла, что ее затея не удалась, она спрыгнула со стула и, словно сын не застиг ее за грязным делом, сказала:

— Ах, это ты! Я не хотела тебя беспокоить… Я зашла, чтобы поцеловать Клотильду. И вот уже часа два болтаю с ней, а мне надо торопиться. Дома меня, наверно, заждались и не догадаются, куда я запропастилась. До свидания! До воскресенья!

И она ушла как ни в чем не бывало, на прощанье улыбнувшись сыну, который почтительно и

безмолвно стоял перед ней. Такова была раз и навсегда усвоенная им тактика, чтобы уклониться от объяснения, которого он боялся, так как чувствовал, что оно будет бурным. Он знал свою мать и со свойственной ему широкой терпимостью ученого, который принимает в расчет влияние наследственности, среды и обстоятельств, готов был ей все простить. К тому же ведь она его мать. Одного этого было достаточно, ибо, несмотря на страшный удар, какой он наносил семье своими исследованиями, он нежно любил родных.

Но когда мать удалилась, весь его гнев обрушился на Клотильду. Он отвернулся от Мартины и устремил взгляд на девушку, которая не опускала глаз, как бы бесстрашно подтверждая, что отвечает за свой поступок.

— Ты! Ты! — только и выговорил он наконец.

Он схватил Клотильду за локоть, и сжал до боли. Но она продолжала смотреть ему прямо в лицо, не сгибаясь перед ним, непреклонно противопоставляя ему свою волю, свое «я». Она была вызывающе хороша: тоненькая, стройная, нежная блондинка, в облегающей черной блузе; и все в ней — прямой лоб, тонкий нос, упрямый подбородок, — все дышало сейчас воинственным пылом.

— И это ты, мое создание, моя ученица, мой друг, мое второе «я», ведь я тебе отдал частицу своего сердца и ума! Нет, нет, я должен был сохранить тебя целиком для себя одного, не допускать, чтобы лучшее, что в тебе есть, отобрали у меня и отдали твоему дурацкому богу!

— Помилуйте, сударь, вы богохульствуете! — вскричала Мартина, подошедшая к доктору, чтобы принять и на себя его гнев.

Но он даже не взглянул на нее. Для него существовала одна только Клотильда. Он словно преобразился. Его прекрасное лицо в рамке седых волос как бы помолодело от охватившей его беззаветной нежности, оскорбленной и поруганной. Еще с минуту они смотрели так друг на друга, не уступая, не отводя глаз.

— Ты! Ты! — повторял он дрожащим голосом.

— Да, я!.. Почему бы мне, учитель, не любить тебя так, как ты меня любишь? Почему, если я вижу, что ты в опасности, мне не попытаться тебя спасти? Ведь ты доискиваешься, о чем я думаю, и стремишься заставить меня думать так, как ты!

Никогда до сих пор она не давала ему такого отпора.

— Но ты еще совсем ребенок и ничего не знаешь!

— Напрасно ты так думаешь! У меня тоже есть душа, и ты знаешь о ней не больше моего.

Выпустив ее локоть, Паскаль не ответил, только неопределенно взмахнул рукой. Наступило многозначительное молчание, полное невысказанных слов. Он не хотел начинать спора, чувствуя его бесполезность. Рывком он распахнул ставень среднего окна, так как солнце садилось и в комнате сгущались сумерки. Потом снова вернулся к девушке.

Но Клотильде не хватало свежего воздуха и простора, она подошла к открытому окну. Яркий поток света иссяк, и только на раскаленном, но уже побледневшем небе не угасли последние отсветы заката, и вечерняя прохлада была напоена жаркими, пряными запахами еще полыхавшей зноем земли. Невдалеке, у подножия террасы, виднелись железнодорожные пути и служебные здания вокзала, а дальше, посреди обширной бесплодной равнины, тянулся ряд деревьев, обозначая теченье Вьорны, за которой возвышались холмы Святой Марты — укрепленные каменными стенками и засаженные оливами уступы красноватой земли. Вверху их венчали темные сосновые леса; этот огромный, опаленный солнцем амфитеатр цвета старого обожженного

кирпича протянул по небу бахрому своей темной зелени. Налево открывалось Сейское ущелье — груды обвалившихся желтых камней посреди кроваво-красной земли, а над ними возвышалась мрачная, огромная гряда утесов, похожая на стену исполинской крепости; справа же, у самого входа в долину, где протекала Вьорна, расположился уступами Плассан с его крышами из выцветшей розовой черепицы — весь этот хаотический лабиринт старого города, в который столетние вязы вкрапливали свою густую листву. А надо всем в прозрачном золоте заката высилась уходящая в небо колокольня церкви Св. Сатюрнена, одинокая и безмолвная в этот час.

— Ах, боже мой! Только гордец может вообразить, будто человеку под силу все охватить, все познать! — с расстановкой произнесла Клотильда.

Паскаль влез на стул, чтобы удостовериться, на месте ли его папки. Потом поднял кусок мрамора и положил его опять на полку; решительно заперев шкаф, он спрятал ключ в карман.

— Да, — промолвил он, — надо пытаться все познать и при этом не терять головы от того, что не все постиг и что никогда всего не постигнешь!

Мартина снова подошла к Клотильде, чтобы

поддержать ее, подчеркнуть, что обе они действуют заодно. Доктор только теперь ее заметил и понял, что они объединились в своем стремлении взять над ним верх. После многолетних тайных покушений теперь, наконец, объявлена открытая война, близкие ополчились против дела его жизни и грозят все уничтожить. Нет горшей доли, чем увидеть предательство у себя дома, вокруг себя, почувствовать, что тебя преследуют, грабят, убивают те, кого ты любишь и кто тебя любит!

Эта страшная мысль пришла ему сейчас впервые.

— Но ведь вы обе все-таки любите меня!

У женщин на глаза навернулись слезы. А Паскаль вдруг почувствовал, как в этот тихий предвечерний час его охватила бесконечная грусть. Неизменной жизнерадостности Паскаля, его доброте, питаемой страстной любовью к жизни, был нанесен удар.

— Ах, дорогая моя, и ты, бедняжка Мартина, всё это вы делаете во имя моего счастья, не так ли? Но, увы! Какие мы теперь будем несчастные!

II

На следующее утро Клотильда проснулась в шесть часов. Накануне она поссорилась с Паскалем, и они весь день дулись друг на друга. Первым ее ощущением было смутное чувство тревоги и огорчения, желание немедленно помириться с ним, чтобы сбросить с души тяжелый камень.

Проворно вскочив с кровати, она приоткрыла ставни. В спальню, еще полную сна и тонкого аромата юности, ворвалась прохлада светлого радостного утра, и высоко стоявшее солнце прочертило на полу две золотые полосы. Присев снова на край матраса, девушка на мгновенье задумалась; в обтягивавшей ее сорочке она казалась еще стройнее: у нее были длинные точеные ноги, крепкое, стройное тело, округлые груди и шея, округлые гибкие руки, а шелковистая кожа белоснежных плеч пленяла взор своей юной прелестью. В переходном возрасте, затянувшемся у нее до восемнадцати лет, она выглядела очень большой, нескладной, лазала по деревьям, как мальчишка, и вдруг этот долговязый подросток превратился в обаятельное созданье, полное

чарующей грации.

Взгляд Клотильды блуждал по стенам комнаты. Сулейяду построили в прошлом веке, но ее, должно быть, обставили заново во времена Первой империи, на уцелевшем узорчатом ситце обивки были изображены какие-то сфинксы в медальонах из дубовых листьев. Когда-то ситец был ярко-красный, а теперь стал розовым, того линяло-розового цвета, который приближается к палевому. Занавески на двух окнах и полог кровати сохранились от прежних времен, их не раз стирали, от чего они совсем вылиняли. И этот поблекший, изысканно-нежный пурпур тона утренней зари был поистине великолепен. Кровать, обтянутая той же материей, пришла в негодность, и ее заменили взятой из соседней комнаты — низкой, очень широкой, массивной кроватью красного дерева, также в стиле ампир, с медными украшениями и четырьмя столбиками по углам, увенчанными такими же сфинксами, как те, что красовались на обивке. Впрочем, и остальная мебель была в том же вкусе: шкаф с колонками и цельными дверцами, комод с белой мраморной доской, в резной деревянной раме, громоздкое высокое трюмо, кушетка с прямыми ножками, стулья с прямыми спинками в форме

лиры. Но на пышной кровати, занимавшей середину стены против окон, пестрело шелковое покрывало, сшитое из старой юбки времен Людовика Пятнадцатого, а гора подушек придавала уют жесткой кушетке. Две этажерки и стол были так же, как и кровать, покрыты извлеченной из недр какого-то шкафа старой шелковой материей, затканной цветами.

Наконец Клотильда натянула чулки, накинула белый пикейный пеньюар и, всунув ноги в полотняные домашние туфли, побежала в свою туалетную комнату, выходившую окнами в сторону, противоположную фасаду. Она обила ее стены простым суровым тиком в синюю полоску и обставила столь же простой мебелью из полированной сосны: туалет, два шкафа, стулья. Однако здесь во всем чувствовалось природное тонкое, чисто женское кокетство, которое пришло к Клотильде вместе с красотой. В ней еще вспыхивало порой мальчишеское упрямство, но она стала покладистой, нежной и жаждала быть любимой. Она выросла на свободе, ее научили только читать и писать, — и лишь позднее, помогая дяде в работе, она получила довольно обширные познания, чем была обязана самой себе. Никакой определенной программы у них не

было, Клотильда страстно увлекалась естественными науками, и это открыло ей всю правду об отношениях мужчины и женщины. Впрочем, она хранила как сокровенный плод свою девственную чистоту, хранила, без сомнения, потому, что неосознанно и благоговейно ждала настоящей любви, того глубокого женского чувства, ради которого она когда-нибудь принесет в дар всю себя, чтобы полностью раствориться в своем избраннике.

Она подобрала волосы, вымылась, не жалея воды; потом, не в силах дольше терпеть, тихонько открыла дверь своей комнаты и на цыпочках, бесшумно прошла через гостиную, служившую и рабочим кабинетом. Ставней еще не открывали, но в комнате было достаточно светло, чтобы не наткнуться на мебель. Очутившись у двери, ведущей в спальню доктора, она пригнулась, затаив дыхание. Встал ли он уже? Что делает? Она отчетливо слышала, как он расхаживает не спеша, по-видимому, одевается. Она никогда не входила в спальню Паскаля, которую он постоянно держал на запоре, это была святая святых, где он прятал свои работы. Клотильду охватила тревога: что, если, открыв дверь, он увидит ее здесь? Она не знала, на что решиться: уязвленная

гордость боролась в ней с желанием выказать ему свою покорность. На минуту это желание взяло верх, и она едва не постучала в дверь. Но как только шаги приблизились, она пустилась бежать без оглядки.

До восьми часов Клотильда не могла ни за что приняться, нетерпение ее все росло. Она поминутно взглядывала на часы, стоявшие на камине, — позолоченные, бронзовые часы в стиле ампир, с Амуром, лукаво созерцающим задремавшее Время. Обычно в восемь часов она спускалась в столовую, где для нее и для доктора уже был готов первый завтрак. В ожидании она тщательно занялась своим туалетом: причесалась, надела туфли, белое полотняное платье в красный горошек. Чтобы как-нибудь убить оставшиеся четверть часа, она решила выполнить свое давнее желание и, усевшись, стала пришивать кружева под шантильи к своей рабочей блузе, той черной блузе, какую находила теперь слишком мальчишеской, недостаточно женственной. Но как только пробило восемь часов, она оставила работу и быстро спустилась вниз.

В столовой Мартина встретила ее словами:

— Сегодня вы будете завтракать одна.

— Как это так?

— Да так! Хозяин меня окликнул, приоткрыл дверь и взял из рук завтрак, — невозмутимо проговорила Мартина, — и вот он уж опять схватил свою ступку и цедилку. Раньше полудня мы его и не увидим.

С лица Клотильды сбежала краска. Она стоя выпила молоко и, взяв с собой булочку, пошла за служанкой на кухню. В нижнем этаже, кроме столовой и кухни, находилась нежилая комната, где хранились запасы картофеля. Прежде, когда доктор еще принимал больных на дому, он осматривал здесь своих пациентов, но уже давно конторку и кресло перенесли отсюда наверх, в его комнату. При кухне было еще одно помещение — тесная каморка старой служанки, очень чистенькая, с комодом орехового дерева и монашеской кроватью под белым пологом.

— Ты думаешь, он снова принялся варить свое снадобье? — спросила Клотильда.

— Еще бы! А что же другое? Вы ведь знаете, он забывает и есть и пить, когда на него это находит!

— Ах, боже мой! боже мой! — в тревоге произнесла девушка жалобным шепотом.

Когда же Мартина поднялась наверх, чтобы убрать ее комнату, огорченная Клотильда, не

зная, как убить время, взяла в передней зонтик и с булочкой пошла в сад.

Прошло уже почти семнадцать лет с тех пор, как доктор Паскаль, решивший покинуть свой дом в новом городе, приобрел Сулейяду за двадцать тысяч франков. Он искал уединения и в то же время хотел предоставить возможно больше простора и удовольствий маленькой дочери брата, которую тот прислал ему из Парижа. Сулейяда раскинулась на возвышенности у ворот города. Когда-то она была большим имением, но прежние хозяева понемногу распродали землю, и от обширного поместья теперь остались каких-нибудь два гектара. В довершение всего, постройка железной дороги погубила последние пахотные поля. Дом также был наполовину уничтожен пожаром; из двух строений уцелело лишь одно — квадратный флигель «о четырех хвостах», как говорят в Провансе, с пятью окнами по фасаду, крытый крупной красной черепицей. Доктор купил дом со всей обстановкой и, не желая заниматься переустройством, ограничился тем, что велел починить ограду, чтобы никто не нарушал его покоя.

Клотильда всем сердцем любила это уединенное маленькое царство, которое она могла обойти

за десять минут и где еще сохранились уголки, отмеченные былым великолепием. Но сегодня она еле сдерживала свое возмущение. Она прошлась вдоль террасы, где по обеим сторонам высились столетние кипарисы, видные за три лье и напоминавшие две темные свечи. Оттуда откос спускался до самой железной дороги, каменные стенки сухой кладки подпирали уступы красной земли, где зачахли последние виноградники; и на этих громадных своеобразных ступенях росли теперь рядами хилые оливковые и миндальные деревья. Жара становилась уже нестерпимой. Клотильда загляделась на маленьких ящериц, сновавших в расселинах плит среди косматых листьев каперса.

Но в это утро открывавшиеся перед ней широкие просторы только вызывали ее раздражение; и, пройдя через фруктовый сад и огород, за которыми Мартина, несмотря на свой возраст, ухаживала одна, приглашая поденщика только дважды в неделю для тяжелых работ, Клотильда свернула направо и очутилась в сосняке — маленькой сосновой роще. Это было все, что осталось от роскошных деревьев, покрывавших когда-то плоскогорье. Но ее и здесь не покинуло беспокойство: сухие иглы скрипели под ногами,

от ветвей шел смолистый удушливый запах. Она прошла вдоль ограды, миновала ворота, выходившие на Фенуйерскую дорогу, откуда было рукой подать до первых домов Плассана, и очутилась наконец на заброшенном току двадцати метров в радиусе, самые размеры которого свидетельствовали о былом величии усадьбы. На этом старинном току — обширной площадке, вымощенной, как во времена римского владычества, круглым булыжником, золотился густой ковер невысокой, высохшей травы. Как веселилась здесь прежде Клотильда: бегала, резвилась или лежала целыми часами неподвижно, наблюдая, как в бескрайнем небе рождаются звезды!

Клотильда раскрыла зонтик и медленными шагами пересекла ток. Обойдя всю усадьбу и свернув влево от террасы, она оказалась позади дома, где росли огромные платаны, затенявшие эту сторону Сулейяды. Сюда выходили два окна комнаты доктора. Клотильда подняла глаза, ведь она пришла со смутной надеждой наконец его увидеть. Но окна были по-прежнему закрыты, и она восприняла это как жестокую обиду. Только тут она спохватилась, что забыла про булочку и все еще держит ее в руках; укрывшись под деревьями, она мгновенно съела ее со здоровым

аппетитом молодости.

Старые платаны, рассаженные в шахматном порядке, были еще одним напоминанием о прежней роскоши Сулейяды. В знойные летние дни под этими исполинскими деревьями стоял зеленоватый сумрак и веяло чудесной прохладой. Когда-то здесь был разбит французский сад, но от него осталась только кайма из буксуса, который густо разросся, видимо, хорошо приноровившись к тени, и превратился в высокий кустарник. Но главной прелестью этого тенистого уголка был фонтан — простая свинцовая трубка, вделанная в колонку, откуда всегда, даже во время самой большой засухи, бежала струйка воды шириной в мизинец, вливавшаяся в большой замшелый бассейн, позеленевшие камни которого очищали только раз в три-четыре года. Даже когда по соседству пересыхали все колодцы, в Сулейяде продолжал бить источник, вспоивший, без сомнения, и вековые платаны. Сотни лет денно и нощно эта тонкая, ровная струйка, звеня хрусталем, напевала свою незатейливую песенку.

Побродив немного среди зарослей буксуса, доходившего ей до плеча, Клотильда принесла из дома вышиванье и села за каменный столик, у фонтана. Вокруг стояло несколько садовых

стульев, и летним утром здесь обычно пили кофе. Она не поднимала головы, делая вид, что поглощена рукодельем, но время от времени вскидывала глаза, словно скользила взглядом по стволам, или всматривалась в пылающие дали, в залитый солнцем ток, ослепляющий, как костер. На самом же деле она следила из-под длинных ресниц за окнами доктора, но не увидела ничего, даже его тени. Клотильда все больше грустила и досадовала, что после вчерашней размолвки он оставил ее одну, пренебрег ею. Она-то проснулась с таким горячим желанием поскорее помириться! А он, как видно, не торопится, значит, не любит ее, если может спокойно работать, когда они в ссоре. И Клотильда, становясь все мрачнее, укрепилась в своем желании не поддаваться Паскалю и ни в чем ему не уступать.

В одиннадцать часов, перед тем как готовить завтрак, Мартина пришла за ней, по своему обычаю, не выпуская из рук чулка, который вязала даже на ходу, когда не была занята другим делом.

— Ну, что вы скажете, он все еще сидит наверху взаперти, словно сыч какой, его не оторвешь от этой дьявольской стряпни!

Клотильда пожала плечами, не поднимая глаз

от вышивания.

— Ах, барышня, кабы вы только знали, о чем люди судачат! Видно, госпожа Фелисите была права, когда сказала вчера, что нам есть от чего краснеть… Мне, да, да, мне — прямо в лицо брякнули, будто хозяин убил старика Бутена. Помните того беднягу, что болел падучей и помер на дороге?

Наступило молчание. Видя, что девушка опечалилась, служанка продолжала, еще проворнее работая спицами:

— Я-то ничего в этом не смыслю, но мне просто невмоготу, когда он начинает варить свое зелье… Ну, а вам, барышня, неужто не тошно от его стряпни?

Клотильда резко подняла голову, уступив внезапно охватившему ее страстному порыву:

— Послушай, в этом я понимаю, пожалуй, не больше твоего, но боюсь, что его ждет беда… Он нас не любит!

— Полно вам, барышня, он нас любит!

— Нет, нет, не так, как мы его любим!.. Если бы он нас любил, он был бы здесь, с нами, а не губил бы там, наверху, свою душу, свое и наше счастье, желая спасти весь мир!

На мгновенье женщины встретились глазами,

но хоть обеих и мучила ревнивая тревога, взгляды их светились любовью. И снова в тенистой прохладе они молча принялись за работу.

Между тем наверху, в своей комнате, доктор Паскаль спокойно, безмятежно сидел за работой. Медицинской практикой он занимался всего каких-нибудь двенадцать лет, со времени возвращения из Парижа и до той поры, пока не уединился в Сулейяде. Накопив больше ста тысяч франков, доктор благоразумно поместил свой капитал и теперь целиком посвятил себя любимой работе. Он врачевал только друзей, впрочем, не отказывался навещать больных, но никогда не посылал им счета. Когда же ему платили за визит, небрежно совал деньги в ящик секретера. Это были карманные деньги, и он тратил их на опыты и собственные маленькие прихоти, в остальном же довольствовался процентами с капитала. Повадки Паскаля заслужили ему сомнительную репутацию чудака, но он только посмеивался над этим и бывал счастлив, лишь когда занимался дорогими его сердцу опытами. Для многих было неожиданностью, что этот гениально одаренный ученый со столь живым воображением обосновался в Плассане — убогом городишке, где, казалось, он не сможет полу-

чить даже нужных ему инструментов. Но доктор вполне разумно объяснял преимущества, какие он здесь нашел, — прежде всего никем не нарушаемое уединение, а затем обширное поприще для изучения различных форм наследственности — вопроса, который его больше всего интересовал. В этом провинциальном городке он знал каждую семью, и ничто не мешало ему следить за проявлениями наследственности, которые на протяжении двух или трех поколений тщательно утаивались от посторонних в семейных анналах. К тому же Сулейяда лежала поблизости от моря, куда Паскаль отправлялся на лето, чтобы и там изучать жизнь, наблюдать за тем, как она возникает и множится в глубине водных просторов, наконец, Плассанская больница располагала большим анатомическим театром, куда, кроме Паскаля, никто не заглядывал; в этой большой светлой комнате вот уже свыше двадцати лет ни один не востребованный родственниками труп не миновал его скальпеля. Доктор был очень скромен, порой до робости застенчив и о сделанных им замечательных исследованиях, которые он иногда посылал в Медицинскую академию, сообщал только своим бывшим профессорам и немногим новым друзьям. Ему было чуждо воин-

ствующее честолюбие.

Заняться специально законами наследственности доктора Паскаля побудили работы по изучению беременности. Как всегда, здесь в известной мере сыграл роль случай, предоставивший в его распоряжение множество трупов беременных женщин, умерших во время холерной эпидемии. Позднее, производя вскрытия, он смог восполнить пробелы в своих записях, собрать новые данные и проследить, как формируется зародыш, как день ото дня развивается плод во внутриутробный период; и он составил перечень очень точных, тщательно выверенных наблюдений. Перед ним во всей своей волнующей таинственности как начало всех начал предстала проблема зачатия. Почему и как развивается новое существо? Какие законы природы вызвали к жизни поток существ, образующих мир? Паскаль не ограничился изучением трупов, а расширил свои исследования, наблюдая за живыми людьми. Пораженный частым повторением некоторых явлений у своих пациентов, он стал особенно пристально изучать собственную семью, в которой эти явления сказались наиболее полно и наглядно. И теперь, по мере того как накапливались факты и систематизировались его

записи, Паскаль пытался создать общую теорию наследственности, при помощи которой можно было бы их все объяснить.

Это была трудная проблема, и над ее решением Паскаль ломал себе голову многие годы. В своей теории он исходил из двух принципов: принципа созидания и принципа подражания, — то есть наследственности, или воспроизведения существ по законам сходства, и врожденности, или воспроизведения существ по законам различия. Для наследственности он допускал четыре разновидности: наследственность прямую, то есть такую, когда в ребенке сочетаются физические и духовные свойства отца и матери, наследственность косвенную — когда в ребенке повторяются свойства родственников по боковой линии: дядей, и теток, двоюродных братьев и сестер; наследственность возвратную — наследование признаков предшествующих поколений, проявляющееся через одно или несколько колен, и, наконец, наследственное влияние, при котором на потомстве сказываются прежние связи, например, в тех случаях, когда первый самец влияет на все потомство самки, даже на то, к которому он не имеет отношения. Что касается врожденности, то она приводит к созданию нового или кажущегося

таковым существа, в котором сочетаются физические и духовные свойства родителей, хотя на первый взгляд создается впечатление, что от них ничего не унаследовано. Основываясь на этих же двух понятиях — наследственности и врожденности, — Паскаль подразделил наследственность еще на два вида: сходство ребенка с отцом или матерью, преобладание в нем индивидуальных черт одного из родителей и смешение этих черт. Смешение, восходя от менее совершенной к более совершенной форме, могло, в свою очередь, иметь три разновидности: сочетание, рассеянное проявление и полное слияние. При врожденности он считал возможным только один случай — соединение свойств, подобное химическому, которое получается от взаимодействия двух веществ, образующих новое вещество, совершенно отличное от тех, чьим продуктом оно является. Таков был вывод из множества наблюдений, собранных Паскалем не только в области антропологии, но также зоологии, помологии и садоводства. Когда же на основании множества фактов, добытых путем анализа, Паскаль решил перейти к синтезу, сформулировать теорию, которая объяснила бы их совокупность, на его пути возникли новые трудности. Он оказался

на зыбкой почве гипотезы, которую видоизменяет каждое новое открытие. И хотя вследствие присущей человеческому разуму склонности к обобщениям Паскалю трудно было удержаться от тех или иных выводов, он был человеком широких взглядов и оставил вопрос открытым. Таким образом, начав с геммул Дарвина, с его пангенезиса, и пройдя через теорию корневища Гальтона, он дошел до перигенезиса Геккеля. Интуитивно он предвосхитил теорию Вейсмана, которая получила признание позднее, и остановился на том, что существует исключительно тонкая и сложная субстанция — зародышевая плазма, — часть которой всегда остается в запасе у всякого нового существа, чтобы потом перейти из поколения в поколение в устойчивом, неизменяемом виде. Казалось, все этим объяснено, и все-таки сколько еще остается нераскрытых тайн! Целый мир подобия передается сперматозоидом и яичком, а человеческий глаз не различает в них ничего даже при наибольшем увеличении микроскопа. Паскаль был готов к тому, что в один прекрасный день его теория окажется недостаточно убедительной, — она удовлетворяла его лишь как временное объяснение, пригодное только на современном этапе изучения материи, в процес-

се которого самый источник жизни, ее родник, очевидно, всегда будет от нас ускользать.

Наследственность — какая это сложная проблема! Какой неисчерпаемый материал для бесконечных размышлений! Сколько неожиданного и чудесного в том, что сходство с родителями не абсолютно, не математически тождественно! Паскаль составил сначала родословное древо своей семьи, построенное чисто логически, поровну распределив влияние отца и матери из поколения в поколение. Но живая действительность почти на каждом шагу опровергала его теорию. Наследственность была не сходством, а только тенденцией к сходству, встречавшей противодействие со стороны внешних обстоятельств и среды. И тут Паскаль пришел к тому, что он назвал гипотезой недоразвития клеток. Жизнь есть только вид движения, а наследственность — это восприятие сообщенного движения, при котором клетки, делясь и размножаясь, сталкиваются, теснятся, располагаются в определенной последовательности, проявляя каждая наследственный импульс; наиболее слабые клетки погибают во время этой борьбы, что ведет к резким изменениям и рождению совершенно новых организмов. Не на этом ли зиждется врожденность, та неослаб-

ная изобретательность природы, которая все время преподносила Паскалю неожиданности. Может быть, именно благодаря этим сдвигам и сам Паскаль так отличается от своих родителей? А может быть, здесь сказывается влияние скрытой наследственности, в которую он одно время уверовал? Поскольку корни всякого родословного древа уходят в глубь веков — к первому человеку, не следует сосредоточивать внимание на каком-то одном предке, всегда возможно сходство с другим, еще более далеким и неизвестным прародителем. Между тем Паскаль ставил под сомнение атавизм и, несмотря на пример, обнаруженный в его собственной семье, придерживался мнения, что через два-три поколения сходство неминуемо должно угаснуть вследствие случайностей, вмешательств извне, вследствие тысячи возможных комбинаций. Таким образом, в процессе передачи потомству наследственного импульса — этой силы, этого движения, которым жизнь наделяет материю и которое и есть сама жизнь, — перед нами происходит непрерывное становление, постоянное превращение. И снова у Паскаля возникло множество вопросов. Осуществляется ли с течением веков физический и духовный прогресс? Увеличива-

ется ли мозг по мере того, как растут научные познания? Можно ли надеяться, что со временем мир станет разумнее и счастливее? Затем перед Паскалем вставали частные проблемы, и в их числе та, которая долго волновала его своей загадочностью: какие факторы определяют при зачатии пол будущего ребенка? Смогут ли когда-нибудь ученые научно предсказывать пол или по меньшей мере объяснять его возникновение. Он написал по этому вопросу очень интересную статью, подкрепленную многими фактами, но она свидетельствовала, в сущности, о том, что, несмотря на упорные изыскания, он все еще находится в полном неведении. Без сомнения, проблема наследственности так увлекала Паскаля, потому что эта обширная область оставалась по-прежнему темной и неисследованной, как и все находящиеся в младенческом состоянии науки, где ученый идет на поводу у воображения. А длительное изучение наследственности туберкулеза вернуло Паскалю поколебавшуюся было в нем веру во врача-целителя, благородную, но безумную надежду возродить все человечество.

По существу, доктор Паскаль исповедовал только одну веру — веру в жизнь. Жизнь — единственное проявление божества. Жизнь — вот

бог, вот великий двигатель, душа вселенной. И у жизни нет иного орудия, кроме наследственности. Наследственность определяет лицо мира; поэтому если бы удалось ее изучить, овладеть ею, подчинить себе — мир можно было бы создать по своему усмотрению. В душе Паскаля, близко видевшего болезни и смерть, пробуждалось воинствующее сострадание врача. Хорошо, если бы люди больше не болели, не мучились и умирали как можно реже! Его заветной мечтой было оздоровить человечество, ускорить наступление всеобщего счастья, создав будущее общество, прекрасное и благоденствующее… Когда все станут здоровыми, сильными, разумными — возникнет новая, высшая, бесконечно мудрая и счастливая порода людей. Разве в Индии за семь поколений не превращают судру в брамина, возвышая, таким образом, последнего из отверженных до самого совершенного человеческого типа? В своем исследовании о туберкулезе Паскаль пришел к выводу, что он не передается по наследству, но что организм ребенка чахоточных родителей представляет собой благоприятную почву для развития болезни, и поэтому доктор был одержим одной мыслью — обогатить эту истощенную наследственностью почву, чтобы дать ей силы

противостоять паразитам, или, вернее, разрушительным ферментам, о существовании которых в организме он догадывался задолго до возникновения теории микробов. Придать организму жизненные силы — вот в чем была задача, а это означало придать ему также и волю, развить клетки мозга, укрепляя все прочие органы.

Как раз в это время, читая старую медицинскую книгу XV века, доктор натолкнулся на поразивший его способ лечения — так называемое «врачевание по прописям». Для исцеления больного органа рекомендовали взять такой же, только здоровый орган барана или быка, приготовить из него отвар и дать выпить больному. Эта теория основывалась на излечении подобного подобным, и, по свидетельству автора старинного медицинского труда, лекарство, в особенности при заболеваниях печени, действовало почти наверняка. Воображение доктора разыгралось. Почему бы и ему не обратиться к этому методу? Если он хочет возродить людей, ослабленных наследственностью и поэтому испытывающих недостаток в нервном веществе, — он должен ввести в их организм экстракт нервного вещества, только здорового, нормального. Но метод отвара показался доктору примитивным, и он

придумал толочь в ступке бараний мозг и мозжечок, добавляя дистиллированной воды, сцеживая и фильтруя затем полученную таким образом жидкость. Он испробовал это снадобье на своих пациентах, прописывая его внутрь с малагой, но не достиг сколько-нибудь заметного результата. Он уже совсем было отчаялся, но однажды, когда он впрыскивал больной, страдавшей печеночными коликами, морфий из маленького правацовского шприца, его вдруг осенила мысль. А что, если он применит полученную им жидкость для подкожных впрыскиваний? И, вернувшись от пациентки, он тотчас ввел себе жидкость в ягодицу, а затем продолжал делать впрыскивания утром и вечером. Первые дозы — всего по одному грамму — не дали никакого эффекта. Но, удвоив, а затем и утроив дозу, он, поднявшись однажды утром с постели, к своему восхищению, почувствовал себя бодрым, словно двадцатилетний юноша. После того как он увеличил дозу до пяти граммов, он начал дышать легче и так спокойно, уверенно работать, как не работал уже многие годы. Паскаль почувствовал небывалый прилив сил, ощутил радость жизни. Получив заказанный в Париже шприц на пять граммов, он был поражен блестящим результатом лечения — больные вставали

на ноги несколько дней спустя, словно он влил в них новую животворную струю. Но его метод был все еще эмпирическим и примитивным. Паскаль предвидел, что он чреват всевозможными опасностями, и, в частности, если раствор не будет безукоризненно чистым, можно вызвать закупорку сосудов. Кроме того, он подозревал, что вспышка энергии у выздоравливающих отчасти объясняется лихорадочным состоянием, которое возникает под действием впрыскиваний. Но ведь Паскаль был только зачинателем; метод лечения со временем усовершенствуется. Однако разве не чудесно уже то, что паралитики, которых он лечил, начинали ходить, чахоточные выздоравливали, а у сумасшедших появлялись проблески сознания? Этому открытию алхимии грядущего века предстояло громадное будущее. И Паскаль поверил, что в нем заключается панацея от всех зол, что этот жизненный эликсир устранит единственную реальную причину всех болезней — одряхление человеческого организма, что этот источник молодости, открытый наукой, наделит человечество силой, здоровьем, волей, обновит его, сделает более совершенным.

В то утро Паскаль уединился в своей комнате, которая выходила на север и была затенена гу-

стой листвой платанов; ее скромная обстановка состояла из железной кровати, секретера красного дерева и большого письменного стола, где доктор держал ступку и микроскоп. Паскаль с бесконечными предосторожностями заканчивал сейчас изготовление очередной порции своей жидкости. Он уже истолок нервное вещество барана, развел его дистиллированной водой, и ему оставалось только сцедить и профильтровать полученный раствор. Наконец Паскаль получил маленькую бутылочку мутноватой жидкости опалового цвета, отливающего голубым, которую он долго рассматривал на свет, словно у него в руках была кровь, предназначенная для обновления и спасения всего мира.

Легкий стук в дверь и настойчивый голос оторвали доктора от его раздумий.

— Что же это, сударь, уже четверть первого, разве вы забыли, что пора завтракать?

Внизу, в прохладной столовой, его давно ждал завтрак. Все ставни, кроме одного, были закрыты. В столовой, светлой комнате с жемчужно-серыми деревянными панелями, оживленными синим бордюром, стояли обеденный стол, буфет, стулья, вероятно, составлявшие когда-то часть той обстановки в стиле ампир, которая была разбросана

теперь по другим комнатам; светлые стены еще резче подчеркивали густой цвет красного дерева. Всегда тщательно начищенная висячая лампа из полированной меди горела как солнце; а на стенах цвели четыре огромных букета — левкои, гвоздики, гиацинты, розы, нарисованные пастелью.

Вошел сияющий Паскаль.

— А, черт побери! Я совсем заработался, мне не терпелось кончить. Но зато я добыл ее наконец совсем свеженькую и на сей раз идеально чистую! С ней можно творить чудеса!

И он показал пузырек, который захватил с собой в пылу работы. Только сейчас он заметил, что Клотильда держится натянуто, молчит и не улыбается. Глухая досада, что ей пришлось так долго ждать Паскаля, вновь пробудила в ней враждебность, — она еще утром сгорала желанием броситься ему на шею, а сейчас замкнулась в себе и стояла неподвижно, словно окаменела.

— Так, так! — сказал он, не утрачивая бодрого расположения духа. — Мы все еще дуемся! Нехорошо! Значит, тебя не приводит в восторг мое колдовское зелье, воскрешающее мертвых?

Он уселся за стол, и девушка, заняв место напротив него, ответила нехотя:

— Ты знаешь, учитель, я всегда восхищаюсь тобой… Только мне хотелось бы, чтобы и другие разделяли мое восхищение… Но смерть бедняги Бутена…

— Знаю, знаю, о ком ты говоришь, — воскликнул он, не дав ей кончить, — об этом несчастном эпилептике, умершем от внутреннего кровоизлияния. Ладно, раз ты не в духе, не будем больше касаться этого: ты только сделаешь мне больно и испортишь весь день.

К столу были поданы яйца всмятку, котлеты, сливки. Снова наступило молчание, и хотя Клотильда продолжала дуться, она уписывала еду за обе щеки. Она любила поесть и не считала нужным это скрывать кокетства ради. Доктор волей-неволей рассмеялся и заметил:

— Меня успокаивает, что у тебя хороший аппетит… Мартина, подбавьте-ка барышне еще хлеба!

Мартина, по установившемуся обычаю, прислуживала им, без церемоний наблюдая, как они едят, иногда даже вступала с ними в беседу.

— Сударь, — сказала она, нарезав хлеб, — мясник принес счет. Оплатить?

Подняв голову, Паскаль взглянул на нее с удивлением.

— Почему вы меня спрашиваете? Вы ведь всегда оплачиваете счета без моего ведома.

Деньгами и в самом деле распоряжалась Мартина. Капитал Паскаля, помещенный у пласанского нотариуса, г-на Грангийо, приносил кругленькую сумму в шесть тысяч франков. Каждые три месяца на руках у служанки оказывалось полторы тысячи франков; она расходовала их с наибольшей выгодой для семьи, делала все покупки и сама за все платила, наводя при этом строжайшую экономию; и скупость Мартины служила поводом для неистощимых шуток. Клотильда тратила очень мало, да и к тому же не располагала собственными деньгами. А доктор брал на карманные расходы и на опыты из тех трех-четырех тысяч франков, которые все еще зарабатывал ежегодно. Таким образом, в ящике его секретера скопилось немало золота и банкнот, но точной цифры он и сам никогда не знал.

— Конечно, сударь, плачу по счетам я, — возразила служанка, — но лишь в тех случаях, когда сама покупаю продукты; на этот же раз сумма очень велика, и все из-за этих ваших мозгов, которые поставляет мясник…

Доктор резко ее прервал:

— Только этого не хватает! Неужели и вы тоже

ополчились против меня? Нет, нет, это уж слишком! Вчера вы обе очень меня огорчили, и я не на шутку рассердился. Пора положить этому конец, я вовсе не желаю, чтобы наш дом превратился в ад... Две женщины против меня одного, да вдобавок вы ведь единственные, кто меня любит! Право же, хоть беги от вас куда глаза глядят!

Он не сердился, он шутил, хотя дрожь в голосе выдавала его волнение. Со свойственным ему веселым добродушием он добавил:

— Если вы, голубушка, опасаетесь, что в этом месяце не сведете концы с концами, скажите мяснику, пусть пришлет мой счет отдельно... Будьте спокойны, я не попрошу вас добавлять из своего кармана, ваши неприкосновенные сбережения останутся целы.

Это был намек на маленький личный капитал Мартины. Получая ежегодно в течение тридцати лет четыреста франков жалованья, она заработала двенадцать тысяч, ограничивая собственные расходы самым необходимым. И сумма ее сбережений, почти утроенная благодаря приросту процентов, составляла теперь около тридцати тысяч франков, которые она не поместила у г-на Грангийо из какого-то каприза, из желания держать свои деньги отдельно. Впрочем, они

приносили ей солидный доход.

— Мои неприкосновенные сбережения — это честно заработанные деньги, — сказала она с важностью. — Но вы правы, сударь, я попрошу мясника посылать вам отдельный счет, ведь мозги, что он поставлял, не для моей, а для вашей кухни.

Эта перепалка вызвала улыбку Клотильды, — ее всегда забавляло подшучивание над скаредностью Мартины, и завтрак закончился более весело. Доктор предложил пить кофе под платанами, говоря, что хочет подышать свежим воздухом после проведенного взаперти утра. И кофе подали на каменный столик возле фонтана. Как там было хорошо, в тенистом уголке, у прохладной журчащей воды, меж тем как повсюду кругом — в сосновой роще, на току, в комнатах — стояла нестерпимая духота.

Паскаль, удовлетворенно поглядывая на склянку с нервным веществом, которую он поставил на стол, начал притворно ворчливым тоном:

— Итак, сударыня, вы не верите в мой животворный эликсир, а верите в чудеса!

— Учитель, — ответила Клотильда, — я верю, что нам не дано постичь всего.

Он сделал нетерпеливое движение.

— Но нам надо все постичь… Пойми же, маленькая упрямица, что наука не знает ни одного нарушения незыблемых законов, управляющих вселенной. Только человеческому разуму удавалось до сих пор вторгаться в них. Укажи мне чью-то разумную волю, чье-то преднамерение вне реального мира. Все — здесь, и нет другой воли, кроме силы, побуждающей все к жизни, жизни, которая непрестанно развивается и совершенствуется.

Энергично взмахнув рукой, он встал, и в нем чувствовалась такая внутренняя сила, что девушка смотрела на него, дивясь, как моложаво его лицо под шапкой седых волос.

— Хочешь, я изложу тебе мой *символ веры*, если уж ты обвиняешь меня в том, что я отвергаю твой… Я верю, что будущее человечества — в завоеваниях разума, вооруженного наукой. Я верю, что научные поиски истины и есть тот единственный высший идеал, к которому должен стремиться человек. Я верю, что вне сокровищницы истин, добытых шаг за шагом, однажды навсегда, все — иллюзия и тщета. Я верю, что, познавая все больше и больше, человек приобретет безмерную власть и если не счастье, то, по крайней мере, ясность духа… Да, я верю в конечное

торжество жизни.

И жестом еще более широким он обвел безграничные светлые дали, будто хотел призвать в свидетели озаренные солнечным пламенем поля, где бурлили животворные соки.

— Пойми же, дитя, что жизнь — это непрестанное чудо. Раскрой глаза, погляди!

Она покачала головой.

— Они раскрыты, но я не вижу всего… Это ты, учитель, упрямец, если не хочешь признать, что там, по ту сторону жизни, есть что-то неведомое, чего ты никогда не постигнешь… Я знаю, ты слишком умен, чтобы не понимать. Только ты не хочешь воздать должное непостижимому и отстраняешь это непостижимое, чтобы оно не мешало твоим исследованиям… Сколько бы ты ни твердил, что не надо принимать в расчет таинственное, что следует идти от известного к завоеванию неизвестного, я… я этого не могу! Таинственное тотчас заявляет о себе и непрестанно меня волнует.

Он слушал ее, улыбаясь, счастливый, что она оживилась, и погладил ее белокурые локоны.

— Да, да, я знаю, что ты такая, как все, и не можешь жить без иллюзий и обмана… Ну, ничего, в конце концов мы все же поймем друг друга.

Только береги свое здоровье, в здоровье залог мудрости и счастья.

Затем, переменив тему, добавил:

— Послушай, идем все-таки со мной, ты поможешь мне в моем чудотворном походе… Сегодня четверг — день, когда я навещаю больных. Лишь только спадет жара — мы отправимся вместе!

Сначала она отказалась, опасаясь, чтобы он не принял ее согласие за уступку, но, увидев, как он огорчился, сдалась. Она всегда сопровождала Паскаля, когда он отправлялся к больным. Они еще посидели под платанами, а потом доктор ушел к себе переодеться. Вернувшись в сюртуке и в атласном цилиндре с широкими полями, он сказал, что хорошо бы запрячь Добряка — лошадь, на которой он уже четверть века ездил к пациентам. Но бедный старый коняга ослеп, и из любви к нему и в благодарность за его верную службу его теперь почти не беспокоили. Глаза у него стали мутные, ноги скрючило ревматизмом. В этот день Добряк совсем расхворался. Доктор и Клотильда, зайдя в конюшню, громко чмокнули его в морду и пожелали ему хорошенько отдохнуть на охапке свежей соломы, принесенной служанкой. Сами же они решили отправиться пешком.

Клотильда так и осталась в белом с красными

горошинами полотняном платье и только надела белую соломенную шляпку, украшенную букетиком сирени; ее большие глаза, нежное розовое лицо, затененное широкими полями, были полны очарования. Они шли под руку: Клотильда, тоненькая, стройная, юная, и сияющий Паскаль в ореоле своих седин, которые, казалось, подчеркивали моложавость его лица, Паскаль, еще настолько сильный, что поднимал девушку на руки, если приходилось перепрыгивать через ручейки. При виде их все улыбались, оборачивались, провожая их взглядом, так они были красивы и веселы. И сегодня, когда они подходили к Плассану по Фенуйерской дороге, кумушки у городских ворот примолкли. Можно было подумать, что это шествует один из тех древних царей, которых изображают на картинках, могущественных и добрых царей, не знающих старости, ибо их сопровождает прекрасная как день девушка, чьи цветущая юность и покорность придают им силы.

Они повернули на широкий, обсаженный деревьями проспект Совер, чтобы выйти затем на улицу Банн, как вдруг их остановил молодой брюнет лет тридцати.

— Вы совсем забыли обо мне, учитель. А я жду

не дождусь вашей статьи о чахотке.

Это был доктор Рамон, два года тому назад обосновавшийся в Плассане, где приобрел отличную практику. В расцвете лет, красавец и баловень женщин, он, к счастью, обладал здравым смыслом и достаточной рассудительностью.

— А, это вы, Рамон! Здравствуйте… Совсем я вас не забыл. Виновата эта гадкая девочка, я дал ей еще вчера переписать мою заметку, а она до сих пор к ней не притронулась.

Молодые люди обменялись искренним дружеским рукопожатием.

— Здравствуйте, Клотильда.

— Здравствуйте, Рамон!

Когда за год перед тем девушка заболела тифозной горячкой, к счастью, оказавшейся неопасной, доктор Паскаль совсем потерял голову, начал даже сомневаться в собственных познаниях и призвал молодого собрата, чтобы тот помог ему, вселил в него уверенность. С тех пор между всеми тремя установились непринужденные товарищеские отношения.

— Вы получите заметку завтра утром, обещаю, — сказала Клотильда, улыбаясь.

Рамон проводил их еще немного, до угла улицы Банн, где начинался старый квартал и жили

пациенты Паскаля. И в том, как Рамон с улыбкой склонился к Клотильде, чувствовалась медленно созревавшая и еще не высказанная любовь, которая терпеливо ожидает часа, назначенного для самой благоразумной из всех развязок. Впрочем, Рамон почтительно слушал и доктора Паскаля, работами которого восхищался.

— А знаете, друг мой, я как раз направляюсь к госпоже Гирод. Помните ее? Она вдова, ее муж-дубильщик пять лет тому назад умер от чахотки. У них двое детей: Софи, которой скоро исполнится шестнадцать, — к счастью, за четыре года до смерти ее отца по моему настоянию девочку отправили в деревню, к тетке, — и сын, Валентен, двадцати одного года. Из любви к сыну мать заупрямилась и оставила его дома, несмотря на то что я пугал ее всевозможными страшными последствиями. Вот и судите, прав ли я, утверждая, что дети наследуют от чахоточных родителей не самую болезнь, а только предрасположенность к ней, когда ребенок становится особенно восприимчив к заражению чахоткой? Что же мы видим? Валентен, который жил в ежедневном общении с отцом, сейчас поражен чахоткой, а Софи на деревенском воздухе обрела цветущее здоровье. — И он добавил с торжеством: — Все же, быть может,

мне удастся спасти и Валентена; с тех пор как я делаю ему впрыскивания, он прямо на глазах возвращается к жизни, прибавляет в весе. Вот увидите, Рамон, вы тоже придете, неизбежно придете к моим впрыскиваниям…

— Я и не спорю! Вы же знаете, я разделяю ваши взгляды, — сказал, прощаясь, молодой человек и пожал руки обоим.

Оставшись одни, Паскаль и Клотильда прибавили шагу и вышли на улицу Канкуэн — одну из самых узких и тесных улочек старого квартала. Даже в этот жаркий солнечный день здесь стоял синеватый сумрак и было сыро, как в погребе. В нижнем этаже одного из домов жила Гирод вместе со своим сыном Валентеном. Худая, истощенная вдова открыла им дверь; она страдала медленно развивающейся болезнью крови. С утра до вечера она огромной бараньей костью колола миндаль на большом камне, зажатом между колен. Это занятие кормило всю семью, так как Валентен давно был вынужден бросить работу. Но сегодня Гирод все же улыбнулась, завидев доктора, ее сын только что с большим аппетитом съел котлету, а уже многие месяцы он не позволял себе подобного пиршества. Сам пациент, чахлый, с редкими волосами и бород-

кой, с выдающимися скулами и восковым лицом, окрашенным болезненным румянцем, так же как и мать, устремился навстречу доктору, чтобы показать, какой он молодец. Клотильду тронул прием, оказанный Паскалю, которого встречали как спасителя, как долгожданного мессию. Эти бедные люди пожимали руки доктору, готовы были целовать ему ноги, и глаза их светились благодарностью. Стало быть, доктор все может, он — добрый бог, воскрешающий мертвых. Паскаль тоже смеялся ободряющим смехом, видя, как успешно проходит лечение. Конечно, больной был далек от выздоровления, может статься, лечение только подстегивало его, так как от доктора не укрылось, что Валентен возбужден, что его лихорадит. Но продлить ему жизнь хоть немного — это тоже чего-нибудь да стоит! Пока Паскаль делал больному очередное впрыскивание, Клотильда, отвернувшись, стояла у окна; когда же они уходили, она заметила, что Паскаль оставил на столе двадцать франков. Ему часто случалось платить своим больным, вместо того чтобы получать от них за визиты.

Навестив еще трех пациентов в старом квартале, они зашли затем к одной даме в новом городе. Когда же они снова очутились на улице, Паскаль

предложил:

— Послушай, если ты еще в силах, девочка, прежде чем заглянуть к Лафуасам, давай пройдемся до Сегирана и проведаем Софи, она живет у своей тети. Вот было бы славно!

Оставалось пройти всего три километра — чудесная прогулка в эту солнечную погоду. Клотильда охотно согласилась и, забыв о ссоре, чувствовала себя счастливой, что идет под руку с Паскалем, что он рядом. Было пять часов, косые лучи солнца золотым покрывалом окутывали все вокруг. Но как только доктор и Клотильда вышли за пределы Плассана, им пришлось проделать часть пути по обширной выжженной равнине на правом берегу Вьорны. Недавно прорытый канал, воды которого должны были преобразить изнывающий от жажды край, еще не орошал этой равнины; в тусклом солнечном мареве до самого горизонта простирались участки красноватой и желтой земли, засаженной только хрупкими миндальными деревьями и карликовыми оливами. Оливы, которые постоянно подравнивали и подстригали, словно в знак протеста, страдальчески раскинули в разные стороны свои кривые ветви. Вдали, на невозделанных склонах виднелись только белесые пятна бастид, прятавшихся

кое-где за ровной шеренгой черных кипарисов. И все же огромная безлесная равнина, вся в широких складках резко окрашенной, бесплодной земли, сохраняла прекрасные классические очертания и строгое величие. А на дороге лежала пыль толщиной в двадцать сантиметров, белая, как снег, пыль, которая при малейшем дуновении ветерка вздымалась большими клубами, оседая белым налетом на фиговых деревьях и кустах ежевики по обе стороны дороги.

Клотильда забавлялась, словно ребенок, прислушиваясь к тому, как под ее маленькими ногами скрипит эта пыль; желая уберечь Паскаля от солнца, она заботливо раскрыла над ним зонтик.

— Солнце светит тебе прямо в глаза! Иди левее!

Но он выхватил у нее зонтик и понес его сам.

— Дай лучше мне, у тебя рука устанет! Но вот, кстати, мы и пришли!

На выжженной солнцем равнине уже виднелся зеленый островок — настоящая большая роща. Это и был Сегиран — поместье, где выросла Софи у своей тетки Дьедонне, жены сыромятника. Везде, где только пробивался какой-нибудь источник, какой-нибудь ручеек, на этой раскаленной поч-

ве разрасталась пышная зелень — густая тень становилась еще гуще, а чудесные уединенные дорожки еще прохладнее. Здесь росли могучие платаны, каштановые деревья, молодые вязы. Паскаль и Клотильда углубились в чудесную дубовую аллею.

Когда они подошли к ферме, крестьянка, ворошившая на лугу сено, бросила вилы и подбежала к ним. Это была Софи, узнавшая доктора и «барышню», как она называла Клотильду. Она боготворила их обоих и теперь стояла, смутившись, не спуская с них глаз и не умея высказать благодарность, переполнявшую ее сердце. Небольшим ростом, выдающимися скулами и бесцветными волосами она походила на своего брата Валентена; но в деревне, вдали от чахоточного отца, она расцвела, обрела уверенную поступь, щеки ее округлились, волосы стали гуще, а красивые глаза утратили болезненное выражение и светились сейчас признательностью. Подошла и тетушка Дьедонне, также ворошившая сено. Она еще издали приветствовала гостей с провансальской грубоватостью:

— А, это вы, господин Паскаль, а вы нам совсем и не нужны! У нас нет больных!

Доктор, который затем и пришел сюда, чтобы

полюбоваться этим радующим взор здоровьем, ответил ей в тон:

— Надеюсь! И все же эта девица должна поставить за мое да и за ваше здоровье толстенную свечу!

— Что верно, то верно! Она знает это, господин Паскаль, и каждый день твердит, что, не будь вас, она была бы сейчас похожа на своего брата, бедняжку Валентена.

— Ба! Мы и его вылечим. Валентену уже лучше. Я только что был у него.

Софи схватила доктора за руки, крупные слезы показались у нее на глазах. Она только прошептала:

— О, господин Паскаль!

До чего же его любят здесь! И Клотильда почувствовала, как от этой всеобщей любви к Паскалю растет и ее нежность к нему. Они пробыли в Сегиране недолго, непринужденно болтая в живительной тени зеленых дубов. Затем направились обратно в Плассан; по пути им нужно было навестить еще одного пациента.

Это был хозяин захудалого, побелевшего от дорожной пыли кабачка, стоявшего на скрещении двух дорог. Напротив кабачка незадолго перед тем соорудили паровую мельницу, использовав

старинные постройки Параду — владенья, сохранившегося от прошлого века. И кабатчик Лафуас умудрялся сводить концы с концами благодаря рабочим мельницы и крестьянам, привозившим на помол свое зерно. По воскресеньям у него бывали еще другие клиенты — немногочисленные жители соседней деревушки — Арто. Но его преследовала неудача: уже три года он еле волочил ноги, жалуясь на боли, и доктору постепенно стало ясно, что это начало паралича. Лафуас продолжал упрямиться, не желал нанимать служанку, ходил, держась за стулья, но все-таки сам прислуживал посетителям. Ему стало несколько лучше после десяти впрыскиваний, и он уже кричал повсюду, что выздоровел.

Теперь он стоял в дверях, большой и сильный, его красное лицо пылало под шапкой огненно-рыжих волос.

— А я вас поджидаю, господин Паскаль! Подумайте только, вчера я разлил две бочки вина по бутылкам и совсем не устал!

Клотильда присела на каменную скамейку во дворе, а Паскаль вошел в дом, чтобы сделать Лафуасу впрыскивание. До Клотильды долетали их голоса: кабатчик, крайне чувствительный к боли, несмотря на свою крепкую мускулатуру,

жаловался, что впрыскивания болезненны: но, конечно, всякое вытерпишь ради того, чтобы быть здоровым. Потом он начал просить доктора выпить стаканчик вина, да и барышне не следует обижать его отказом, пусть она отведает сиропа. Он вынес на улицу столик, и им пришлось чокнуться с хозяином.

— За ваше здоровье, господин Паскаль! И за здоровье всех несчастных, которые могут благодаря вам снова радоваться жизни!

Клотильда улыбалась, вспоминая сплетни, переданные ей Мартиной о папаше Бутене, которого будто бы погубил доктор. Выходит, что Паскаль убивает не всех своих пациентов, даже напротив, его метод лечения совершает настоящие чудеса. Она вновь обретала веру в своего учителя, и ее сердце наполнялось горячей любовью к нему. Когда они покинули Лафуаса, она уже не рассуждала больше. Паскаль мог схватить, унести ее, располагать ею по своему усмотрению.

Но за несколько минут до ухода, сидя на каменной скамье и глядя на паровую мельницу, она припомнила одну полузабытую историю. Не здесь ли, не на этой ли мельнице, ныне потемневшей от угля и запорошенной мукой, разыгралась некогда драма великой любви? В памяти Кло-

тильды воскресали подробности, рассказанные Мартиной, случайные намеки самого доктора — все перипетии трагической любви ее двоюродного брата, аббата Сержа Муре, тогда священника в Арто, и прелестной дикарки, обитавшей в Параду.

Вот почему, когда они снова вышли на дорогу, Клотильда остановилась, указав рукой на унылую пустошь, где торчало жнивье, стелились сорняки, рядом чернели невозделанные участки.

— Учитель, кажется, здесь был когда-то большой сад? Не ты ли рассказывал мне эту длинную историю? — спросила она.

Паскаль, весь отдавшийся радости этого чудесного дня, вздрогнул, и на его губах появилась улыбка, бесконечно грустная и нежная.

— Да, да, Параду, огромный сад, рощи, лужайки, фруктовые деревья, цветники, фонтаны и ручейки, вливающиеся в Вьорну. Сад, забытый всеми в течение целого столетия, настоящий сад Спящей Красавицы, где царит Природа… А теперь, видишь, деревья выкорчевали, землю взрыхлили, разровняли, чтобы разделить на участки и продать с торгов. Даже источники и те иссякли, теперь на их месте ядовитое болото… И по сей день каждый раз как я прохожу здесь, у

меня разрывается сердце!

Она осмелилась задать еще один вопрос:

— Не здесь ли, в Параду, любили друг друга мой двоюродный брат Серж и твоя приятельница Альбина?

Но Паскаль уже забыл, что подле него Клотильда, и, уйдя в прошлое, устремил глаза вдаль.

— Альбина, о боже! — продолжал он. — Я как живую вижу ее в саду, залитом солнцем: она запрокидывает голову, грудь ее трепещет от смеха. Вся она словно большой букет, благоухающий жизнью. Она радуется простым полевым цветам, цветы обвивают ее шею, украшают белокурые волосы, корсаж, охапки цветов в ее тонких, обнаженных руках, позлащенных загаром… Она убила себя, задохнувшись от их аромата, и я снова вижу ее, но уже мертвую, на ложе из гиацинтов и тубероз, лилейно-белую, со скрещенными на груди руками. Умерла от любви! Как любили друг друга Альбина и Серж в этом огромном саду, полном искушений, на лоне природы — их сообщницы! С какой силой разбил жизненный ураган все ложные путы! Какое торжество жизни!

Смущенная этим страстным потоком слов, Клотильда устремила на Паскаля внимательный взгляд. Она никогда не осмеливалась спросить

его о другой истории — до нее доходили слухи об его единственной, тайной любви к некой даме, ныне тоже покойной. Рассказывали, будто он лечил ее и ни разу не отважился поцеловать даже кончики ее пальцев. И до сих пор, дожив почти до шестидесяти лет, Паскаль, застенчивый от природы, чуждался женщин, предпочитая им науку. Но чувствовалось, что в нем не охладел пыл души, что сердце его еще юно и полно до краев, несмотря на седину.

— А та, что умерла, но не забыта…

Клотильда запнулась, голос ее дрожал, щеки пылали неизвестно почему.

— Значит, Серж не любил Альбину, если позволил ей умереть?

Паскаля будто разбудили, неожиданно он растерялся от близости Клотильды: она была так молода и так сияли ее большие, ясные глаза из-под широких полей шляпы! И вдруг словно что-то произошло, оба ощутили какой-то трепет. Они больше не взялись за руки, а пошли рядом.

— Ах, дорогая, мир был бы слишком прекрасен, если бы сами люди не портили всего! Альбина скончалась, а Серж теперь священником в Сент-Этропе, где живет со своей сестрой Дезире, она славная девушка, к счастью, еще не совсем

слабоумная. Он же святой человек, я никогда и не считал его иным… Можно быть убийцей и служить богу.

И, не переставая улыбаться, он продолжал говорить жестокую правду о жизни, об омерзительных, страшных пороках человеческого рода. Со спокойным мужеством он говорил о ее непрерывных творческих усилиях, он любил жизнь, несмотря на все зло, на все то отвратительное, что она могла в себе содержать. Пусть жизнь кажется ужасной, разве она все же не велика и прекрасна? Недаром люди борются за нее с таким упорством, во имя ее самой и той, скрытой от нас великой работы, какую она совершает. Конечно, Паскаль был ученый, прозорливец и не верил в идиллическое человечество, живущее среди молочных рек и кисельных берегов; напротив, он видел все зло и все изъяны и в течение вот уже тридцати лет выискивал их, извлекал наружу, систематизировал; но любовь к жизни, восхищение ее силами порождали у Паскаля присущую ему ясность духа, откуда как бы проистекала его любовь к людям, братская нежность и сочувствие к ним, которые угадывались под суровостью и мнимым бесстрастием анатома, увлеченного своими исследованиями.

— Ну, что ж, — продолжал он, оглянувшись в последний раз на обширные унылые поля. — Параду больше не существует, его разгромили, изуродовали, разрушили, но виноградники посадят вновь, хлеб созреет — появятся молодые всходы новых урожаев, и когда-нибудь люди снова будут любить друг друга в дни сбора винограда и жатвы... Источник жизни вечен, и она непрерывно возрождается и идет вперед.

Он опять взял Клотильду под руку; и, идя бок о бок, как добрые друзья, они направились домой, когда на небе уже медленно угасали последние отблески розовато-лиловой вечерней зари. Они шествовали вдвоем: старый, могущественный, добрый царь и прелестная, покорная девушка, на чье плечо он опирался, находя поддержку в ее чудесной юности; и женщины предместья, сидевшие на пороге домов, провожали их растроганной улыбкой.

В Сулейяде их поджидала Мартина. Еще издали она делала им какие-то знаки. Что ж это такое, видно, они совсем позабыли об обеде! Когда же они приблизились, она объявила:

— Ну, теперь вам придется подождать четверть часа. Не могла же я заранее поставить в печь баранью ножку!

Они не вошли в дом, очарованные сумеречным освещением. От сосновой рощи, которую уже скрыла тень, веяло благовонным, смолистым запахом, а по току, еще дышавшему зноем, где задержался последний розовый отблеск, пробегал какой-то легкий трепет. То был как бы вздох облегчения, умиротворенный вздох: вся усадьба, поля, чахлые миндальные деревья и изогнутые оливы на фоне безмятежно-чистого бледнеющего неба вкушали покой, а позади дома платановая роща уже превратилась в сплошную темную массу, откуда доносился неумолчный хрустальный звон фонтана.

— Смотри-ка, — произнес доктор, — господин Белломбр уже пообедал и вышел подышать свежим воздухом!

Он указал рукой в сторону соседнего владения, где на скамейке сидел в наглухо застегнутом сюртуке и при галстуке высокий худой старик лет семидесяти с длинным лицом, изборожденным морщинами, и с неподвижными глазами навыкате.

— Вот кто мудрец! — пробормотала Клотильда. — И он счастлив!

— Он? Надеюсь, что нет!

Паскаль ни к кому не питал ненависти, и толь-

ко г-н Белломбр, учитель гимназии в отставке, обитавший в своем маленьком домике в обществе одного лишь глухонемого садовника, еще более старого, чем он сам, обладал даром приводить его в исступление.

— Этот субъект всегда боялся жизни, понимаешь, боялся ее… Да, он эгоист, жестокий и скупой! Если он не допускал в свою жизнь женщину, то лишь из страха, что ему придется покупать ей туфли. Он имел дело только с чужими детьми, которые мучили его. Вот почему он ненавидит детей — эту грешную плоть, созданную для розог… Страх перед жизнью, страх перед долгом и обязательствами, заботами и неудачами! Страх перед жизнью, когда из-за причиняемых ею страданий отказываются и от наслаждений, какие она дарит! Ну, пойми же, эта трусость приводит меня в негодование, она непростительна… Надо жить, жить полной жизнью, испробовать все, — лучше страдание, только страдание, чем такое отречение, когда человек умерщвляет в самом себе все живое и человеческое.

Господин Белломбр поднялся и неторопливо побрел по дорожке сада. Клотильда, все время молча следившая за ним глазами, проговорила:

— А между тем и в отречении есть своя радость.

Отречься от жизни, посвятить себя тому, что непостижимо, — не в этом ли было всегда великое счастье святых?

— Если они не жили, — вскричал Паскаль, — какие же они святые!

Он почувствовал, что Клотильда возмутилась и вот-вот снова ускользнет от него. Но он знал, что в беспокойной оглядке на потусторонний мир всегда таится неизбывный страх перед жизнью, ненависть к ней. И Паскаль рассмеялся своим обычным добродушным смехом, ласковым и примирительным.

— Ладно, ладно! На сегодня довольно! Хватит ссориться, будем крепко любить друг друга… А вот, кстати, и Мартина, она нас зовет, идем обедать!

III

Прошел целый месяц, и разлад в Сулейяде день ото дня углублялся; Клотильда особенно страдала от того, что теперь Паскаль запирал на ключ все свои ящики. Он уже не дарил ее былым спокойным доверием, и это ее так оскорбляло, что, окажись шкаф открытым, она бросила бы все папки с делами в огонь, к чему подстрекала ее бабушка. Ссоры вспыхивали то и дело, случалось, Паскаль и Клотильда не обменивались ни словом по два дня.

Однажды утром после очередной размолвки, длившейся второй день, Мартина сказала, подавая завтрак:

— Переходила я давеча через площадь Субпрефектуры и вдруг вижу, к госпоже Ругон входит какой-то приезжий, — сдается мне, я его узнала. И, право, барышня, я ничуть не удивлюсь, если окажется, что это ваш брат.

От неожиданности Паскаль и Клотильда обратились друг к другу:

— Брат?! Да разве бабушка ждала его приезда?

— Нет… не думаю. Впрочем, вот уже полгода,

как она его ждет. Я знаю, что с неделю тому назад она снова ему написала.

Доктор и Клотильда принялись расспрашивать Мартину.

— Да, по правде говоря, сударь, наверняка я сказать не могу, ведь уже четыре года я не видела господина Максима, да и то он пробыл тогда у нас всего два часа перед отъездом в Италию, — с тех пор он мог и измениться… Но мне думается, я все же узнала его со спины.

Разговор продолжался. Клотильда, видимо, радовалась, что это маленькое происшествие нарушило тягостное молчание.

— Ну, что ж, если это Максим, — заключил Паскаль, — он нас навестит!

Это и в самом деле был Максим. Долгое время он отказывался приезжать в Плассан, но все же уступил наконец настойчивым уговорам старой г-жи Ругон, которую беспокоила связанная с Максимом незажившая семейная рана. История была давняя, но с каждым днем она принимала все более серьезный оборот.

Пятнадцать лет назад семнадцатилетний Максим наградил ребенком соблазненную им служанку; над этим легкомысленным поступком созревшего раньше времени недоросля просто

посмеялись его отец Саккар и мачеха Рене, уязвленная лишь недостойным выбором пасынка. Служанка Жюстина Мего, кроткая, безответная блондинка, которой тоже исполнилось семнадцать лет, была родом из соседней деревни; ее отослали из Парижа обратно в Плассан, назначив тысячу двести франков ежегодно на воспитание маленького Шарля. Три года спустя она вышла замуж за шорника из предместья Плассана, Ансельма Тома, человека рассудительного и хорошего работника, прельстившегося ее деньгами. Впрочем, Жюстина вела себя безупречно, раздобрела и, казалось, совсем излечилась от кашля, внушавшего опасения из-за плохой наследственности, восходившей к целому поколению алкоголиков. Два других ее ребенка, рожденные в законном браке, мальчик десяти и девчурка семи лет, пухлые и розовые, были совершенно здоровы; Жюстина чувствовала бы себя вполне уважаемой и счастливой женщиной, если бы не беспокойство за Шарля. Несмотря на получаемое вознаграждение, Тома ненавидел этого ребенка, прижитого его женой с другим, и обращался с ним очень грубо, отчего втайне страдала Жюстина, хотя и оставалась по-прежнему безропотной и покорной женой. Не чая души в Шарле, она все

же охотно отдала бы его в семью отца.

В пятнадцать лет Шарль казался едва ли двенадцатилетним, а по умственному развитию и разговору ему можно было дать не больше пяти лет. Поразительно похожий на свою прапрабабку, тетю Диду, сумасшедшую из Тюлет, он был строен и грациозен; и при взгляде на его лицо, обрамленное длинными, белокурыми, шелковистыми кудрями, невольно приходили на память последние болезненные отпрыски какой-то угасающей династии. Большие светлые глаза мальчика ничего не выражали, а его красота, отмеченная печатью смерти, внушала смутное беспокойство. У него не было ни ума, ни сердца, и он напоминал маленькую избалованную собачонку, которая трется возле ног хозяина, чтобы ее приласкали. Фелисите, очарованная красотой правнука, в котором, по ее уверениям, она узнавала свою кровь, поместила его на свой счет в коллеж; но через полгода его оттуда выгнали, обвинив в постыдных пороках. Она упорствовала, трижды меняла пансион, но каждый раз Шарля снова изгоняли по той же позорной причине. Он не хотел и не мог усвоить никаких знаний и только оказывал дурное влияние на других детей, так что пришлось взять его из пансиона

и держать по очереди у всех родственников. Мягкосердечный доктор Паскаль, поверив, что Шарля возможно исцелить, продержал его у себя около года, после чего прервал бесполезный курс лечения, стремясь уберечь Клотильду от всякого соприкосновения с ним. Теперь, если Шарля не было у матери, — а он там почти не жил, — его можно было найти или у Фелисите, или еще у кого-нибудь из родных; изнеженный, всегда кокетливо одетый, окруженный кучей игрушек, он жил как наследный принц вымирающей королевской династии.

Между тем этот незаконнорожденный ребенок с великолепными белокурыми кудрями доставлял немало неприятностей старой г-же Ругон, и, чтобы избежать плассанских пересудов, она решила уговорить Максима взять сына к себе в Париж. Тогда, по крайней мере, позабудется хотя бы эта грязная семейная история. Но Максим очень долго оставался глух к словам бабушки, так как больше всего на свете опасался усложнить собственную жизнь. После смерти жены он разбогател и, вернувшись после войны в свой особняк на проспекте Буа-де-Булонь, с оглядкой расходовал свое состояние. Из кутежей юных лет он вынес спасительный страх перед известного

рода наслаждениями и, главное, раз и навсегда решил избегать волнений и не брать на себя никаких обязательств, чтобы прожить возможно дольше. Уже некоторое время его мучили острые боли в ногах, которые он приписывал ревматизму, и он боялся стать инвалидом, прикованным к креслу. Внезапное возвращение во Францию его отца, размах деятельности Саккара на новом поприще окончательно привели его в ужас. Он хорошо знал этого пожирателя миллионов и содрогался от дурных предчувствий, видя, как, дружески посмеиваясь, отец с простодушным видом старается ему услужить. Неужели наступит день, когда Саккар пустит сына по миру, если тот окажется в его власти, беспомощный, неподвижный. И Максимом овладел такой страх перед одиночеством, что он решился наконец повидать Шарля. Если мальчик покажется ему ласковым, смышленым и здоровым, почему бы не увезти его с собой? Тогда у него будет компаньон, наследник, который защитит его от козней отца. И в своем эгоизме Максим уже видел, как его любят, лелеют, как блюдут его интересы. И все же он, пожалуй, не отважился бы на такое путешествие, если бы доктор не послал его на воды в Сен-Жерве. Оттуда до Плассана ему надо

было сделать крюк всего в несколько лье, — вот таким образом он однажды утром внезапно оказался в доме старой г-жи Ругон, свалился как снег на голову; он твердо решил, что, расспросив ее о Шарле и повидавшись с ним, он в тот же вечер снова сядет в поезд.

В два часа, когда Паскаль и Клотильда все еще сидели у фонтана под платановыми деревьями за кофе, неожиданно появилась Фелисите в сопровождении Максима.

— Деточка, смотри, какой сюрприз! Я привела твоего брата!

Взволнованная девушка вскочила с места, вглядываясь в этого похудевшего и пожелтевшего незнакомца, которого с трудом узнавала. Со времени их разлуки в 1854 году она видела его всего два раза, один раз в Париже, другой — в Плассане. Но у нее сохранилось воспоминание о нем как об элегантном, подвижном молодом человеке. Теперь щеки его ввалились, волосы поредели, и в них засеребрились белые нити. Однако мало-помалу Клотильда, несмотря на преждевременную немощь Максима, узнала его тонкие, красивые черты, даже теперь не утратившие дразнящей девической прелести.

— Как хорошо ты выглядишь! — только и ска-

зал Максим, целуя сестру.

— А это потому, что я много бываю на солнце, вот и все!.. До чего же я тебе рада!

Паскаль как опытный врач сразу понял, чем болен Максим. Он тоже поцеловал племянника.

— Здравствуй, мальчик! А ведь она права, только на солнце и чувствуешь себя хорошо, все равно как деревья.

Фелисите стремительно направилась к дому. Вернувшись, она крикнула:

— Разве Шарль не здесь?

— Нет. Вчера он был у нас, — ответила Клотильда. — Но дядя Маккар увез его, он пробудет несколько дней в Тюлет.

Фелисите пришла в отчаяние. Она примчалась сюда, уверенная, что застанет мальчика у Паскаля. Как же теперь быть? С обычным спокойствием доктор предложил отправить дядюшке записку, чтобы он привез Шарля завтра утром. Но когда он узнал, что Максим не хочет ночевать в Плассане и твердо намерен уехать с девятичасовым поездом, ему пришла в голову другая мысль. Он пошлет за наемным ландо, и они вчетвером отправятся к Маккару, чтобы повидаться с Шарлем. К тому же это будет превосходная прогулка. От Плассана до Тюлет нет и трех лье, час туда, час обратно,

стало быть, можно провести там часа два, даже если надо вернуться домой к семи часам. Мартина приготовит обед, Максим успеет поесть и не опоздает на поезд.

Но Фелисите встревожилась, явно опасаясь предстоящей встречи с Маккаром.

— Ну, уж нет! Я не намерена ехать туда, того и гляди разразится гроза… Не проще ли послать кого-нибудь за Шарлем?

Паскаль покачал головой. Шарля не так-то просто привезти. Никогда не знаешь наперед, какая муха его укусит, порой он раскапризничается и убежит, словно дикий зверек. И старая г-жа Ругон, в ярости от того, что не могла заранее все подготовить, была вынуждена подчиниться и уступить; ей оставалось только уповать на судьбу.

— В конце концов, делайте как хотите! Бог ты мой, какая незадача!

Мартина отправилась за экипажем, и не было еще трех часов, когда ландо, запряженное парой лошадей, тронулось по дороге в Ниццу, отлого спускавшейся к мосту через Вьорну. Оттуда они свернули влево и километра два ехали вдоль лесистого берега реки. Далее дорога углублялась в Сейское ущелье, узкий коридор между двух огромных утесов, опаленных зноем и пожелтев-

ших под жаркими лучами солнца. В расселинах росли сосны, купы деревьев, казавшиеся снизу пучками травы, окаймляли гребни скал, свисая над пропастью. Это был хаос, первозданное нагромождение каменных глыб, дорога в преисподнюю, с резкими поворотами и осыпями кроваво-красной земли, где царило мрачное безмолвие, нарушаемое лишь шорохом орлиных крыл.

Удрученная Фелисите была поглощена своими мыслями и за все время пути не раскрыла рта. Было душно, солнце палило, пробиваясь сквозь пелену синеватых туч. Разговор поддерживал один только Паскаль, который питал страстную любовь к этой дикой природе и старался передать свою любовь племяннику. Но напрасно он восхищался, показывая ему смоковницы, оливы и ежевику, упрямо растущую на скалах, обращая его внимание на жизнь этих скал, мощного остова земли, из глубин которой словно доносилось какое-то дыхание. Максим оставался равнодушен, весь во власти неосознанного страха перед этими громадами, подавлявшими его своей первобытной величавостью. Он предпочитал смотреть на сидевшую напротив сестру. Мало-помалу он поддался ее очарованию — она казалась такой

цветущей, безмятежной и счастливой, ему так нравилась ее красивая, круглая головка, чистые линии высокого лба. Порой их глаза встречались, она нежно улыбалась ему, и это его ободряло.

Но вот дикое ущелье начало приобретать более спокойные очертания: скалистые утесы стали ниже, и теперь ландо катилось между пологими косогорами, заросшими тимьяном и лавандой. Это все еще была пустынная, голая земля то зеленоватого, то лиловатого оттенка, откуда даже еле уловимый ветерок доносил пряные ароматы. Затем, миновав последний поворот, они сразу спустились в ложбину Тюлет, орошаемую прохладными источниками. Вдали расстилались луга, кое-где мелькали деревья. Деревня лежала на косогоре среди олив, а поодаль, немного левее, стоял домик Маккара, и окна его смотрели прямо на юг. Эта же дорога вела к дому умалишенных, впереди уже виднелись его белые стены.

Молчавшая всю дорогу Фелисите стала еще угрюмее: она не любила никого знакомить с дядюшкой Маккаром. Вот еще один родственничек, чья смерть покажется семье избавлением. Для доброй славы Ругонов ему давно бы надо покоиться в земле. Но в свои восемьдесят три года старый пьянчуга не сдавался и, весь пропи-

танный алкоголем, казалось, законсервировался в спирту. В Плассане о нем шла дурная молва, его считали бездельником и негодяем, и старики шепотом передавали страшную историю об убитых, которые были на совести у него и у Ругонов; рассказывали об его предательстве в смутные декабрьские дни 1851 года, о западне, уготованной им смертельно раненным товарищам, которых он бросил на залитой кровью мостовой. Позднее, вернувшись во Францию, он выговорил себе хорошую должность, но тут же предпочел всему маленькое поместье в Тюлет, купленное для него Фелисите. С тех пор он жил здесь припеваючи, думая только о том, как всеми правдами и неправдами приумножить свои владения, и ухитрился заполучить в подарок поле, на которое давно зарился. И все благодаря тому, что оказал услугу своей невестке в те времена, когда ей предстояло вторично отвоевать Плассан у легитимистов. Это тоже была страшная история — ее передавали друг другу на ухо, — о каком-то сумасшедшем, которого потихоньку выпустили ночью из убежища для душевнобольных, а он из мести поджег собственный дом, где заживо сгорели четыре человека. Но, к счастью, все это относилось к прошлому, и остепенившийся Мак-

кар уже не был грозным бандитом, пугалом всей семьи. Теперь он держался чинно, вел себя как хитрый дипломат и только по-прежнему усмехался так, словно ему на все наплевать.

— Дядя у себя, — сказал Паскаль, когда ландо остановилось.

Одноэтажный домик Маккара, похожий на все провансальские строения, был крыт выцветшей черепицей, а стены окрашены в ярко-желтый цвет. Узкую террасу затеняли шпалеры старых тутовых деревьев с изогнутыми толстыми ветвями. Здесь дядюшка курил летом свою трубку. Услышав стук ландо, Маккар подошел к краю террасы, выпрямившись во весь свой высокий рост; на нем был опрятный костюм из синего сукна и меховой картуз, который он неизменно носил круглый год.

Узнав посетителей, он усмехнулся и крикнул:

— Какое блестящее общество! Очень мило с вашей стороны! Сейчас я попотчую вас чем-нибудь освежительным…

Но появление незнакомого лица возбудило его любопытство. Кто этот приезжий? Что ему здесь надо? Максима представили, но дядюшка сразу же прервал объяснения, которые ему начали было давать, чтобы помочь разобраться в сложном

клубке родственных связей.

— Отец Шарля, знаю, знаю! Черт побери! Это же сын моего племянничка Саккара. Тот самый, что так выгодно женился и у которого жена скончалась?

Он вглядывался в лицо приезжего, как видно весьма довольный тем, что в свои тридцать два года Максим уже весь в морщинах, а волосы и борода у него с проседью.

— Да, черт возьми! Все мы старимся! — добавил он. — Но мне грех жаловаться. Я еще хоть куда!

Он не скрывал самодовольного торжества, и его налитое кровью лицо пылало, как раскаленная сковорода. Водка давно уже стала для него все равно что вода, и только восьмидесятипятиградусный коньяк еще немного щекотал его огрубевшую глотку; он поглощал спиртное в таком количестве, что был весь пропитан им, как губка. Алкоголь, казалось, выступал из всех его пор. Когда он говорил, из его рта вместе с дыханием распространялись пары спирта.

— Что правда, то правда, вы, дядя, хоть куда! — сказал восхищенный Паскаль. — И ничего для этого не делаете, вот вы и вправе смеяться над нами… Но знаете, чего я боюсь: как бы вы когда-нибудь, раскуривая трубку, не подожгли самого

себя, как чашу с пуншем!

Польщенный Маккар шумно расхохотался:

— Шути, шути, племянничек! Стаканчик коньяка почище всех твоих дурацких лекарств... Надеюсь, вы не откажетесь чокнуться со мной? Пусть люди знают, что дядюшка Маккар принял вас по-родственному. Мне-то наплевать на злые языки. У меня всего вдоволь: хлеба и винограда, оливковых и миндальных деревьев, — под стать любому буржуа. Летом я покуриваю трубку в тени моих шелковиц, а зимой прихожу курить сюда, вот к этой стенке, на солнышке. Гм! за такого дядюшку не приходится краснеть... Клотильда, у меня найдется сироп, если захочешь. А вы, дорогая Фелисите, я знаю, предпочитаете анисовку. Что ж, у меня есть все, поверьте, все, чего бы вы ни пожелали!

Он широко развел руками, словно хотел объять разом все, чем владел; но как только этот старый плут, превратившийся ныне в отшельника, начал перечислять нажитые им богатства, Фелисите насторожилась, не спуская с него глаз, готовая его прервать в любую минуту.

— Спасибо, Маккар, мы ничего не хотим... Мы торопимся... Так где же Шарль?

— Шарль? Ладно, ладно, сейчас! Я понимаю,

папаша приехал навестить сыночка… Но это не помешает нам пропустить по рюмочке.

Когда же все наотрез отказались, он обиделся и сказал, злобно усмехаясь:

— Шарля здесь нет. Он в больнице, со старухой.

Маккар подвел Максима к краю террасы, показал ему на большие белые постройки и разбитые между ними сады, похожие на тюремные дворики.

— Глядите, племянник, — прямо против нас три дерева. Так вот: у того, что слева, — во дворе фонтан. А пятое окошко справа на первом этаже — тети Диды. Там как раз и находится мальчонка… Да, я только что отвел его туда.

Это было послаблением, допущенным дирекцией. За двадцать один год пребывания в больнице старуха не причинила ни малейшего беспокойства сиделке. Она проводила целые дни в кресле, глядя прямо перед собой, всегда спокойная и тихая; мальчик охотно бывал у нее, да и старуху, видимо, это занимало, — почему на такое нарушение правил смотрели сквозь пальцы и иногда на два-три часа оставляли у нее Шарля, поглощенного вырезыванием картинок.

Новое препятствие еще ухудшило настроение

Фелисите. Когда Маккар предложил отправиться за мальчиком всей компанией, впятером, она рассердилась:

— Что за нелепость! Ступайте один и возвращайтесь поскорее. Мы не можем терять времени…

Фелисите еле сдерживала кипевший в ней гнев, и это забавляло дядюшку; почувствовав, что он ее раздражает, он стал настаивать на своем, не переставая издеваться.

— Черт побери! Да ведь нам, дети мои, представляется случай повидать старуху матушку, нашу общую прародительницу. Тут уж отрекаться не приходится, все мы пошли от нее, и хотя бы из простой учтивости следует навестить ее и пожелать ей доброго здоровья, ведь мой племянничек прибыл издалека и небось позабыл, когда видел ее в последний раз. Что до меня, я от нее не отступаюсь, черт меня подери, нет! Она слабоумная, не спорю; но немногие могут похвалиться мамашей, которой перевалило за сто, и поэтому стоит оказать ей немного уважения.

Наступило молчание. Всем стало не по себе. Клотильда, не проронившая до сих пор ни слова, взволновалась и заговорила первая:

— Вы правы, дядюшка, мы отправимся к ней

все!

Даже Фелисите была вынуждена уступить. Все снова уселись в ландо. Маккар поместился рядом с кучером. Побледневший от усталости и волнения Максим во время короткого пути расспрашивал Паскаля о Шарле, но под мнимой отцовской заботой скрывалось возраставшее беспокойство. Смущенный властными взглядами матери, Паскаль смягчил правду. Господи, да просто мальчик не отличается крепким здоровьем, поэтому его охотно оставляют на целые дни у дядюшки в деревне, но никакой особой болезни у него нет. Паскаль умолчал, что одно время он надеялся укрепить мальчика, впрыскивая ему экстракт нервного вещества, но пришлось от этого отказаться, так как он постоянно наталкивался на одну и ту же неприятность: малейший укол вызывал у Шарля кровотечения, которые приходилось останавливать тугой повязкой; капельки крови, проступавшие на коже, словно росинки, свидетельствовали о дряблости тканей — следствии вырождения. В особенности мальчик был подвержен кровотечениям из носа, таким внезапным и обильным, что в любую минуту мог истечь кровью, поэтому и нельзя было его оставлять одного. В заключение доктор успокоил

Максима, сказав, что все же не теряет надежды: умственные способности Шарля пока дремлют, но, быть может, пробудятся, если он попадет в духовно более развитую среду.

Наконец они подъехали к больнице. Маккар, который все время прислушивался к словам Паскаля, сказал, слезая с козел:

— Мальчонка очень добрый, очень. Да к тому же красив, как ангел!

Максим побледнел еще больше и задрожал, несмотря на удушающую жару, но не задавал больше вопросов. Он оглядел обширные корпуса больницы, многочисленные строения, отделенные друг от друга садами — для мужчин и для женщин, для тихих и для буйнопомешанных. Всюду было безупречно чисто, унылое безмолвие нарушалось только шумом шагов и звяканьем ключей; старый Маккар знал всех сторожей. Впрочем, двери раскрывались не только перед ним, но и перед доктором Паскалем, получившим разрешение лечить некоторых больных. Они прошли по галерее, свернули во двор; тетя Дида жила в одной из комнат первого этажа, оклеенной светлыми обоями, обставленной кроватью, шкафом, столом, креслом и двумя стульями. Сиделка, которой не разрешали ни

на минуту покидать свою подопечную, как раз отлучилась. И в комнате за столом сидели только безумная, неподвижно застывшая в своем кресле, и напротив нее, на стуле, — мальчик, занятый вырезыванием картинок.

— Войдите, войдите! — повторял Маккар. — Бояться нечего! Она очень тихая.

Прародительница Ругонов Аделаида Фук, которую ее потомки — целое племя — звали ласковым именем тетя Дида, даже не повернула головы, когда они вошли. С молодых лет она была подвержена тяжелым истерическим припадкам. Пылкая, доходившая в любви до исступления, она, несмотря на повторявшиеся время от времени приступы, дожила до почтенного возраста — восьмидесяти трех лет, когда ужасное горе, глубокое душевное потрясение ввергли ее в безумие. Это случилось двадцать один год тому назад, и с тех пор ее сознательная жизнь приостановилась, умственные способности угасли, — исцеление было невозможным. И теперь, в возрасте ста четырех лет, помешанная старуха с окостеневшим мозгом, равнодушная ко всему на свете, так и жила здесь, забытая всеми; ее безумие могло продолжаться нескончаемо долго, не приводя к смерти. Между тем вместе со старческой дрях-

лостью наступила и атрофия мышц. Время как будто съело ее плоть, кости были покрыты только кожей, тетя Дида так ослабела, что приходилось переносить ее с кровати на кресло. Превратившись в пожелтевший скелет, высохший, как столетнее дерево, от которого осталась только кора, она все еще держалась прямо в своем кресле, а на ее длинном худом лице жили только глаза. Она не спускала взгляда с Шарля.

Клотильда приблизилась, испытывая легкую дрожь.

— Тетя Дида, это мы… Мы пришли вас навестить. Разве вы не узнаете меня? Я ваша правнучка, я забегаю иной раз, чтобы вас проведать…

Но безумная, казалось, не слышала. Она не отводила глаз от мальчика, вырезавшего картинку — короля, одетого в золото и пурпур.

— Послушай, мамаша, — вмешался Маккар, — полно тебе дурачиться! Взгляни-ка на нас. Вот этот господин — один из твоих правнуков — специально приехал из Парижа.

Услышав голос Маккара, тетя Дида в конце концов повернула голову. Она медленно обвела всех пустыми светлыми глазами, потом остановила их на Шарле, снова погрузившись в созерцание мальчика. Никто больше с ней не заговаривал.

— С тех пор как она пережила это страшное потрясение, — объяснил Паскаль вполголоса, — она стала вот такой: сознание как будто угасло, память пропала. Чаще всего она молчит, но иногда у нее вырывается целый поток бессвязных слов. Она смеется, плачет без причины. Но к окружающему совсем безучастна. Между тем я не рискнул бы сказать, что мрак беспросветен, что смутные воспоминания не таятся где-то в глубине… Бедная, бедная бабушка! Как же мне ее жаль, если она еще не окончательно утратила сознание! О чем она думала все эти двадцать с лишним лет, если еще способна что-то вспоминать!

И жестом он как бы отстранил страшное прошлое, которое было ему хорошо известно. Он видел ее снова молодой, высокой, тонкой, бледной женщиной с испуганными глазами. Она рано осталась вдовой садовника Ругона, увальня, которого в свое время пожелала взять в мужья. Еще до конца траура, полюбив со страстью волчицы контрабандиста Маккара, она бросилась в его объятья, даже не обвенчавшись с ним. Имея одного законного и двух незаконных детей, она в течение пятнадцати лет жила беспорядочно, повинуясь лишь своим капризам, исчезала на целые недели и возвращалась домой истерзанная,

вся в синяках. И вдруг Маккара как собаку пристрелил жандарм; под тяжестью этого первого удара она, казалось, застыла, и на ее бледном лице живыми казались только глаза, прозрачные, словно родниковая вода; она укрылась от всех в глубине хижины, которую оставил ей любовник, и здесь, подвергаясь порой страшным нервным припадкам, в течение сорока лет вела монашескую жизнь. Еще одно пережитое потрясение совсем доконало ее, и она стала слабоумной. Паскаль не забыл страшной сцены, которой оказался свидетелем: жертва ненависти и кровавых ссор в семье, внук Аделаиды Сильвер, которого она приютила, преследуемый жандармом во время подавления революционного восстания, упал у нее на глазах с размозженной головой. Снова кровь, как тогда…

Тем временем Фелисите подошла к Шарлю, который так углубился в картинки, что не обращал ни на кого внимания.

— Этот господин — твой отец, деточка. Поцелуй его.

И сразу же все занялись Шарлем. Мальчик был очень мило одет, в черных бархатных штанишках и курточке, обшитой золотым галуном. Весь белый, словно лилия, он своими большими бес-

цветными глазами и ниспадающими на плечи золотистыми локонами в самом деле напоминал отпрыска тех королей, которых сейчас вырезал из бумаги. Но главное, что поражало в нем, особенно сейчас, это сходство со столетней старухой; через три поколения природа как будто воспроизвела черты ее увядшего лица в нежном личике ребенка, тоже увядшем и уже старческом, отмеченном печатью вырождения. Так они сидели друг против друга: слабоумный мальчик, от красоты которого веяло смертью, и забытая всеми прародительница, — начало и конец угасающего рода Ругонов.

Максим наклонился и поцеловал сына в лоб, но в сердце его не проснулась нежность; красота мальчика даже отпугивала отца, и его беспокойство все росло в этой больничной палате, где веяло неизбывным человеческим горем, пришедшим из глубины веков.

— Какой ты красивый, мой мальчик!.. Скажи, ты любишь меня немного?

Шарль взглянул на отца, ничего не понял и снова принялся за свои картинки.

Вдруг все насторожились. Тетя Дида заплакала: лицо ее оставалось бесстрастным, но в глазах теплилась жизнь, и из них струились слезы. Она

тихо плакала, и, казалось, этому не будет конца.

Больше всех был потрясен Паскаль. Он схватил Клотильду за локоть и крепко сжал, но она не поняла почему. Между тем перед его мысленным взором встало все потомство — его законная и незаконная ветви, которым дал начало этот ствол, уже тогда подточенный болезнью. А теперь здесь встретилось сразу пять поколений Ругонов и Маккаров. У истоков — Аделаида Фук, старый мошенник — дядюшка, затем он сам, потом Клотильда, Максим, наконец, Шарль. Фелисите занимала место умершего мужа. Пробелов не было, цепь наследственности разворачивалась с неумолимой логикой. Целое столетие воскресло здесь, в этой трагической палате, овеянной стародавним горем, таким гнетущим, что, несмотря на невыносимую жару, всех проняла дрожь.

— Что случилось, учитель? — спросила, вся трепеща, Клотильда.

— Нет, нет, ничего, — пробормотал доктор, — расскажу после…

Маккар, который один продолжал зубоскалить, попенял старухе. Что это еще за выдумка встречать гостей слезами, когда они потрудились прийти ее проведать! Это совсем не вежливо! Затем он вновь обратился к Максиму и Шарлю:

— Ну, племянничек, вот вы и увидели своего мальчонку. Как-никак он делает вам честь — разве не красавчик?

Фелисите, очень недовольная тем, как обернулось дело, поспешила вмешаться: у нее было только одно желание — поскорее отсюда уйти.

— Что и говорить, он очень красивый ребенок и совсем не так уж отстал, как считают. Посмотри только, какие у него ловкие руки… Да ты сам в этом убедишься, когда начнешь его учить уму-разуму в Париже. Ведь это не то, что наш Плассан!

— Конечно, конечно, — пробормотал Максим. — Я ведь и не отказываюсь, но должен подумать. — И в замешательстве добавил: — Я приехал только для того, чтобы повидаться с ним… А взять его к себе сейчас не могу, ведь я должен провести месяц в Сен-Жерве. Как только вернусь в Париж, я все обдумаю и вам напишу.

И он вытащил часы.

— Черт побери!.. Уже половина шестого… А я ни за что на свете не хочу пропустить девятичасовой поезд.

— Да, да, поедемте, — сказала Фелисите. — Здесь нам больше нечего делать.

Тщетно старался Маккар их задержать, рассказывая всевозможные истории. Он сообщил,

что бывают дни, когда тетя Дида разговаривает, утверждал, что однажды утром застал ее, когда она пела романс времен своей молодости. Кстати, ландо ему не нужно, он отведет Шарля пешком, раз уж ему доверили мальчика.

— Поцелуй твоего папу, малыш, кто знает, приведется ли еще свидеться, — сегодня жив, а завтра, глядишь, — помер!

Все с тем же равнодушным видом Шарль вопросительно взглянул на отца, и взволнованный Максим снова поцеловал его в лоб.

— Будь умником, детка, и оставайся таким же красавчиком… И люби меня немножко…

— Скорей, скорей! Нам нельзя терять времени, — повторила Фелисите.

Вошла сиделка. Это была толстая, дюжая девица, специально приставленная к помешанной. Сиделка поднимала ее утром, укладывала спать, кормила, мыла, как ребенка. Она охотно отвечала доктору Паскалю, который начал ее расспрашивать. Доктор издавна лелеял мечту исцелять помешанных, применяя к ним свой метод впрыскивания. Поскольку у них перерождались ткани мозга, почему бы впрыскиванием экстракта нервного вещества не вернуть больным сопротивляемость, волю, исправив урон, нанесенный

этому органу? Вот почему одно время он подумывал о том, чтобы испробовать свой метод лечения на старой бабушке; но затем его охватили сомнения, какой-то священный страх, к тому же безумие в ее возрасте означало полное, необратимое разрушение. И он выбрал другой объект — шляпника Сартера, находившегося в доме умалишенных уже более года; боясь совершить преступление, шляпник сам упросил взять его туда. Когда на него «находило», он испытывал такую непреодолимую потребность убивать, что готов был броситься на первого встречного. У этого маленького чернявого человечка с покатым лбом левая щека была заметно толще правой: А длинный нос и срезанный подбородок придавали его лицу что-то птичье. С этим больным Паскаль достиг замечательных результатов: у легко возбудимого Сартера уже больше месяца не было припадков. И сегодня на вопросы доктора сиделка отвечала, что Сартер спокоен и чувствует себя лучше.

— Слышишь, Клотильда, — вскричал обрадованный доктор, — сегодня вечером у меня нет времени проведать Сартера; но мы вернемся сюда завтра, ведь в этот день я обычно навещаю больных… Ах, если бы я не боялся… Если бы ба-

бушка была моложе!

Его взгляд снова остановился на тете Диде. Но Клотильда, воспринимавшая его воодушевление с легкой улыбкой, мягко возразила:

— Нет, нет, учитель… Повернуть жизнь вспять ты не можешь… Идем же. Мы остались одни.

И действительно, все уже ушли. Маккар стоял на пороге и со своим неизменно глумливым видом смотрел, как удаляются Фелисите и Максим. А в комнате все так же неподвижно сидела тетя Дида, исхудавшая, позабытая смертью, и по-прежнему не сводила глаз с бледного, изможденного лица Шарля в рамке великолепных кудрей.

На обратном пути все были какие-то подавленные. Ландо медленно тащилось по раскаленной от зноя земле. Нависшие сумерки окутали грозовое небо свинцово-серой пеленой. Сначала путники лишь изредка перебрасывались отрывистыми словами, а затем, когда въехали в Сейское ущелье, и вовсе умолкли, — такая зловещая угроза таилась в гигантских скалах, которые, казалось, вот-вот сомкнутся. Не это ли край света? Не свалятся ли путники в бездонную пропасть? Над ними с громким клекотом пролетел орел.

Наконец снова показались ивы, ландо покатило вдоль берега Вьорны, и тут Фелисите сказала,

без всякого перехода, словно продолжая прерванную беседу:

— Не беспокойся, его мать тебе не откажет. Хоть она и очень любит Шарля, но женщина она рассудительная и прекрасно понимает, что сыну будет лучше, если ты возьмешь его к себе. Нечего греха таить — мальчик не очень-то счастлив дома, вполне понятно, что его отчим больше любит собственных детей… Надо, чтобы ты все это знал…

И она настойчиво твердила свое, надеясь добиться от Максима определенного обещания. Она говорила без умолку, до самого Плассана. Затем, когда внезапно ландо въехало на тряскую мостовую предместья, она воскликнула:

— Да вот, кстати, и она, его мать… Эта пухлая блондинка, что сидит у дверей.

Она указала на лавку шорника, где у входа висели сбруя и недоуздки. Жюстина расположилась на стуле у порога и, дыша свежим воздухом, вязала чулок, а ее маленькие сын и дочь играли на земле подле нее; в глубине лавки был виден смуглый толстяк Тома, чинивший седло.

Максим не выказывал ни малейшего волнения и просто из любопытства повернул голову. Он очень удивился, увидев эту крепкую трид-

цатидвухлетнюю женщину, столь степенную и добропорядочную с виду, — как не похожа она была на ту сумасбродную девчонку, его ровесницу, которую он лишил невинности, едва достигнув семнадцати лет. Возможно, у него все же сжалось сердце, но потому только, что сам он был болен и уже чувствовал себя стариком, а она раздобрела, похорошела и была довольна жизнью.

— Никогда бы ее не узнал! — произнес Максим.

Между тем ландо, не останавливаясь, повернуло на Римскую улицу. Изменившаяся до неузнаваемости Жюстина — это видение прошлого — исчезла, потонула в неясном сумеречном свете и вместе с ней Тома, дети, лавка…

В Сулейяде стол был уже накрыт. Мартина приготовила вьорнского угря, соте из кролика и жаркое. Пробило семь часов, оставалось достаточно времени, чтобы не спеша пообедать.

— Да ты не беспокойся, мы проводим тебя на вокзал, — повторял доктор Паскаль племяннику, — на это понадобится не больше десяти минут… Раз твой саквояж там, тебе останется только взять билет и вскочить в вагон.

Увидев Клотильду в передней, где она вешала свою шляпку и зонтик, доктор сказал вполго-

лоса:

— Знаешь, меня беспокоит твой брат.

— Почему?

— Я наблюдал за ним, мне не нравятся его движения. Боюсь, что ему грозит сухотка спинного мозга. В таких диагнозах я никогда не ошибаюсь.

Побледнев, она повторила:

— Сухотка спинного мозга…

И перед ее глазами встало страшное видение — сосед, совсем еще молодой человек, которого уже десять лет слуга возил в маленькой колясочке. Что может быть хуже этого несчастья, отсекающего, словно ударом топора, еще живого человека от жизни?

— Но ведь он жалуется только на ревматизм, — пробормотала она.

Паскаль пожал плечами и, приложив палец к губам, направился в столовую, где уже сидели Фелисите и Максим.

За обедом все были настроены благодушно. Внезапная тревога, охватившая Клотильду, пробудила в ней нежность к брату, подле которого она сидела за столом. Она оживленно за ним ухаживала, подкладывая лучшие кусочки. Дважды она останавливала Мартину, которая слишком быстро уносила блюда. И Максим все больше и

больше пленялся Клотильдой, такой доброй, здоровой, разумной; ее обаяние действовало на него как ласка. И еще неясный ему самому план мало-помалу принял четкие очертания. Почему бы ему не увезти с собой сестру, раз уж собственный сын, похожий на слабоумного принца, отпугивает его своей мертвенной красотой? Мысль о том, что у него в доме появится женщина, ужасала Максима; он боялся их всех, так как начал наслаждаться ими слишком рано; но сестра — кто знает, — может быть, заменит ему мать. К тому же присутствие порядочной женщины послужит ему на пользу. По крайней мере, отец не посмеет больше подсылать к нему девок, — а он подозревал, что их появление у него — дело рук Саккара, — желающего доконать сына и поскорее прикарманить его деньги. Страх перед отцом и ненависть к нему заставили Максима решиться.

— Так ты не собираешься замуж? — спросил он, желая позондировать почву.

Девушка рассмеялась.

— К чему торопиться?

Затем, взглянув с вызывающим видом на Паскаля, поднявшего голову, добавила:

— Как знать!.. Нет! Я никогда не выйду замуж.

Тут Фелисите возмутилась. Видя, как Клотильда

привязана к Паскалю, она часто желала выдать ее замуж только для того, чтобы разлучить с ним; тогда сын останется в одиночестве в опустевшем доме, где она, Фелисите, будет всемогущей хозяйкой. И она тотчас призвала его в свидетели: разве не должна женщина связать себя узами брака, разве не противоестественно оставаться старой девой? И Паскаль, не спуская с Клотильды глаз, подтвердил со всей серьезностью:

— Да, да, замуж выйти надо… Клотильда девушка рассудительная, она выйдет замуж…

— Ба! — перебил Максим. — А разумно ли это? Стоит ли выходить замуж, чтобы потом мучиться? Ведь так много несчастных браков!

И наконец, решившись, он произнес:

— Знаешь, что тебе нужно сделать. Приезжай в Париж, живи у меня… Я поразмыслил, взять на себя воспитание ребенка я не решаюсь, очень уж я слаб здоровьем. Разве я сам не ребенок, не больной, нуждающийся в уходе? Ты будешь за мной ухаживать, будешь подле меня, если я и впрямь не смогу передвигаться без посторонней помощи.

Его голос задрожал от жалости к самому себе. Он уже видел себя калекой, а Клотильду у своего изголовья в облике сестры милосердия; если

она согласится остаться старой девой, он охотно завещает ей свое состояние, только бы им не завладел отец. В своем страхе перед одиночеством, необходимостью, быть может, в самом недалеком будущем прибегнуть к сиделке он казался очень трогательным.

— С твоей стороны это будет очень мило, и тебе не придется раскаиваться.

Подававшая жаркое Мартина так удивилась, что замерла на месте. Предложение Максима поразило не только ее, но и всех сидевших за столом. Первая отозвалась Фелисите, она одобрила этот план, почуяв, что отъезд Клотильды будет способствовать ее намерениям. Она смотрела на безмолвную и как будто застигнутую врасплох девушку, между тем мертвенно-бледный Паскаль ждал ответа Клотильды.

— Ах, Максим, Максим! — пролепетала девушка, не находя нужных слов.

Тут вмешалась Фелисите:

— Это все, что ты можешь ответить? Твой брат предлагает тебе чудесную жизнь. Если он не решается сразу взять Шарля, то тебе-то, во всяком случае, ничто не мешает тотчас же отправиться к нему, а позднее выпишешь к себе и мальчика… И впрямь, так все устроится к лучшему… Максим

взывает к твоему сердцу! Паскаль, разве она не должна согласиться?

Паскалю пришлось сделать усилие, чтобы овладеть собой. Впрочем, было заметно, что внутренне он весь содрогается. Он ответил не спеша:

— Повторяю, Клотильда очень рассудительна. Если она сочтет нужным согласиться, она согласится.

Тут взволнованная девушка пришла в негодование:

— Неужели, учитель, ты хочешь меня отослать? Конечно, я очень благодарна Максиму. Но покинуть дом, о боже мой! Покинуть все, что мне так дорого, все, что я до сих пор любила!

И растерянным жестом она как бы обняла всю Сулейяду, всех и все, что ее окружало.

— Ну, а если ты и в самом деле понадобишься Максиму? — спросил Паскаль, устремив на нее взгляд.

Глаза Клотильды увлажнились, она вздрогнула — только она одна поняла слова Паскаля. Страшное видение снова встало у нее перед глазами: Максим — калека, которого, как их соседа, возит в колясочке слуга. Но любовь к тому, что ее окружало, взяла верх над проснувшейся нежностью к брату. Впрочем, разве есть у нее долг перед

Максимом, который был ей чужим в течение пятнадцати лет? Не там ли ее долг, куда влечет сердце?

— Послушай, Максим, — сказала она наконец, — дай подумать и мне... Там видно будет... Знай одно, я очень тебе признательна. И если когда-нибудь я и в самом деле тебе понадоблюсь, ну, что ж, конечно, я решусь.

Большего добиться от нее не удалось. Напористая, как всегда, Фелисите исчерпала все доводы, а доктор, скрывая волнение, поспешил подтвердить, что Клотильда дала Максиму слово. Не пытаясь скрыть радости, Мартина принесла на сладкое крем. Вот еще что выдумали — увезти барышню! Не для того ли, чтобы хозяин умер с горя, оставшись совсем один! Из-за этого объяснения обед несколько затянулся. Все еще сидели за десертом, когда часы пробили половину девятого. Тут Максим заторопился, вскочил из-за стола, желая поскорей уехать.

На вокзале, куда все отправились его провожать, он в последний раз поцеловал сестру.

— Так помни же!

— Не беспокойся, — заявила Фелисите, — мы здесь для того, чтобы напомнить ей об этом обещании!

Доктор улыбался, и как только поезд тронулся, все трое замахали платками.

Проводив Фелисите до дверей ее дома, доктор Паскаль и Клотильда мирно вернулись в Сулейяду, где чудесно провели остаток вечера. Недавний разлад, невысказанное недовольство друг другом, казалось, исчезли. Никогда еще не испытывали они такой радости от того, что они вместе, неразлучны. Оба как будто воспрянули после болезни, обрели надежду и радость жизни. Допоздна просидели они теплой ночью под платанами, прислушиваясь, как звенит хрусталем фонтан. Они даже не разговаривали, а просто вкушали полноту счастья от того, что они вместе.

IV

Не прошло и недели, как в доме Паскаля вновь начался разлад. Он и Клотильда по целым дням дулись друг на друга, настроение у обоих то и дело менялось. Мартина и та жила в каком-то непрерывном возбуждении. Совместная жизнь для этих трех людей превратилась в ад.

А тут дела приняли совсем дурной оборот.

Какой-то капуцин, известный своей святостью, один из тех монахов, что появляются порой в южных городах Франции, нашел себе приют в Плассане. И с церковной кафедры загремели раскаты его голоса. Он проповедовал с красноречием апостола, и его пламенные, яркие речи зажигали слушателей и были доступны всем. Он обличал тщету современной науки и в порыве какой-то необычайной мистической экзальтации отрицал реальность земного бытия, приоткрывая завесу над неведомым, над тайной потустороннего мира. Все набожные женщины города были потрясены его проповедями.

С первого же вечера, когда Клотильда, сопровождаемая Мартиной, присутствовала на пропо-

веди, Паскаль заметил, что она вернулась словно в лихорадке. В последующие дни она не умеряла рвения и все позднее приходила домой, так как подолгу простаивала за молитвой в темном углу часовни. Теперь она почти все время проводила в церкви, возвращалась оттуда в полном изнеможении, и глаза у нее горели, как у ясновидящей. Проникновенные слова капуцина неотступно ее преследовали. Казалось, она преисполнилась гневным презрением ко всему окружающему.

Встревоженный Паскаль решил объясниться с Мартиной. Как-то ранним утром он сошел вниз, когда она подметала столовую.

— Вы знаете, что я никогда не препятствовал ни вам, ни Клотильде ходить в церковь, если это вам по душе. Я не хочу насиловать ничью совесть. Но и отнюдь не желаю, чтобы Клотильда заболела по вашей милости…

— Может статься, больны как раз те, кто считает себя здоровым, — пробурчала служанка, не выпуская из рук половой щетки.

Она произнесла это таким убежденным тоном, что он улыбнулся.

— Конечно, болен духом я, а молитесь о моем обращении вы, находящиеся в добром здравии и полном рассудке… Мартина, если вы не пере-

станете мучить меня и самое себя, я и взаправду рассержусь.

В его голосе зазвучали такое отчаяние и решимость, что служанка выпустила из рук щетку и уставилась на него. Бесконечная нежность, глубокое огорчение отражались на изможденном лице старой девы, всю жизнь верой и правдой служившей своему хозяину. Слезы выступили у нее на глазах, и она поспешила уйти, бормоча:

— Ах, сударь, вы нас не любите!

Паскаль почувствовал себя обезоруженным, он глубоко опечалился, терзаясь сожалением, что был до сих пор слишком терпимым и не взял целиком в свои руки воспитание и образование Клотильды. Убежденный, что деревья растут как надо, если не мешать их росту, он дал ей возможность развиваться свободно, научил ее только читать и писать. Без всякого начертанного заранее плана, просто под влиянием их домашнего уклада, она прочла почти все имевшиеся у доктора книги и, помогая Паскалю в его опытах, выправляя корректуру, переписывая и разбирая рукописи, увлеклась естественными науками. Теперь он сожалел, что предоставил ее самой себе. Он ничем не ограничивал свободы Клотильды, вместо того чтобы дать определен-

ное направление ее жаждущему знаний, ясному уму и не допускать, чтобы она заблудилась в дебрях своих мечтаний о потустороннем мире, чему потворствовали ее бабушка и простодушная Мартина. Если Паскаль всегда исходил из действительности и старался в своих умозаключениях отталкиваться от реальных фактов, в чем ему помогала дисциплинированность ученого, то Клотильда, напротив, тяготела ко всему неизвестному, таинственному. Она была словно одержима, и любознательность превращалась для нее в пытку, когда она не могла ее удовлетворить: ничто не могло утолить жажды Клотильды, ее неодолимого влечения ко всему непостижимому, непонятному. Еще девочкой, и в особенности позднее, став девушкой, она не уставала спрашивать: «как?» и «почему?», требуя непреложных доказательств. Если Паскаль показывал ей цветок, она интересовалась, почему этот цветок даст семя, почему это семя произрастет. Повзрослев, она стремилась узнать о тайне зачатия, об отношении полов, рождении и смерти, о неведомых силах природы, о боге и обо всем сущем. Такими вопросами она всякий раз ставила Паскаля в тупик; когда же он не знал, что ответить, и с притворным негодовани-

ем отсылал ее прочь, она весело, победоносно смеялась над его невежеством и вновь целиком уносилась в свои мечты, в свои заоблачные грезы о том, чего нельзя познать и во что можно лишь верить. Зачастую она поражала его ходом своих мыслей. Вкусив научных знаний, она исходила из неоспоримых истин и вдруг одним скачком переносилась в мир чудесных откровений; тут действовали небесные посланцы, ангелы, святые, — божественное дыхание преображало и одушевляло материю. А порой она видела во всем одну-единственную вечную силу — душу мира, которая через пятьдесят веков сольет в конечном поцелуе любви все творения вселенной. Она твердо на это уповает, говорила Клотильда.

Впрочем Паскаль никогда еще не видел ее в таком смятении. Целую неделю она заслушивалась поучениями капуцина, весь день томясь в ожидании вечерней проповеди, и шла в церковь такая взволнованная и сосредоточенная, словно отправлялась на первое любовное свидание. Наутро все в ней говорило об отрешенности от земной суеты, мелочных помыслов и дел, как будто зримый мир, весь житейский обиход — только тщета и обман. Понемногу она совсем забросила свои занятия, уступая какой-то непреодолимой

лени, сидела по целым часам с пустыми, невидящими глазами, во власти каких-то далеких грез, и все валилось у нее из рук. Прежде такая деятельная, любившая вставать спозаранку, она поднималась теперь поздно, выходила только ко второму завтраку, и не потому, что долго просиживала за туалетом, — нет, она утратила свое обычное женское кокетство и ходила кое-как причесанная, кое-как одетая, в платье, застегнутом вкривь и вкось, и все же очаровательная в своей торжествующей юности. Прежде она так любила утренние прогулки по Сулейяде, любила бродить в благоухающем смолой сосняке, бегать сверху вниз по уступам откоса, засаженным оливами и миндальными деревьями, или лежать на раскаленном току, где принимала солнечные ванны. Теперь все это ей наскучило, и она предпочитала запираться у себя в спальне, наглухо закрыв ставни, притаившись, как мышь. А к вечеру она появлялась в гостиной и, не зная, чем заняться, как неприкаянная переходила с места на место, раздражаясь на все, что прежде ее интересовало.

Паскалю пришлось отказаться от ее помощи. Рукопись, которую он дал ей переписать набело, провалялась три дня у нее на столе. Клотильда больше не разбирала его бумаг и даже, упади

любая из них на пол, не нагнулась бы, чтобы ее поднять. Она забросила и свои пастели — срисованные с натуры цветы, которые должны были послужить иллюстрациями к его работам об искусственном опылении. Крупные красные мальвы новой причудливой окраски так и увяли в вазе, не дождавшись, чтобы она взялась за карандаш. А однажды она просидела полдня, пытаясь изобразить какие-то фантастические цветы, распустившиеся под волшебным солнцем: навстречу лучам, похожим на золотые колосья, из пурпурных, огромных, словно разверстые сердца, венчиков, поднимались вместо пестиков каскады звезд. И эти миллиарды светил оставляли на небе след подобно Млечному Пути.

— Бедная ты моя девочка, — сказал ей в тот день доктор, — ну можно ли тратить время на такие бессмысленные выдумки! А я-то жду, что ты нарисуешь для меня эти мальвы, которые уже успели зачахнуть. Да и ты сама зачахнешь. Имей в виду, что вне реального мира тщетно искать здоровья и красоты.

Она теперь часто ничего не отвечала доктору, замкнувшись в своем ожесточении, не желая вступать в споры. Но сейчас он задел ее за живое, затронул ее веру.

— Никакого реального мира нет, — категорически заявила она.

Он рассмеялся, забавляясь, что этот взрослый ребенок рассуждает с такой философской прямолинейностью.

— Вот тебе на!.. Наши ощущения весьма несовершенны, а раз мы познаем мир только через них, выходит, что он и вовсе не существует… Что же остается? Раскрыть двери безумию, самым нелепым химерам, броситься во всякую чертовщину, пренебрегая законами и фактами… Но пойми же, как только ты отвергнешь реальный мир, рухнет всякая закономерность. Нет! Единственный смысл бытия в том, чтобы верить в жизнь, любить ее, приложить все усилия нашего разума к тому, чтобы лучше ее познать.

Клотильда не ответила, только отмахнулась с безразличным и в то же время вызывающим видом, и беседа угасла. Она снова принялась за свой рисунок, легкими штрихами синей пастели оттеняя яркие лепестки цветка на фоне прозрачной летней ночи.

Два дня спустя вспыхнул новый спор, и их отношения испортились еще больше. Вечером, после ужина, Паскаль отправился в гостиную работать, а Клотильда осталась на террасе по-

дышать свежим воздухом. Время шло, пробило полночь, а, к удивлению Паскаля, Клотильда все не возвращалась к себе в спальню. Для этого ей надо было непременно пройти через гостиную, однако он не слышал ее шагов. Спустившись, он обнаружил, что Мартина уже спит. Входная дверь между тем не заперта на ключ — очевидно, Клотильда замечталась где-нибудь в саду. С ней это случалось порой в теплые ночи, но так поздно она не засиживалась никогда.

Беспокойство доктора возросло, когда он увидел, что ее нет и на террасе. А он-то думал, что она заснула в кресле. Раз ее и здесь нет, почему же она не вернулась домой? Куда могла она пойти в такой поздний час? Ночь стояла превосходная, сентябрьская, еще жаркая ночь, усыпанное звездами, безлунное небо казалось огромным куском темного бархата, и в его глубине звезды сияли так ослепительно-ярко, что освещали землю. Доктор перегнулся через перила террасы, разглядывая склоны, уступами спускавшиеся до железнодорожного полотна, но нигде не было ни души; он видел только круглые неподвижные верхушки низкорослых олив. Тогда ему пришло в голову, что Клотильда сидит под платанами у фонтана, прислушиваясь к неумолчному говору

журчащей воды. Он бросился туда и оказался в полной тьме, такой густой, что он, знавший здесь каждое дерево, был вынужден передвигаться, вытянув вперед руки, чтобы не натолкнуться на какой-нибудь ствол. Потом все в том же кромешном мраке и так же ощупью он пробрался через сосняк, но и там не встретил Клотильды. Он стал звать приглушенным голосом:

— Клотильда! Клотильда!

Ночь была все так же черна и безмолвна. Он постепенно повышал голос:

— Клотильда! Клотильда!

Ни души, ни звука. Казалось, и эхо дремлет — его голос терялся в бездонной синей мгле. Он крикнул изо всех сил, снова нырнул под платаны, вернулся в сосняк, в отчаянии обежал всю усадьбу. Неожиданно он оказался на току.

Обширная вымощенная площадка тока тоже как будто уснула в столь поздний час. Уже много лет здесь больше не молотили; ток зарос травой, и эта выжженная солнцем, золотистая и словно подстриженная трава походила на ворсистый ковер. Среди этой хилой растительности булыжники не остывали ни днем, ни ночью, и в сумерки от них поднимались в ночное небо горячие испарения, весь зной, накопившийся за

долгие жаркие дни.

Огромный пустынный ток, согретый теплым дыханием, ширился амфитеатром под безмятежным небом, и, бегом пересекая его по пути во фруктовый сад, Паскаль чуть не споткнулся в темноте о чье-то распростертое тело. Он испуганно вскрикнул:

— Как! Ты здесь?

Клотильда даже не удостоила его ответом. Она лежала на спине, закинув руки за голову и обратив к небу бледное лицо, на котором видны были лишь огромные блестящие глаза.

— А я-то беспокоюсь и ищу тебя уже четверть часа! Не слышала ты разве, что я тебя зову!

Она наконец разжала губы.

— Слышала.

— Что еще за глупости! Почему ты не ответила!

Но она снова замкнулась в молчании, не желая объясняться; на лбу залегла упрямая складка, взгляд как будто искал что-то в вышине.

— Отправляйся спать, гадкая девчонка! Завтра ты мне все расскажешь!

Она не шевельнулась. Снова и снова уговаривал он ее вернуться домой, а она все не двигалась с места. Наконец он уселся подле нее на низко-

рослую траву, ощущая тепло нагретых камней.

— Ведь не можешь ты спать на улице… Ну, ответь же мне, по крайней мере, что ты здесь делаешь?

— Смотрю!

Неподвижный взгляд ее огромных глаз, казавшихся сейчас еще больше, был устремлен куда-то вверх, к звездам. Она унеслась всеми помыслами в безбрежные дали чистого летнего неба.

— Ах, учитель, — заговорила она, и голос ее лился медленно, ровно, безостановочно. — Как мелко и ограниченно все, что ты знаешь, в сравнении с тем, что существует там, наверху… Да, я ответила не сразу, потому что думала о тебе и очень за тебя страдала… Не считай меня гадкой.

Паскаль уловил в ее голосе нотку такой нежности, что взволновался до глубины души. Он вытянулся на спине подле нее. Их локти соприкасались. И Паскаль заговорил:

— Послушай, дорогая, ты огорчаешься без причины. Ты думаешь обо мне и страдаешь… Но почему?

— Мне трудно объяснить почему. Ведь я не такая ученая, как ты. Но все же ты многому меня научил, и еще большему я научилась сама, живя бок о бок с тобой. И потом, я все это чувствую

сердцем… Пожалуй, я попробую тебе рассказать, ведь мы здесь одни, и вокруг так хорошо!

После долгих часов одиноких раздумий, в покое этой чудесной ночи, располагающей к откровенности, Клотильда жаждала излить свою душу. Паскаль умолк, боясь ее спугнуть.

— Когда я была ребенком и слышала твои рассуждения о науке, мне казалось, что это ты говоришь о боге, так ты весь горел надеждой и верой. В ту пору для тебя не было ничего невозможного. Ты считал, что наука поможет постичь тайну мироздания и добиться полного счастья для всего человечества… По-твоему выходило, что мы идем все дальше и дальше семимильными шагами. Каждый день приносил новые открытия, новую уверенность. Еще десять, пятьдесят, ну, самое большее сто, лет — небесная завеса раздвинется, и мы познаем истину… И что ж! годы идут, но завеса не раздвинулась, и истина от нас все дальше…

— Ты нетерпелива, — только ответил он. — Даже если понадобится тысячелетие — надо ждать!

— Да, это правда, ждать я не могу! Я хочу знать и быть счастливой без всякого промедления. Познать все сразу и стать счастливой полностью, окончательно. Пойми, ведь и страдаю я

оттого, что нельзя достигнуть высот познания в один миг, оттого, что я не могу вкусить полное блаженство, в котором нет места ни сомнению, ни угрызениям совести. Какая же это жизнь, если ты пробираешься вперед ощупью, такими медленными шагами, если ты не знаешь ни одного спокойного часа, боясь, что вот-вот придет разочарование? Нет, нет! Все знание, все счастье немедленно и сразу! Наука обещает нам это, и если не дает, значит, она потерпела крах!

Тут Паскаль вышел из себя:

— Но, дорогая, ведь то, что ты говоришь, — просто чепуха! Наука не откровение. Она движется вперед, в ногу с человечеством, и даже одни эти усилия приносят ей славу. Да к тому же ты не права — наука счастья не обещала.

— Как не обещала! — перебила его Клотильда. — Пойди открой свои книги, что лежат там, наверху! Ты же знаешь, я прочла их все. Так вот, они полны обещаний. Пока их читаешь, кажется, что мы вот-вот завоюем небо и землю. Книги все разрушают, но клянутся заменить разрушенное, заменить надежно и мудро на основе чистого разума… Ну конечно, я как ребенок: когда мне что-нибудь обещают, я хочу это получить сейчас же. Мое воображение разыгрывается, и то, что

мне преподносят, должно быть прекрасным, иначе оно мне не будет мило. Уж лучше было мне ничего не обещать. А сейчас, когда меня гложет такое мучительное нетерпение, жестоко говорить, что мне ничего не обещали.

Паскаль не удержался и негодующе взмахнул рукой. Кругом царило ночное безмолвие.

— Как бы то ни было, — вновь заговорила Клотильда, — наука все вымела подчистую, земля оголена, небо пусто. Что же мне делать, если, по-твоему, наука не виновна в том, что я возлагала на нее такие надежды? Все равно, я не могу жить без уверенности, без счастья. Где же мне найти ту незыблемую почву, на которой я могу построить свой дом, если у нас отняли прежний мир и никто не торопится заменить его новым? Исследования и анализ вызвали крах — рухнула древняя цивилизация. А гонимое бурей, обезумевшее человечество мечется среди развалин, не зная, где приклонить голову, оно требует прочного и надежного приюта, чтобы можно было начать новую жизнь... Немудрено, что мы пали духом и полны нетерпения. Мы больше не можем ждать. Раз уж наука движется вперед слишком медленно, раз она потерпела крах — мы предпочитаем обратиться к прошлому, — да, да! к былым веро-

ваниям, которые много веков подряд приносили счастье человеческому роду.

— Так я и знал! — вскричал Паскаль. — Вот он, поворотный момент конца века! Мы пришли к нему в усталости и смятении от той уймы знаний, которые он вызвал к жизни. Но извечная потребность в обмане, в иллюзиях терзает человечество и тянет его назад, к баюкающим чарам неведомого… Раз никогда не удастся познать все до конца, зачем стремиться к знанию? И если завоеванная истина не дает счастья немедленно и навсегда — не лучше ли удовлетвориться неведением, во мраке которого непробудно спало первобытное человечество?.. Да! Вот оно, воинствующее возвращение мистики — реакция на сто лет научных экспериментов. Иначе и быть не могло, в таком отступничестве нет ничего неожиданного, если мы не можем удовлетворить разом всех жаждущих истины. Но это всего лишь временная задержка — движение вперед будет неизменно продолжаться, хотя бы и вне поля нашего зрения, в бесконечности вселенной!

Несколько мгновений они лежали молча, не шевелясь, устремив глаза к мириадам миров, светившихся на темном небе. Падающая звезда пересекла огненной линией созвездие Кассио-

пеи. Там, наверху, над ними медленно вращалась вокруг своей оси сверкающая вселенная, торжественная и великолепная, а с земли, погруженной во мрак, поднималось мягкое дуновение, словно нежное, теплое дыхание уснувшей женщины.

— Скажи, — спросил вдруг Паскаль своим обычным добродушным тоном, — это твой капуцин вывороти тебе сегодня мозги наизнанку?

Она ответила без обиняков:

— Да, он произносит с кафедры слова, которые меня потрясают, он опровергает все то, чему ты меня учил, и я начинаю верить, что твоя наука губительна и отравила меня… О боже мой, что только со мной будет?!

— Бедная девочка! Как ужасно, что ты так себя мучаешь! И все же, несмотря ни на что, я спокоен за тебя — ты как-никак натура уравновешенная, у тебя славная, светлая головка, разумная и смышленая, я не раз тебе это повторял… Ты опомнишься. Но в какое же смятение приводит всех этот капуцин, если он смутил даже тебя! Скажи, значит, ты поколебалась в своей вере?

Она молча вздохнула, тогда он добавил:

— Что говорить, с житейской точки зрения вера надежный посох в пути, и дорога легка и покойна, если тебе выпало счастье верить!

— Сама себя не пойму! — пожаловалась Клотильда. — Бывают дни, когда я верю, а бывают и такие, когда я — с тобой и с твоими книгами. Это ты взбудоражил меня, из-за тебя я и страдаю. Быть может, все мое горе именно в том, что я восстала против тебя, а ведь я так тебя люблю… Нет, нет, не говори мне ничего, не обещай успокоения. Сейчас это только еще больше меня взволнует… Ты отрицаешь сверхъестественное. Для тебя таинственное — это просто то, что еще не объяснено, разве не так? И ты даже соглашаешься, что мы никогда не постигнем всего до конца. Итак, выходит, что единственный смысл жизни в бесчисленных завоеваниях неизвестного, в непрестанном усилии познать еще больше… Ах! я уже и так знаю чересчур много для того, чтобы оставаться верующей, — ты слишком меня просветил, и бывают минуты, когда мне кажется, что от этого я умру.

Он отыскал ее руку в теплой траве и крепко стиснул.

— Но ведь ты просто боишься жизни, бедняжка! Ты, безусловно, права, когда говоришь, что единственное счастье заключается в непрерывном стремлении к познанию, ибо отныне уже нельзя пребывать в неведении. Нечего надеяться на

какую-либо передышку, на то, что можно обрести покой в добровольном самоослеплении. Придется идти вперед, идти во что бы то ни стало, вместе с жизнью, которая движется непрерывно. Все, что предлагают: возврат к прошлому, отжившие религии или религии подновленные, приспособленные к нынешним требованиям, — все это обман. Познай жизнь, полюби ее, проживи так, как должно прожить, — иной мудрости нет!

Гневным движением она высвободила руку.

— Жизнь ужасна, — воскликнула она с отвращением, — как же ты хочешь, чтобы я прожила ее спокойно и счастливо?.. Твоя наука проливает безжалостный свет на мир, а анализ проникает внутрь человеческих язв, чтобы выставить напоказ всю их мерзость. Ты говоришь все без утайки, говоришь напрямик, вызывая у нас только омерзение к людям, ко всему на свете, и не хочешь унять нашу тревогу.

Он перебил ее, и в голосе его звучало глубокое убеждение:

— Да! Говорить обо всем! Чтобы все познать и все исцелить!

— Если бы еще в твоей природе существовали равенство и справедливость! Но ведь ты сам признаешь, что жизнь принадлежит только

сильному, а слабый неизбежно погибает, потому что он слабый. Нет двух существ, одинаково наделенных здоровьем, красотой или разумом, все зависит от случайного выбора, от той или иной встречи… Но стоит только исчезнуть великой, святой справедливости, все пойдет прахом!

— Это правда! — заметил Паскаль вполголоса, как бы говоря сам с собой. — Равенства не существует! Общество, которое вздумало бы основываться на нем, было бы осуждено на гибель. Много веков подряд люди надеялись исцелить зло с помощью милосердия. Мир дал трещину, и теперь выдвигают справедливость… А справедлива ли природа? Я полагаю, что она скорее последовательна, а последовательность — это и есть высшая, естественная справедливость, которая проявляется в совокупности всеобщего труда, в общем итоге человеческой деятельности.

— Как же это так? — вскричала Клотильда. — Выходит, что справедливость состоит в том, чтобы уничтожить слабую особь для преуспевания особи сильной, попрать отдельную личность во имя процветания всего человечества… Нет, нет! Это преступление! Повсюду только грязь и убийство. Он был прав, говоря сегодня вечером в церкви: мир прогнил, и наука лишь обнажает

это гниение, — наше прибежище только там, на небесах… Ах, учитель, умоляю тебя, дай мне спастись самой, дай мне спасти тебя!

Она разразилась слезами, и ее безутешные рыдания огласили прозрачную ночную тишину. Тщетно он пытался ее успокоить, она не давала ему говорить.

— Послушай, учитель, ты ведь знаешь, как я тебя люблю, ведь ты для меня — все! Но ты же — и источник всех моих мучений, я не могу найти покоя, я терзаюсь, что мы с тобой мыслим по-разному и будем разлучены навеки, если завтра умрем… Почему ты отказываешься от веры?

Он снова попытался ее образумить.

— Ты безрассудна, дорогая!..

Но она упала перед ним на колени, схватила его за руки и, судорожно обнимая, умоляла все сильнее, с таким воплем отчаянья, что, казалось, вдалеке отзываются ей, рыдая, потонувшие во мраке поля.

— Послушай, там, в церкви, он сказал… Надо изменить всю жизнь, покаяться, уничтожить все, что связано с былыми заблуждениями, — сжечь твои книги, папки, рукописи… Принеси эту жертву, учитель, умоляю тебя на коленях… Ты увидишь, какой чудесной отныне станет на-

ша жизнь!

Тут Паскаль наконец возмутился.

— Ну, это уж слишком! Замолчи!

— Только прислушайся к моим словам, учитель, — и ты сделаешь то, о чем я прошу… Я глубоко несчастна, даже любя тебя так, как я люблю. Нашей любви чего-то недостает. До сих пор она была пуста, бесцельна, а я жажду наделить ее божественным и вечным… Ведь именно бога нам и недостает… Преклони колени, будем молиться вместе!

Рассердившись не на шутку, он высвободился из ее объятий.

— Замолчи! Ты болтаешь вздор! Я предоставлял тебе свободу, предоставь же ее и мне…

— Учитель, учитель! Ведь я хочу нашего счастья!.. Я увезу тебя далеко, далеко. Мы уединимся, чтобы жить в боге!

— Замолчи! Этого никогда не будет! — повторял Паскаль.

С минуту оба враждебно молчали.

Сулейяда окружала их ночной тишиной, легкими тенями олив, мраком своих сосен и платанов, откуда едва доносилось печальное бормотанье источника; усыпанное звездами необъятное небо, раскинувшееся над их головами, казалось,

чуть побледнело, хотя до зари было еще далеко.

Клотильда подняла руку, словно указывала Паскалю на бесконечный простор мерцающего неба. Но резким движением он перехватил ее руку и, удерживая в своей, пригнул к земле. Они не произнесли больше ни слова, но оба кипели гневом и чувствовали взаимную отчужденность и враждебность. Это был жестокий разрыв.

Вдруг она порывисто выдернула руку, отпрянула в сторону, как гордый, неукрощенный конь, ставший на дыбы, и умчалась в темноту, по направлению к дому. Слышен был стук ее каблучков по камням тока, заглохший затем на посыпанной песком дорожке. Он в отчаянье настойчиво звал ее. Но она не слушала, не отвечала и все бежала вперед. В страхе, с бьющимся сердцем Паскаль устремился за ней, обогнул платановую рощицу и как раз вовремя: он успел увидеть, как она опрометью вбежала в дом. Он ринулся за ней, взлетел по лестнице и оказался у ее спальни, дверь которой она с шумом заперла. Тут он пришел в себя, круто остановился, подавив желание крикнуть, позвать ее, взломать дверь, чтобы вновь ее увидеть, убедить, сохранить для себя одного. С минуту он простоял так, неподвижно, пораженный, что из комнаты, где она

заперлась, не доносится ни звука. Он понял, что она бросилась на кровать, заглушая подушкой стоны и рыдания. Наконец он решился спуститься вниз, чтобы запереть входную дверь, потом снова потихоньку поднялся, прислушиваясь, не долетят ли до него ее стенания; и только при первых лучах солнца он наконец в полном отчаянии, задыхаясь от слез, лег в постель.

С этого дня началась беспощадная война. Паскаль чувствовал, что за ним следят, его преследуют, ему угрожают. Он чувствовал себя чужим в собственной семье. Всюду его подстерегал враг, приходилось постоянно быть начеку, держать все под замком. Дважды он находил разбитыми вдребезги склянки с экстрактом нервного вещества; ему приходилось запираться в собственной комнате, он старался заглушить стук пестика и даже перестал выходить к столу. Навещая больных, он уже не приглашал с собой Клотильду, потому что она смущала их своим враждебно-недоверчивым видом. Вдобавок ко всему, выходя из дома, он думал теперь только о том, как бы скорее вернуться, так как боялся по возвращении застать взломанные замки и разграбленные ящики. Он больше не поручал Клотильде систематизировать и переписывать свои заметки, с тех пор

как некоторые из них исчезли, словно их смело ветром. Он даже не решался просить ее править корректуру, так как обнаружил однажды, что она изъяла из его статьи целый абзац, содержание которого оскорбляло ее чувства католички. Она жила теперь в праздности, бродила без дела по комнатам, подстерегая удобный момент, когда можно будет завладеть ключом от большого шкафа. Вот о чем она, должно быть, мечтала, какой план лелеяла, когда сидела не произнося ни слова, а глаза ее горели и руки были лихорадочно сухи; добыть ключ, открыть ящики, схватить все бумаги, уничтожить, предать аутодафе, угодному богу. Стоило доктору отлучиться на несколько минут, чтобы вымыть руки или надеть сюртук, и странички рукописи, оставленные на столе, исчезали — от них оставалась в глубине камина только горсточка пепла. Однажды, когда он задержался у постели больного и в сумерках шел домой, его охватил безумный страх: большой столб черного дыма клубами расползался вдали по бледному небу. Не Сулейяда ли это полыхала пламенем зажженных Клотильдой бумаг? Он бросился бежать и пришел в себя, только когда убедился, что это на соседнем поле медленно догорают вырытые из земли корневища.

Какое тяжкое страдание, какие муки испытывает ученый, чувствуя постоянную угрозу своему труду, плодам своей умственной работы; сделанные им открытия, рукописи, которые он хочет оставить после себя, — это его гордость, его детище, его плоть и кровь, и, уничтожая, сжигая их, сжигают его самого. Больше всего Паскаля мучило, что западня, в какую силятся поймать его мысль, расставлена врагом, живущим у него в доме, прокравшимся в самое его сердце, и он не может изгнать этого врага и несмотря ни на что продолжает его любить. Паскаль отказался от борьбы, он был безоружен, беззащитен; ему оставалось только держаться настороже. Его теснили со всех сторон, он так и чувствовал, как маленькие воровские ручки роются в его карманах; отныне он не знал ни минуты покоя и, даже когда двери были заперты, опасался, что к нему проникнут сквозь щели.

— Несчастная! — крикнул он однажды Клотильде. — На всем свете я люблю одну тебя, а ты меня убиваешь!.. Ведь и ты меня любишь и делаешь все это, потому что любишь. В этом весь ужас! Лучше покончить разом, привязать на шею камень да броситься вместе в воду!

Она не ответила, и только ее правдивые глаза

красноречиво говорили, что вместе с ним она готова умереть хоть сейчас.

— Ну, а вдруг я умру внезапно сегодня ночью, что будет завтра?.. Ты опустошишь шкаф, очистишь ящики, свалишь в кучу все мои работы и подожжешь? Разве не так? Но ведь это же настоящее преступление — все равно что убить человека! Какая низость — убить мысль!

— Нет, — возразила Клотильда глухим голосом, — я хочу убить зло, помешать ему распространяться и возникать вновь.

Все объяснения приводили только к ссорам, порой очень бурным. Однажды вечером г-жа Ругон пришла как раз во время одной из таких схваток, и когда Клотильда убежала и заперлась в своей спальне, она осталась наедине с Паскалем. Наступило молчание. Хотя г-жа Ругон и прикидывалась очень огорченной, ее блестящие глаза светились радостью.

— У вас в доме сущий ад! — воскликнула она наконец.

Доктор уклонился от ответа, только неопределенно махнул рукой. Он всегда чувствовал, что за спиной девушки стоит его мать, которая подогревает религиозные чувства Клотильды, взывая к ним, чтобы посеять в доме смуту. Он не

питал никаких иллюзий и прекрасно понимал, что обе женщины уже виделись днем и искусно подготовили это тяжелое объяснение, от которого он все еще не мог прийти в себя. Мать, конечно, явилась сюда, чтобы поглядеть на дело своих рук и удостовериться, не близка ли развязка.

— Так продолжаться не может, — настаивала Фелисите. — Почему бы вам не расстаться, если между вами больше нет согласия? Отошли лучше Клотильду к Максиму — как раз на днях я получила от него письмо, он просит ее приехать.

Паскаль выпрямился, бледный, но полный решимости.

— Расстаться, когда мы в ссоре! Нет, нет, это значило бы вечно мучиться угрызениями совести. И рана осталась бы навсегда открытой! Если уж Клотильде суждено когда-нибудь уехать отсюда, я хочу, чтобы и в разлуке мы продолжали любить друг друга… Но к чему ей уезжать? Мы не жалуемся, ни я, ни Клотильда.

Фелисите поняла, что слишком поторопилась.

— Ну конечно, если вам охота ссориться, кто же может вам помешать… Но в таком случае, позволь мне, бедный мой друг, сказать тебе, что Клотильду я не виню. Ты вынуждаешь меня признаться, что до того, как зайти к тебе, я виде-

лась с ней. Да! Лучше, если ты будешь это знать, хоть я и обещала ей ничего не говорить. Так вот: она несчастна, она очень жалуется; само собой разумеется, я ее пожурила, уговаривая во всем слушаться тебя… И все же я не могу тебя понять! По-моему, виной твоих несчастий — ты сам.

Она села и усадила Паскаля рядом с собой в уголке кабинета, очень довольная тем, что наконец осталась с ним наедине и он всецело в ее власти. Уже не раз пыталась она вызвать его на объяснение, которого он всячески избегал. Хотя он хорошо знал свою мать и она его мучила многие годы, он дал себе слово придерживаться неизменно почтительного тона и оставался с виду покорным сыном. Вот почему, как только она касалась некоторых щекотливых вопросов, он отделывался молчанием.

— Послушай, — продолжала она, — я понимаю, что Клотильде ты уступить не хочешь, ну, а мне?.. Неужели ради меня ты не можешь поступиться этими ужасными папками, что заперты у тебя в шкафу? Допустим на минуту, что ты умрешь внезапно и твои бумаги попадут в чужие руки: все мы будем ославлены… Я уверена, что этого ты и сам не хочешь. Какую же цель ты преследуешь? Почему так упрямо продолжаешь эту опасную

игру? Ну, обещай мне их сжечь!

Паскаль помолчал, потом выговорил:

— Матушка, я уже просил вас: не будем никогда касаться этого вопроса. Я не могу исполнить вашей просьбы.

— Так объясни мне наконец почему? — закричала она. — Можно подумать, что тебя наша семья интересует не больше, чем стадо коров, которое пасется там, на лугу. А ведь ты и сам вышел из этой семьи! Да, я знаю, ты делаешь все, чтобы от нее откреститься. Иногда я диву даюсь, в кого только ты уродился. И все-таки с твоей стороны очень дурно, что ты хочешь нас осрамить. Тебя даже не останавливает мысль о том, какое горе ты причиняешь мне, твоей матери… Как бы там ни было, это очень гадко…

Он возмутился и, несмотря на принятое решение молчать, не удержался и стал защищаться.

— Вы жестоки и несправедливы… Да, я всегда считал и считаю, что правда необходима, что она самая действенная сила. Это верно, я никогда не скрываю ничего ни о себе, ни о других, потому что уверен: лишь ничего не скрывая, я могу принести пользу людям. К тому же содержимое моих папок не предназначено для посторонних глаз; в них только мои личные записи, и расстаться с ними

мне было бы больно. Ведь я отлично понимаю, что вы сожжете не только наши семейные дела; все остальные мои работы будут также брошены в огонь. Не так ли? А этого я не хочу, понимаете? Никогда, покуда я жив, я не дам уничтожить ни одной написанной мною строки!

Но он тут же пожалел, что сказал слишком много, так как мать подошла к нему вплотную, явно желая вызвать на беспощадное объяснение.

— Ну же, ну, говори до конца, объясни, в чем ты нас упрекаешь… скажем, в чем ты упрекаешь меня? Не в том ли, что я положила столько трудов на ваше воспитание! Ведь наше благоденствие мы создали не за один день! Если теперь мы наконец кое в чем преуспели — не так-то легко нам это далось! Раз тебе все известно и ты все заносишь в свои бумажонки, то можешь засвидетельствовать, что наша семья оказала людям больше услуг, чем сама от них получила. Если бы не мы, Плассан уже дважды попал бы в хорошенький переплет! Нечего удивляться, что вокруг нас столько неблагодарных, столько завистников! Да и теперь, если разразится скандал и нас смешают с грязью, весь город будет в восторге. Этого ты желать не можешь, и я не сомневаюсь, что ты воздаешь должное моему достойному поведению

со времени падения Империи и всех несчастий, от каких Франция, без сомнения, никогда не оправится!

— Да оставьте вы в покое Францию, матушка! — снова не выдержал Паскаль — мать, как никто, умела коснуться его самого больного места. — Франции приходится тяжело, но я нахожу, что уже сейчас она удивляет мир быстротой своего выздоровления... Без сомнения, есть в ней и прогнившие элементы. Их я не скрывал и, быть может, даже чересчур выставил напоказ. Однако вы неверно меня понимаете: если я и обнажаю все ее язвы и раны, это вовсе не означает, что я верю в неизбежный крах. Я верю в жизнь, которая непрестанно отсекает отмершие органы и, возрождая материю, заживляет раны, верю в жизнь, которая, невзирая ни на что, среди разложения и смерти стремится к всеобщему здоровью и непрерывному обновлению.

Он разволновался, но, тут же спохватившись, гневно махнул рукой и замолк. Мать сочла за лучшее всплакнуть; она с трудом выжимала из глаз скупые слезинки, которые тотчас высыхали. Она вновь начала жаловаться на страхи, омрачавшие ее старость, как и Клотильда, умоляла его примириться с богом, ну, хотя бы из уваже-

ния к семье. Не показывает ли она сама пример мужества? Разве весь Плассан, квартал Св. Марка, старый квартал и новый город — разве не воздавали они должное ее гордому смирению? Она просила сейчас только об одном, чтобы ей помогли, она требовала от всех своих детей, чтобы и они сделали такое же усилие, какое делает она сама. Она приводила в пример Эжена, этого великого человека, свергнутого с такой высоты! И что же, — он легко согласился стать простым депутатом, защищая до последнего дыхания исчезнувший режим, при котором прославился. Она расхваливала также Аристида; он никогда не приходит в отчаяние и даже при новом режиме завоевал прекрасное положение, несмотря на катастрофу, которая незаслуженно обрушилась на него и погребла под обломками Всемирного банка. И только он, Паскаль, уклоняется и не хочет ничего сделать для того, чтобы она умерла спокойно, радуясь славе, достигнутой наконец Ругонами. Он, такой умный, добрый, хороший. Нет, не может быть! В ближайшее же воскресенье он пойдет к обедне и сожжет свои отвратительные бумаги, одна мысль о которых ее убивает. Она умоляла, приказывала, угрожала. А он больше не отвечал ей, спокойный, непобедимый, сохраняя

свою обычную сыновнюю почтительность. Он не хотел вступать в споры; он слишком хорошо знал свою мать, чтобы надеяться ее переубедить или рискнуть обсуждать с ней прошлое.

— Вижу, ты не наш! — крикнула она, почувствовав наконец, что он непоколебим. — Я всегда это говорила. Ты нас позоришь!

Он поклонился.

— Матушка, когда вы поразмыслите, вы меня простите.

Разъяренная Фелисите выбежала из комнаты; встретив Мартину у платанов возле дома, она отвела душу, не подозревая, что Паскаль успел уже пройти к себе в комнату и все слышит через раскрытые окна. Она изливала свою злобу, клялась, что когда-нибудь все-таки доберется до бумаг и все уничтожит, раз Паскаль не хочет пожертвовать ими добровольно. Но больше всего доктора потрясли слова служанки, которая ее вполголоса успокаивала. Без сомнения, она была сообщницей его матери. Она повторяла, что надо подождать, не торопиться, заверяла, что вместе с барышней они справятся с хозяином, не дадут ему ни минуты покоя. Они поклялись примирить его с милосердным господом, — ведь нельзя, чтобы такой святой человек, как г-н Пас-

каль, оставался безбожником. Тут обе женщины понизили голос, перешли под конец на шепот, и из приглушенного бормотанья этих сплетниц и заговорщиц он мог уловить только обрывки фраз, каких-то приказаний, которые свидетельствовали о замышляемых ими покушениях на его свободу ученого. Когда они наконец расстались и он увидел из окна Фелисите, удалявшуюся легкой девической походкой, он понял, что она уходит вполне удовлетворенной.

После этого Паскаль почувствовал внезапный упадок сил и провел целый час в тоскливых раздумьях. К чему бороться, если все те, кого он любит, сплотились против него? Та самая Мартина, которая по первому слову хозяина была готова за него в огонь и в воду, теперь предает его якобы во имя его же блага… А Клотильда стакнулась со служанкой, вступает с ней в тайный сговор, прибегает к ее помощи, чтобы заманить Паскаля в западню! Он совсем одинок: кругом одни предательницы; они отравляют самый воздух, которым он дышит. Клотильда и Мартина, по крайней мере, любят его, и, быть может, ему еще удастся их смягчить; но с тех пор, как он узнал, что за их спиной стоит мать, он понял, откуда это неистовство, и больше не надеялся вернуть ни ту, ни другую. Страстный

по натуре, он, как все мужчины, посвятившие себя науке, был застенчив и сторонился женщин; теперь его угнетало сознание, что все трое хотят подчинить его своей воле. Он постоянно чувствовал за спиной одну из них: когда он запирался у себя в спальне, ему казалось, что они притаились за стеной, преследуют его повсюду и готовы выкрасть любую зародившуюся в его голове мысль, если только о ней догадаются.

Никогда еще Паскаль не чувствовал себя таким несчастным. Постоянная самозащита, к которой он был вынужден прибегать, надламывала его силы; порой ему казалось, что почва уходит из-под ног. В такие минуты он особенно горько сожалел, что в свое время не женился и что у него нет детей. Неужели он сам испугался жизни? Не был ли он наказан за свой эгоизм? Эта тоска по ребенку настолько угнетала теперь Паскаля, что на глазах его выступали слезы, когда он встречал на улице улыбавшихся ему маленьких девочек с ясными глазками. Конечно, с ним Клотильда, но ее любовь, перемежающаяся ныне бурями, была совсем иная, не та тихая, бесконечно сладостная нежность собственного ребенка, которая могла бы успокоить его израненное сердце. Чувствуя, что жизнь подходит к концу, он больше всего

хотел бы продлить ее в ребенке, который его увековечил бы. Чем больше Паскаль страдал, тем больше жаждал завещать кому-нибудь свое страдание, свою веру в жизнь. Он считал, что его не коснулись физиологические пороки семьи; но даже мысль, что наследственность проявляется иногда через поколение и что на его сыне может сказаться распутство предков, не останавливала его; несмотря на то, что корни рода Ругонов подгнили, несмотря на целые поколения родственников с физическими и душевными недугами, он все-таки мечтал иногда об этом неведомом сыне, как мечтают о нежданном выигрыше, редком счастье, повороте судьбы, который приносит утешение и обогащает на всю жизнь. Он переживал теперь крушение всех своих привязанностей, и сердце его кровоточило еще и потому, что стать отцом было слишком поздно.

Однажды душной ночью, в конце сентября, Паскаль не мог уснуть. Он открыл окно; небо было черное, должно быть, вдали разбушевалась гроза, потому что слышались непрестанные раскаты грома. Он смутно различал темную массу платанов, которые при вспышках молнии на мгновение выделялись во мраке зеленоватыми пятнами. Душа его была полна глубокой тоски, он

вновь мысленно переживал последние тяжелые дни, бесконечные ссоры, предательство, подозрения, которые донимали его все больше и больше. И вдруг он вздрогнул, вспомнив, что сегодня днем, после обеда, измученный жарой, он сбросил пиджак и Клотильда повесила его на гвоздик в гостиной. А в последнее время Паскаль дошел до того, что не расставался с ключом от большого шкафа и постоянно носил его с собой. Его объял ужас: что, если, нащупав ключ в кармане, Клотильда его украла! Он вскочил, обшарил пиджак, швырнул его обратно на стул. Ключа не было. И он ясно почувствовал, что именно в эту минуту его грабят. Пробило два часа: он не стал одеваться и, как был, в расстегнутой ночной рубашке, в туфлях на босу ногу, бросился в кабинет со свечой в руке и резко распахнул дверь.

— Ах! Так я и знал! — крикнул он. — Воровка! Убийца!

Он угадал. Клотильда находилась здесь, полуодетая, как и он, в полотняных ночных туфельках; короткая нижняя юбка едва доходила до колен, а сорочка не скрывала наготы плеч и рук. Из предосторожности она не захватила с собой свечи и ограничилась тем, что открыла ставни одного окна: с юга надвигалась гроза, и по небу,

застланному тучами, непрерывно пробегали молнии, бросая в комнату синеватые фосфорические отсветы, и этого было достаточно, чтобы Клотильда могла осуществить свое намерение: огромный старый шкаф был раскрыт настежь, и она успела уже опустошить верхнюю полку, сбрасывая груды папок вниз, на длинный, стоявший посредине комнаты стол, где они скапливались в беспорядке. Опасаясь, что у нее не хватит времени сжечь бумаги, она торопливо увязывала их, чтобы спрятать, а затем переправить бабушке, но внезапно пламя свечи осветило ее всю; застигнутая врасплох, охваченная страхом, она приготовилась к борьбе.

— Ты меня обкрадываешь! Убиваешь меня! — повторял в ярости Паскаль.

Она продолжала держать в обнаженных руках одну из папок. Он хотел ее отнять. Но она прижимала папку к себе изо всех сил, сопротивляясь, горя желанием все уничтожить, не смущаясь и не раскаиваясь, — словно воительница, которая чувствует, что право на ее стороне. Тогда, ослепленный гневом, обезумевший, Паскаль бросился к ней, и между ними началась дикая борьба. Он грубо схватил ее, полунагую, и стиснул изо всех сил.

— Убей меня! — прошептала она. — Убей меня, а не то я все разорву в клочья!

Но он не выпускал ее, так сильно прижав к себе, что она еле дышала.

— Когда ребенок ворует, его наказывают!

Несколько капелек крови показались возле подмышки на нежной, шелковистой коже округлого плеча Клотильды. Внезапно Паскаль ощутил всю божественную прелесть ее трепещущего девственного тела, красоту стройных ног, точеных рук, тонкого стана, упругих маленьких грудей и тотчас отпустил ее, последним усилием вырвав папку.

— Черт побери! Ты сама поможешь мне поставить их наверх, на место. Иди сюда и прежде всего разложи их по порядку на столе. Слышишь!

— Да, учитель!

Она подошла ближе и стала ему помогать, укрощенная, подавленная этим мужским объятьем, которое как бы проникло в ее плоть. Свеча, горевшая высоким пламенем в темной ночи, освещала их; далекие раскаты грома не прекращались, и распахнутое прямо навстречу грозе окно, казалось, было объято пламенем.

V

С минуту Паскаль смотрел на груды папок, сброшенных как попало на длинный стол, посреди кабинета; несколько папок в синей обложке раскрылись, и из них вывалились всевозможные документы: письма, газетные вырезки, акты на гербовой бумаге, рукописные заметки.

Надо было восстановить порядок, и он уже стал проглядывать надписи, выведенные крупными буквами на обложках, но вдруг решительным жестом как бы стряхнул с себя овладевшее им мрачное раздумье. Повернувшись к Клотильде, которая стояла подле него в напряженном ожидании, безмолвная, бледная, он сказал:

— До сих пор я всегда запрещал тебе читать эти бумаги, и, знаю, ты меня слушалась. Я не решался, видишь ли… Но запрещал тебе не для того, чтобы ты росла в полном неведении, как другие девушки, ведь я сам рассказал тебе все как есть об отношениях мужчины и женщины, — это может оказать дурное влияние лишь на испорченные натуры… Но зачем было преждевременно посвящать тебя в страшную жизненную правду?

И я пощадил тебя и не рассказал о нашей семье, которая повторяет историю других семейств, да и всего человечества: много плохого, много хорошего…

Он остановился и, казалось, укрепившись в принятом решении, продолжал спокойно, уверенно:

— Тебе двадцать пять лет, и ты должна все узнать… К тому же наше совместное существование становится невыносимым. Твоя причудливая фантазия уводит тебя далеко от действительности, ты сама живешь и меня заставляешь жить в каком-то кошмаре. Я же предпочитаю смотреть в глаза действительности, сколь бы отвратительна она ни была. Быть может, перенеся этот удар, ты станешь такой, какой должна стать рано или поздно… Мы вместе просмотрим и приведем в порядок эти дела, и, прочитав их, ты получишь страшный жизненный урок.

И так как она стояла по-прежнему не шевелясь, он добавил:

— Здесь недостаточно светло, зажги еще две свечи!

Ему хотелось яркого освещения, ослепительного солнечного света; даже трех свечей ему показалось мало, он пошел в спальню и принес

оттуда два двухсвечных канделябра. Теперь горело семь свечей. Оба — и Паскаль и Клотильда — были полуодеты, Паскаль в рубашке с расстегнутым воротом, у Клотильды — обнажены грудь и руки, на левом плече кровоточащая царапина, — но они даже не видели друг друга. Пробило два часа, но ни он, ни она не замечали, что уже поздно, словно находились вне времени и пространства; горя желанием все узнать, они готовы были не ложиться до утра. За открытым окном гроза бушевала все сильнее и сильнее.

Никогда еще Клотильда не видела у Паскаля таких лихорадочно горящих глаз. Он переутомился за последние недели и, истерзанный душевно, бывал порой резок, вопреки всегдашней своей мягкости и доброте. Но, готовясь раскрыть горестные истины человеческого бытия, он, казалось, проникся бесконечной нежностью и братским состраданием к людям, и от всего его существа веяло таким великодушием и всепрощением, что это должно было оправдать в глазах девушки страшные факты, которые он собирался ей раскрыть. Да! У него хватит решимости, он скажет ей все, раз надо все сказать, для того чтобы все исцелить. Разве судьбы этих людей, затрагивавшие так близко их обоих, не являются доказатель-

ством неизбежной эволюции, высшим доводом в их споре? Такова жизнь, и ее надо прожить. Узнав всю правду, Клотильда, несомненно, выйдет из этого потрясения закаленной, полной терпимости и мужества.

— Тебя натравливают на меня, толкают на отвратительные поступки, а я хочу тебя вразумить, — начал он. — Когда ты все узнаешь, ты сможешь судить и действовать сама. Подойди сюда, почитай вместе со мной.

Она повиновалась. Ее все еще немного пугали эти папки, о которых бабушка говорила с таким гневом; вместе с тем в ней пробуждалось и росло любопытство. И хотя она была покорена, подавлена мужской властностью Паскаля, она еще не сдавалась. Но почему бы ей не выслушать его, не почитать вместе с ним? Разве у нее не останется права после чтения либо отказаться от него, либо перейти на его сторону? Она выжидала.

— Так как же, ты согласна?

— Да, учитель, согласна.

Он начал с того, что показал ей родословное древо Ругон-Маккаров. Обычно он не запирал его в шкаф, а держал в ящике письменного стола в своей комнате, откуда и принес сейчас, когда ходил за канделябрами. Уже более двадцати лет

он заносил сюда краткие данные о рождениях и смертях, о браках и других наиболее важных событиях, касающихся их семьи, располагая все сведения в соответствии со своей теорией наследственности. На этот большой лист пожелтевшей бумаги с образовавшимися от времени сгибами был нанесен четкий рисунок символического древа; на его раскидистых, расходящихся в разные стороны ветвях распластались в пять рядов широкие листья: на каждом листе было выведено имя, убористым почерком записана биография и указан характер наследственности.

При виде своего двадцатилетнего труда, где с такой ясностью и полнотой находили подтверждение установленные им научные законы, доктор не мог сдержать горделивой радости.

— Взгляни, дорогая! Ты достаточно осведомлена, ты переписала немало моих работ, чтобы понять… Разве не прекрасно все это в целом, этот исчерпывающий, подводящий итоги документ, в котором нет ни единого пробела? Можно подумать, что это плод лабораторного опыта, задача, записанная и решенная на грифельной доске… Видишь, в самом низу ствола — общая наша праматерь, тетя Дида. Отсюда расходятся три ветви — законная, Пьер Ругон, и две внебрачных

— Урсула Маккар и Антуан Маккар. А вот новые побеги, и они разветвляются в свою очередь: с одной стороны, трое детей Саккара: Максим, Клотильда, Виктор и дочь Сидонии Ругон — Анжелика; с другой — Полина, дочь Лизы Маккар, и Клод, Жак, Этьен, Анна — четверо детей ее сестры, Жервезы. А здесь, внизу, — их брат Жан. Заметь, вот тут, посредине, — то, что я называю узлом, — законные и побочные ветви соединяются в лице Марты Ругон и ее двоюродного брата, Франсуа Муре, от них идут три новых отростка: Октав, Серж и Дезире Муре; есть еще отпрыски Урсулы и шапочника Муре — Сильвер, о трагической смерти которого ты знаешь, Элен и ее дочь Жанна. А тут, совсем наверху, последние побеги, сын твоего брата Максима, наш бедняжка Шарль, и два других умерших младенца: Жак-Луи, сын Клода Лантье, и Луизэ, сын Анны Купо… Всего здесь пять поколений: древо жизни, которое пережило пять весен, пять раз возрождая человеческий род, снова дало ростки, питаемые неиссякаемыми живительными соками!

Паскаль все больше воодушевлялся и, перечисляя разные случаи наследственности, водил пальцем по старой, пожелтевшей бумаге, словно перед ним лежал анатомический атлас.

— Повторяю, здесь все отражено!.. Посмотри, вот прямая наследственность с преобладанием материнских свойств, сказавшихся в Сильвере, Лизе, Дезире, Жаке, Луизэ, в тебе самой, а вот — наследственность с преобладанием свойств отцовских — в Сидонии, Франсуа, Жервезе, Октаве, Жаке-Луи. А вот и три случая смешения: путем сочетания — Урсула, Аристид, Анна, Виктор; путем рассеивания — Максим, Серж, Этьен; путем полного слияния — Антуан, Эжен, Клод. Мне удалось отметить даже четвертый, весьма примечательный случай — равномерное смешение отцовских и материнских свойств в Пьере и Полине. Мною установлены и отклонения; например, наследственность по линии матери и вместе с тем физическое сходство с отцом, или наоборот; точно так же при смешении физический и духовный перевес того или иного из родителей зависит от совокупности различных причин… А вот и косвенная наследственность, переданная родственниками по боковой линии; я записал только один вполне определенный случай — это поразительное физическое сходство Октава Муре с его дядей, Эженом Ругоном. Точно так же у меня есть один пример наследственного влияния: Анна, дочь Жервезы и Купо, особенно в детстве,

удивительно походила на Лантье, первого любовника ее матери, в которой он как бы запечатлелся на всю жизнь… Но особенно у меня много примеров возвратной наследственности: три наиболее ярких образца — Марта, Жанна и Шарль, похожие на тетю Диду, причем сходство сказалось здесь через одно, два и три поколения. И все же это, конечно, исключение, я отнюдь не верю в атавизм: мне кажется, что новые элементы, привнесенные супругами, а также случайности и бесконечные разновидности смешений должны изгладить все частные особенности и возвратить, таким образом, индивидуум к общему типу… Остается еще врожденность: Элен, Жан, Анжелика. Это сочетание, это химическое соединение, где духовные и физические свойства родителей переплетаются так тесно, что их трудно обнаружить в новом существе.

Паскаль умолк. Клотильда слушала его с глубоким вниманием, пытаясь понять. А он, устремив взгляд на древо, весь погрузился в его созерцание, испытывая потребность взглянуть на свою работу со стороны. Потом снова заговорил, медленно, будто рассуждая сам с собой:

— Да, все это, возможно, научно обосновано… Я поместил здесь только членов нашей семьи, но

должен был бы отвести такое же место супругам, отцам и матерям, породнившимся с нами, кровь которых, смешавшись с нашей кровью, так или иначе видоизменила ее. Сперва я нарисовал математически точно рассчитанное древо, поровну распределив влияние отца и матери из поколения в поколение, и таким образом получилось, что у Шарля, например, наследственное влияние тети Диды составляет всего лишь одну двенадцатую часть, что, однако, абсурдно, потому что между ними нетрудно установить полное физическое сходство. А я-то считал, что будет достаточно только указать элементы, привнесенные извне, учитывая браки и те новые факторы воздействия, которые им сопутствуют… Ах, эти зарождающиеся науки, гипотеза в них еще только лепечет и главенствует воображение, — тут поэты соперничают с учеными. Поэты идут первыми, они в авангарде, и зачастую им удается открыть неисследованные области, предвосхитить грядущие решения. Их поле деятельности лежит между завоеванной непреложной истиной и тем неизвестным, у которого будет вырвана истина завтрашнего дня… Какую гигантскую фреску можно нарисовать, какие можно написать великие человеческие комедии и трагедии на тему о

наследственности, которая представляет собой не что иное, как Книгу Бытия семьи, общества, человечества.

Увлеченный ходом своих рассуждений, Паскаль устремил взгляд в пространство, не замечая ничего вокруг. Но потом, резким движением отбросив в сторону родословное древо, опять схватил папки и воскликнул:

— Мы еще к нему вернемся: чтобы ты все поняла, нужно, чтобы перед твоими глазами прошли все факты и ты увидела в действии всех этих актеров с пришпиленными к ним ярлычками, в которых даны только краткие сведения… Я буду называть тебе дела, ты же — передавай их мне по одному. Перед тем как поставить их туда, на верхнюю полку, я покажу тебе и объясню, что содержит каждое… Я буду придерживаться не алфавитного порядка, а порядка самих событий… Уже давно я хочу перейти к такой классификации… Итак, следи за именами на обложках. Начнем с тети Диды.

В эту минуту гроза, полыхавшая на горизонте, обрушилась на Сулейяду и разразилась над самым домом проливным дождем. Но они даже не захлопнули окон. Они не слышали ни раскатов грома, ни ливня, неумолчно барабанившего по

крыше. Клотильда протянула Паскалю папку, на которой крупными буквами было написано имя тети Диды; он извлек оттуда разнообразные бумаги, написанные когда-то заметки и начал пробегать их глазами.

— Дай мне Пьера Ругона! Дай Урсулу Маккар!.. Дай Антуана Маккара!

Она безмолвно повиновалась, и сердце ее стеснила тоска от всего, что она слышала. А папки одна за другой раскрывались, выбрасывали из своих недр бумаги, а потом их снова водворяли обратно в шкаф.

Начало роду дала Аделаида Фук — долговязая, неуравновешенная девушка, пораженная нервным заболеванием. От нее пошла законная ветвь — Пьер Ругон и две внебрачные — Урсула и Антуан Маккар; и вот начинается кровавая трагедия буржуазной семьи, разыгравшаяся в рамках государственного переворота в декабре 1851 года, когда Пьер и Фелисите Ругон, спасая Плассан, запятнали кровью Сильвера свое начинающееся благоденствие, а престарелую Аделаиду, несчастную тетю Диду, похожую на призрак, ожидающий часа искупления, заперли в Тюлет. Теперь, словно свора псов, на волю вырываются разнузданные аппетиты: у Эжена

Ругона — это неутолимая жажда повелевать: он — великий человек, герой семьи, честолюбец, пренебрегающий мелкими повседневными интересами, любящий власть ради власти. Он пришел в Париж в рваных башмаках, но завоевал его вместе с другими проходимцами, сторонниками будущей Империи. Вознесенный жадной кликой своих прихвостней, которые одновременно подтачивали его могущество, он сменил пост председателя государственного совета на министерское кресло; его ненадолго повергла во прах женщина — прекрасная Клоринда, которую он безрассудно возжелал; но этого сильного человека обуревала такая жажда власти, что он сумел возвыситься вновь ценой отречения от всей прошлой жизни. То было победоносное шествие к власти вице-короля. Аристидом Саккаром владеют только низменные страсти: деньги, женщины, роскошь. Одержимый ненасытной жаждой наслаждений, едва почуяв запах свежей добычи, он устремляется в Париж, над которым проносится ураган спекуляций, разрушающий и снова возрождающий город; сказочные состояния наживаются за какие-нибудь полгода, их пускают по ветру и создают вновь. И Саккара настолько захватывает золотая горячка, он так

опьянен ею, что не успевает еще остыть тело его жены Анжелы, как он продает свое имя, женясь на Рене, чтобы заполучить первые необходимые ему сто тысяч франков; испытывая позднее денежные затруднения, он терпит кровосмесительство в своей семье, закрывая глаза на связь второй жены с Максимом, которые окунулись в разгул веселящегося, пирующего Парижа. А потом все тот же Саккар, никогда не унывающий Саккар, продолжает идти в гору, возвышается, начинает дерзать и мыслить как крупный финансист, понимающий жестокую и в то же время цивилизаторскую роль денег, и спустя несколько лет приводит в действие огромную машину для выпуска миллионов — Всемирный банк; выигрывая и проигрывая сражения на бирже, как Наполеон под Аустерлицем и Ватерлоо, он ввергает в нищету целый мир маленьких людей, он бросает на произвол судьбы, толкая бог весть еще на какие преступления, своего незаконного сына Виктора, сбежавшего под покровом ночной темноты. А самому Саккару покровительствует бесстрастная несправедливая судьба — ему дарит любовь очаровательная Каролина, словно в награду за его отвратительное прошлое. На этой же навозной куче неожиданно распустилась

незапятнанная лилия. Сидония Ругон, сводня, занимавшаяся всевозможными подозрительными делишками, приспешница своего брата Саккара, зачала неизвестно от кого прекрасную, чистую Анжелику, маленькую вышивальщицу с пальцами феи, которая расшивала золотом ризы, воплощая в узорах свою мечту о прекрасном принце; она так ушла в мир своих святых и была столь чужда грубой действительности, что ей была дарована благодать — она умерла от первого поцелуя своего жениха Фелисьена д'Откэр в день бракосочетания под звон колоколов, славивших их пышную свадьбу. Дальше скрещиваются две линии — законная и побочная, так как Марта Ругон вышла замуж за своего двоюродного брата Франсуа Муре; этот согласный брак стал малопомалу расстраиваться и привел к страшной катастрофе; тихую, жалкую женщину поработила, подмяла под себя огромная военная машина, пущенная в ход для завоевания города, ее трое детей оказались как бы отторгнутыми от нее, — она отдала всю себя человеку с железной хваткой, аббату Фожа, и когда Ругоны во второй раз спасали Плассан, она медленно умирала, освещенная заревом пожара, в котором вместе с аббатом сгорел и виновник поджога — ее муж, обезумевший от

ненависти и жажды мести. Один из трех детей Марты, Октав Муре, был смелым завоевателем — он обладал ясным умом и твердо решил покорить Париж с помощью женщин; развращенный ужасными нравами парижской буржуазии, в среду которой он попал, Октав Муре окунулся в самую грязь адюльтера, испытав капризный отказ одной женщины, безвольное самозабвение другой. Но, на свое счастье, он не сложил оружия и остался деятельным, способным к труду человеком; постепенно приобретя вес, он вышел в люди и покинул грязные задворки прогнившего мирка, который уже трещал по всем швам. Октав Муре произвел победоносный переворот в крупной торговле, разорил прозябавшие маленькие лавчонки старого типа и построил в самом центре охваченного лихорадкой Парижа огромный, полный соблазна храм, горящий тысячами огней, утопающий в бархате, шелке и кружевах; он неслыханно разбогател и, беззаботно играя на страсти женщин к роскоши, разорял их, презирая; наконец, его укротила маленькая мстительница, скромная и добродетельная Дениза, в ногах которой он валялся, изнывая от страданий, пока она — нищая — не соблаговолила выйти замуж за этого богача, владельца огромного, прославлен-

ного магазина — дворца, на который низвергался золотой дождь прибылей. У Марты было еще двое детей — Серж и Дезире Муре; она — невинная, пышущая здоровьем, вела безмятежное существование животного, он — утонченный, склонный к мистике, пошел в священнослужители в порыве нервной экзальтации, присущей его роду; Серж, повторивший в легендарном Параду историю грехопадения Адама, возродился к жизни, полюбив Альбину, обладал ею на лоне великой сообщницы-природы и затем утратил ее навеки; вновь решив посвятить себя богу, он объявил жизни вечную войну. В борьбе с искушениями он умертвил свою плоть и, выполняя долг священнослужителя, первый бросил горсть земли на могилу умершей Альбины. В это самое время его сестра Дезире, исполненная материнской любви к животным, восторгалась плодовитостью питомцев своего скотного двора. А вот и небольшой просвет — трогательная и вместе с тем трагическая страница: Элен Муре мирно жила со своей дочерью Жанной в квартале Пасси, возвышающемся над Парижем, этим бескрайним, бездонным человеческим океаном, пред лицом которого разыгралась ее печальная история; страсть Элен к случайно встретившемуся ей

человеку, доктору, вызванному ночью к изголовью ее заболевшей дочери, болезненная ревность Жанны, инстинктивная мучительная ревность любящего сердца, оспаривающего у любви собственную мать; бремя этого чувства раздавило девочку, и она заплатила дорогой ценой — своей жизнью за миг страсти, ворвавшейся так внезапно в размеренное существование ее матери, и осталась одна под кипарисами безмолвного кладбища, высоко на холмах никогда не умирающего Парижа. С Лизы Маккар начинается побочная линия — свежая, здоровая. Лиза воплощала власть чрева, стоя в белоснежном переднике на пороге своей колбасной и улыбаясь Центральному рынку, откуда слышалось роптанье голодных и где разыгрывалась извечная борьба Толстых и Тощих. Одного из этих Тощих, Флорана, ее деверя, возненавидели и травили Толстые — рыбные торговки и лавочницы; они его преследовали до тех пор, пока сама Лиза, жирная колбасница, безупречно честная, но беспощадная, не выдала его полиции, как бежавшего с каторги республиканца, — она была глубоко убеждена, что своим поступком способствует благополучному пищеварению всех добропорядочных людей. У нее родилась дочь, Полина Кеню, здоровая, добрая,

благоразумная девушка; она принимала жизнь такой, как она есть, и была столь проникнута любовью к ближним, что, несмотря на властные требования своей цветущей девственной плоти, уступила собственного жениха Лазара подруге; позднее, когда между супругами наступил разлад, она заменила мать их ребенку. Ее обирали, неизменно приносили в жертву, но, несмотря на это, она никогда не теряла бодрости, жизнерадостности и вела однообразную, одинокую жизнь в уединенном уголке, на берегу моря, среди людей, которые кричали о своих страданиях, но умирать не хотели. Далее следует Жервеза Маккар с четырьмя детьми, работящая и красивая, несмотря на хромоту; брошенная в Париже своим любовником Лантье, она встретила Купо, дельного мастера, отнюдь не гуляку, за которого вышла замуж; став хозяйкой прачечного заведения и наняв себе в помощь трех работниц, она вначале была счастлива, но супругов постигла участь, неизбежная для людей их среды, и они мало-помалу опустились: алкоголь отравил организм Купо, довел его до буйного помешательства, а потом и смерти. Она же развратилась, перестала трудиться; возвращение Лантье, ставшее для нее роковым, привело ее к позорному сожительству

втроем и ужасающей нищете, которая обрекла свою жертву на голодную смерть. Ее старший сын, художник Клод, наделенный мучительным даром гения, граничившим с безумием, был одержим неистовым желанием создать шедевр, но сознавал свое бессилие: пальцы ему не повиновались и не могли воплотить его замысла. Это был титан, вечно распинаемый мученик творчества, коего постоянно повергали в прах; боготворя Женщину, он пожертвовал собственной женой Кристиной, беззаветно его любившей и короткое время любимой им, ради той несуществующей женщины, какую он так и не мог создать, той, что казалась ему божественно прекрасной и которую его кисть была не в силах увековечить в ее торжествующей наготе. Отчаяние Клода, которого снедала всепожирающая страсть творчества, его неутоленная потребность созидания, невозможность ее удовлетворить были так велики, что в конце концов он повесился. Второго сына, Жака, инстинктивно влекло к преступлению, и этот наследственный порок выражался в том, что каждый раз при виде обнаженной груди женщины, даже первой встречной, он испытывал непреодолимую жажду свежей, юной крови. С этой роковой страстью Жак боролся, но она

настигла его в пору любовной связи с покорной, чувственной Севериной, которую тоже мучили воспоминания об одном трагическом убийстве. В припадке безумия он зарезал свою любовницу при виде ее обнаженной белоснежной груди; и этот человек-зверь с бешеной скоростью мчался на грохочущем локомотиве среди других поездов, но любимая им машина искромсала его своими колесами, а потом, никем не управляемая, безудержно, словно сорвавшись с цепи, устремилась навстречу неминуемой гибели. Третий брат, Этьен, тоже одинокий, гонимый судьбой, прибыл холодной мартовской ночью в черный край угля и спустился в прожорливую шахту. Встретив здесь печальную Катрин, он полюбил ее, но грубый насильник похитил у Этьена его избранницу. Этьен делил с углекопами их нищенскую долю, жил вместе с ними в той тесноте, которая порождает низменные пороки; но однажды побуждаемая голодом толпа восставших, обездоленных людей вышла из глубины шахт, среди обвалов и пожаров, требуя хлеба, и не отступила перед солдатами, которые открыли по ним пальбу. Эта страшная схватка возвещала о гибели уходящего мира. Кровь, пролитая семьей Маэ, взывала к отмщению: Альзира умерла от голода, Маэ скосила

пуля, Захария погиб от взрыва метана, Катрин засыпало землей; в живых осталась только жена Маэ; оплакивая умерших, она снова спустилась в глубь шахты, чтобы заработать свои тридцать су; Этьен — потерпевший поражение вожак восставших, ушел из поселка теплым апрельским утром, обуреваемый думами о грядущей борьбе, прислушиваясь к глухим подземным толчкам пробивающихся ростков нового мира. Возмездием стала Нана, этот цветок, распустившийся на социальных нечистотах Парижа, золотая муха, взлетевшая с гноища; ее терпят, но старательно скрывают ото всех, она разносит на своих трепещущих крылышках фермент разрушения и, пробравшись в аристократическое общество, разлагает его, одним прикосновением губя мужчин; она проникает во дворцы, бессознательно несет с собой разорение и смерть: тут и стоическое самосожжение Вандевра, и скитания Фукармона, который заглушает свою тоску, бороздя морские просторы Китая, банкротство Штейнера, вынужденного отныне вести скромную жизнь, самодовольное слабоумие Ла Фалуаза, трагедия в семье Мюффа и, наконец, бледный труп Жоржа, над которым бодрствует выпущенный накануне из тюрьмы брат Филипп; в зачумленном воздухе

эпохи таилась такая зараза, что она не пощадила и самое Нана, которая умерла от черной оспы, заразившись ею у смертного ложа своего маленького сына Луизэ, в то время как под ее окнами бурлил опьяненный, охваченный военным безумием Париж, словно стремясь к собственной погибели. Жан Маккар, рабочий и солдат, вновь стал крестьянином: оплачивая каждое зернышко каплей пота, он вступил в борьбу с суровой землей и, главное, с деревенскими жителями, у которых тяжкое, длящееся годами завоевание земли все сильнее разжигает собственнические инстинкты. Старики Фуаны, уступившие свои поля с такой болью, словно расставались с собственной плотью; Бюто, доведенные до отчаяния, дошедшие до отцеубийства, — все для того, чтобы скорей получить наследство — клочок земли, засеянный люцерной; упрямая Франсуаза, не соглашавшаяся, чтобы хоть пядь земли была отторгнута от их участка, и умершая без единого стона под ударом косы; такова была драма этих простых, повинующихся инстинкту людей, едва вышедших из первобытного состояния, всего этого человеческого перегноя на огромной земле, которая одна остается бессмертной, на матери-земле, из лона которой выходят и куда

возвращаются, земле, которую любят так сильно, что ради нее идут на преступление, и которая неустанно, ради какой-то своей неведомой цели, возрождает ту же жизнь, а вместе с ней ту же нищету и ту же человеческую низость. И вот опять Жан: овдовев, он снова идет в рекруты, едва запахло порохом. Жан, один из тех, кто является неиссякаемым источником вечного обновления земли; Жан, самый скромный и самый стойкий солдат из всех участвовавших в невиданном разгроме, подхвачен ужасной роковой бурей, которая, начавшись у рубежей Седана, смела Империю, угрожая гибелью родине. Жан, неизменно разумный, осторожный, никогда не теряющий надежды, полюбил как брата своего товарища Мориса, безвольного отпрыска буржуазной семьи, жертву, предназначенную для заклания. Когда же неумолимая судьба избрала именно его, чтобы отсечь этот гнилой побег, он плакал кровавыми слезами; но после разгрома, когда позади остались беспрерывные поражения, тяжелая междоусобная война, потерянные провинции и Франция оказалась перед уплатой миллиардных контрибуций — Жан снова пускается в путь и возвращается к ожидающей его земле, чтобы приобщиться к великому, суровому труду для

возрождения Франции.

Паскаль остановился, Клотильда передала ему все папки одну за другой, он раскрыл каждую, перелистал и снова поставил на место, на верхнюю полку шкафа. Он тяжело дышал, измученный неслыханным пробегом по страницам живой истории человечества; а девушка, безмолвная, неподвижная, растерявшаяся перед этим хлынувшим на нее потоком жизни, вышедшим из берегов, была не в силах вставить какое-нибудь замечание, решиться на то или иное суждение. Гроза не утихала, и ливень неумолчно поливал погруженные во мрак поля. Удар молнии, сопровождаемый страшным треском, расщепил дерево по соседству. Пламя свечи заметалось от ветра, ворвавшегося в распахнутое настежь окно.

— Взгляни, — промолвил наконец Паскаль, указывая на папки, — здесь целый мир, все наше общество, наша цивилизация, здесь вся жизнь с ее дурными и хорошими проявлениями, в ее горне переплавляется все… Да, наша семья представляет поучительный пример для современной науки, стремящейся с математической точностью установить законы физиологических и нервных отклонений, которые проявляются в каком-либо роду, вследствие изначального органического

заболевания, и, в зависимости от среды, определяют у каждого индивидуума чувства, желания, страсти, все сознательные и инстинктивные проявления человеческой натуры, которые мы называем добродетелями и пороками. Кроме того, наша семья — документ истории, повествующий о Второй империи от государственного переворота до Седана, ибо наши родичи, выйдя из народа, проникли во все слои современного общества: каких только постов они не занимали, подгоняемые своими непомерными аппетитами, этим чисто современным импульсом, этим ударом хлыста, который бросает в водоворот наслаждений низшие классы, сметающие на своем пути все социальные перегородки!.. Об истоках я тебе уже говорил: они находятся в Плассане, и вот, подойдя к концу пути, мы вернулись все в тот же Плассан.

Он умолк, а потом продолжал медленно, в раздумье:

— Какая стремительная лавина событий! Сколько сладостных и страшных происшествий, сколько восторгов и страданий заключено в этой огромной груде фактов!.. Чего здесь только нет! Страницы истории: Империя, возникшая на крови, вначале опьяненная наслаждениями,

властная до жестокости, покоряющая мятежные города, затем неуклонно идущая к развалу и, наконец, утонувшая в крови, в море крови, в котором едва не захлебнулась вся нация… Тут и социальные исследования: мелкая и крупная торговля, проституция, преступность, земельный вопрос, деньги, буржуазия, народ, — тот, что ютится в гнилых трущобах предместий и восстает в крупных промышленных городах, — весь бурный натиск побеждающего социализма, несущего в себе зародыши новой эры… Тут и просто очерки человеческой жизни, задушевные страницы, любовные перипетии, тут борьба ума и сердца с несправедливой природой, гибель тех, кто стонет под бременем непосильной задачи, — это стон доброго начала, приносящего себя в жертву и все же торжествующего в своем страдании… Тут и фантазия, полет воображения за пределы реального, необозримые сады, цветущие во все времена года, соборы с тонкими шпилями искусной работы, волшебные сказки о райском блаженстве, идеальная любовь, возносящаяся к небу при первом поцелуе… Все, все, прекрасное и отвратительное, возвышенное и низменное, цветы, грязь, рыдания, смех, — словом, весь поток жизни, куда-то безостановочно уносящий

человечество.

Он снова вернулся к родословному древу, оставленному на столе, расправил его и начал водить по нему пальцем, перечисляя здравствующих поныне членов семьи. Эжен Ругон, свергнутый властелин, свидетель и бесстрастный защитник прежнего режима, потерпевшего крах, теперь член палаты депутатов. Аристид Саккар, перекрасившись в республиканца, издает крупную газету и уже на пути к тому, чтобы нажить новые миллионы; а его сын, Максим, под влиянием страшной болезни стал воздержанным и осторожным; он живет в маленьком особняке на проспекте Буа-де-Булонь и проедает свое состояние; другой же его сын, Виктор, исчез; отверженный обществом, он избежал каторги, бродит где-то во мраке преступного мира, и его ждет неизвестное будущее, быть может, эшафот. Сидония Ругон давно утихомирилась, темные делишки набили ей оскомину, она впала в ханжество и удалилась под сень религии, став казначеем Общества св. Даров, которое помогает девушкам-матерям выйти замуж, оделяя их приданым. Владельцу огромного магазина «Дамское счастье», Октаву Муре, чье огромное состояние все растет, жена, Дениза Бодю, родила в конце

зимы второго ребенка; он ее боготворит, хотя и начал немного пошаливать на стороне. Аббат Муре, настоятель церкви Сент-Этроп, живет как великий смиренник вместе со своей сестрой Дезире в глухом болотистом местечке, отказываясь принять от епископа всякое повышение в сане, и подобно святому ожидает своего смертного часа, отвергая все лекарства, хотя его и подтачивает начавшаяся чахотка. Элен Муре счастлива в своем уединении, на берегу моря, близ Марселя, в маленькой усадьбе ее нового мужа, г-на Рамо, который ее обожает; от второго брака у нее нет детей. Полина Кеню по-прежнему живет в Бонневиле, на другом конце Франции, у безбрежного океана; она осталась теперь одна с маленьким Полем и решила после смерти дядюшки Шанто не выходить замуж, а целиком посвятить себя сыну своего двоюродного брата Лазара, который, овдовев, уехал наживать состояние в Америку. Вернувшись в Париж после стачки в Монсу, Этьен Лантье позднее принял участие в Парижской коммуне, идеи которой пламенно защищал; приговоренный к смертной казни, затем помилованный и сосланный, он теперь находится в Нумеа, где даже, говорят, женился и обзавелся ребенком, но неизвестно точно, — мальчиком или

девочкой. И, наконец, Жан Маккар; уволенный в отставку после кровавой недели, он перебрался на жительство в Валькейра, возле Плассана, где ему посчастливилось жениться на Мелани Виаль, крепкой, здоровой девушке, единственной дочери зажиточного крестьянина, земля которого приносит ему изрядный доход; забеременев в первую же брачную ночь, его жена в мае разрешилась мальчиком и вот уже опять ходит на третьем месяце, являя пример той безудержной плодовитости, которая не оставляет матерям времени вскармливать грудью своих младенцев.

— Что говорить, — продолжал Паскаль вполголоса, — каждый род вырождается. И в нашей семье мы тоже видим несомненное истощение, быстрый упадок: наша родня в ненасытной жажде наслаждений, в бешеном стремлении удовлетворить свои аппетиты сгорает слишком быстро. Луизэ, погибший в грудном возрасте, слабоумный Жак-Луи, умерший от нервной болезни. Виктор, вернувшийся в первобытное состояние и скитающийся неведомо где, и наш бедняжка Шарль, такой красивый и хрупкий! Все это последние ответвления древа, последние чахлые побеги, которых не смогли напитать живительные соки нижних ветвей. Червь подточил ствол,

теперь он добрался до плодов и пожирает их… Но отчаиваться не надо, каждая семья — это вечное становление. Семьи уходят корнями в глубинные напластования отживших родов, к первому человеку на земле; они будут непрестанно расти, разветвляться, без конца давать новые побеги в грядущих веках… Взгляни на наше древо: оно насчитывает всего пять поколений и имеет не больше значения, чем былинка в огромном, густом лесу человечества, где народы кажутся столетними дубами. Но подумай о тех могучих корнях, которые пронизали всю почву, вспомни о том, что под извечно оплодотворяющим дыханием жизни на верхушках деревьев непрестанно обновляются листья, переплетаясь с листвой других крон. Здесь-то и таится надежда! Она в ежедневном обновлении рода благодаря свежей крови, привносимой извне. Каждый брак добавляет новые элементы: дурные ли, хорошие ли, но их влияние так или иначе препятствует закономерному и прогрессирующему вырождению. Ущерб восполняется, изъяны исчезают, через несколько поколений восстанавливается неизбежное равновесие, и в конце концов возникает средний человек, то безымянное человечество, которое упорно свершает свою таинственную

работу на пути к неведомой нам цели.

Он на мгновенье умолк и тяжело вздохнул.

— Что-то станется с нашей семьей? Каков будет ее последний отпрыск?

И он продолжал рассказывать, перечисляя уже не тех оставшихся в живых взрослых членов семьи, чье место он определил, а лишь детей, находящихся еще в младенческом возрасте, которыми теперь интересовался. Он уже написал своему коллеге в Нумеа, желая получить точные сведения о жене Этьена и ребенке, которым она должна была разрешиться; не получая долго ответа, он опасался, что с этой стороны в древе окажется пробел. В отношении двух детей Октава Муре, с которым он поддерживал переписку, он был более осведомлен: девочка так и осталась хворой и внушала тревогу родителям, а мальчик, уродившийся в мать, развивался великолепно. Но больше всего надежд доктор возлагал на детей Жана; с его первенцем, здоровым малышом, в семью, видимо, вольются новые свежие соки, которые принесет с собой возрождающее соприкосновение с землей. Иногда он ездил в Валькейра и, побывав в этом плодородном уголке, возвращался счастливым: так нравились ему спокойствие и рассудительность отца, неизмен-

но шагающего за плугом, простой и веселый нрав матери, способной выносить в своем могучем чреве целый мир. Кто знает, откуда возьмет начало здоровая ветвь? Может быть, долгожданный мудрец и преобразователь будет зачат именно здесь? К сожалению, для того чтобы работа Паскаля благополучно завершилась, ему недоставало кое-каких данных, потому что все эти мальчики и девочки были еще так малы, что он не решался отнести их к той или иной категории. Когда он заговорил об этой надежде будущего, об этих белокурых головках, в его голосе зазвучала нежность, проникнутая затаенной горечью, оттого что он остался холостяком.

Он не отводил взгляда от лежавшего перед ним древа. И вдруг воскликнул:

— И все же разве оно недостаточно полно, не закончено, взгляни только! Повторяю, здесь встречаются все случаи наследственности. Для того чтобы обосновать мою теорию, мне достаточно было сгруппировать эти факты… Но примечательней всего, что здесь наглядно видно, как люди, происходящие от общего родоначальника, кажутся совершенно различными, тогда как на самом деле они представляют собой лишь последовательное видоизменение общих

предков. Каков ствол, таковы и ветви, а каковы ветви, таковы листья. Как ни противоположны по темпераменту и по образу жизни твой отец Саккар и твой дядя Эжен Ругон — одна и та же сила породила в одном необузданные аппетиты, в другом — всеподавляющее властолюбие. Грязная сводня Сидония родила чистую лилию Анжелику — натуру пылкую, из тех, что, в зависимости от среды, приходят к религиозному экстазу или к любострастию. Трое детей Муре сформировались под влиянием сходного импульса, но смышленый Октав стал миллионером, торгующим дамскими тряпками, набожный Серж — бедным сельским священником, а слабоумная Дезире — счастливым цветущим созданием. Но еще более разительный пример — это дети Жервезы; все они поражены наследственным нервным заболеванием, и вот результат: Нана становится продажной женщиной, Этьен — руководит восставшими; Жак превращается в убийцу, Клод — в гения. А их двоюродная сестра Полина, воплощая торжествующую честность, великодушно приносит себя в жертву… Все это наследственность, сама жизнь, производящая на свет идиотов, сумасшедших, преступников и великих людей. Место одних клеток, недоразвившихся, занимают дру-

гие, и вот там, где мог родиться гений или хотя бы простой честный человек, появляется мошенник или буйнопомешанный. А человечество идет вперед, все увлекая на своем пути.

И, захваченный новой мыслью, он добавил:

— А мир животных? Животных, которые страдают и любят, являясь как бы подобием человека, и по-братски живут бок о бок с нами. Да, я их тоже желал бы поместить в ковчег, им тоже предоставить место в нашей семье, показать, что они составляют с нами одно целое, дополняют наше существование. Я помню кошек, чье присутствие придавало дому таинственную прелесть, собак, которых хозяева обожали и чью смерть неутешно оплакивали. Я помню коз, коров, ослов, значение которых в жизни хозяев было таково, что их собственная жизнь заслуживает описания… Да зачем далеко ходить? Возьмем нашего Добряка, нашего старого конягу, верно служившего нам более четверти века. Не кажется ли тебе, что мы с ним почти породнились и он стал членом нашей семьи? Мы изменили его нрав, так же как и он повлиял немного на наш, и в результате мы стали в чем-то схожи; вот почему теперь, когда я вижу, как он стоит, полуслепой, с мутным взглядом, со скрюченными от ревматизма ногами, я целую

его в голову, словно это родственник, живущий на моем попечении… Ах, мир животных, покорно страждущий у наших ног! Как не отвести ему трогательную страничку в нашем жизнеописании!

В этом возгласе Паскаль выразил свою восторженную любовь ко всему живому. Все более волнуясь, он стал исповедовать перед Клотильдой свою веру в неутомимый победительный труд животворящей природы. А молчавшая до сих пор девушка, бледная, потрясенная такой лавиной фактов, обрушившихся на нее, разжала наконец губы и спросила:

— А я, учитель? Что же я такое?

Она прижала свой тонкий палец к тому листику древа, где было обозначено ее имя. Паскаль все время его пропускал. И она настойчиво повторила:

— Ну да, что ты написал обо мне? Почему ты не прочел моего дела?

Мгновенье он молчал, как бы застигнутый врасплох ее вопросом.

— Почему? Пожалуй, без всякой причины… В самом деле, мне нечего от тебя скрывать… Видишь, здесь написано: «Клотильда. Родилась в 1847 году. Линия матери. Возвратная наследственность с преобладанием духовных и физических черт

деда со стороны матери...» Что может быть точнее? Качества матери возобладали в тебе, у тебя прекрасный аппетит, ты частично унаследовала ее кокетство, порой вялость, покладистость. Да, в тебе много женственности, как и у нее, хоть ты этого не подозреваешь, — иначе говоря, ты любишь быть любимой. Вдобавок твоя мать обожала читать романы, она была фантазеркой и проводила целые дни, лежа с книгой, погруженная в мечты; она до безумия любила волшебные сказки, заставляла гадать ей на картах, советовалась с ясновидящими, и я всегда объяснял этим твое влечение к таинственному, твой интерес к неведомому... Но окончательно тебе помогло сформироваться, придав твоему характеру некую двойственность, влияние твоего деда Сикардо. Я знавал его, он не хватал звезд с неба, но, по крайней мере, отличался прямолинейностью и энергией. Говоря откровенно, я думаю, что без него ты немногого бы стоила, потому что остальные влияния нельзя назвать положительными. Всем лучшим, что в тебе есть: мужеством в борьбе, гордостью и чистосердечностью — ты обязана ему.

Она внимательно выслушала Паскаля, слегка кивнула головой, как бы подтверждая, что все

это так и она вовсе не обижена, хотя губы ее чуть дрогнули от боли, когда она узнала эти новые подробности о своих родных, своей матери.

— Ну, а ты, учитель? — спросила она.

На этот раз он воскликнул, не колеблясь:

— Я?! К чему говорить обо мне? Я ведь пошел не в нашу семью! Видишь, что здесь написано: «Паскаль. Родился в 1813 году. Врожденные склонности: сочетание духовных и физических черт родителей, хотя в новом существе их трудно обнаружить». Недаром твоя бабушка непрестанно повторяла, что я пошел ни в отца, ни в мать, и она сама не понимает, в кого я уродился!

Он не мог скрыть облегчения и даже радости.

— Да, да, молва не ошибается. Ты слышала когда-нибудь, чтобы в городе меня называли Паскалем Ругоном?! Нет! Всегда говорят просто: доктор Паскаль. Это потому, что я не пошел в родню! Пусть это и не совсем вежливо, но я от этого в восторге, потому что и в самом деле бывает семейное сходство, которому не обрадуешься! Я очень люблю родственников, но мое сердце радостно бьется оттого, что я себя чувствую другим, отличным от них, не имеющим с ними ничего общего. Не быть из их числа, не принадлежать к ним, бог ты мой! Да, это глоток свежего воздуха,

это то, что дало мне мужество собрать их всех здесь, вот в этих папках, показать без всяких прикрас и при всем этом еще иметь мужество жить!

Наконец Паскаль сделал паузу; наступила тишина. Дождь перестал, гроза утихла, слышны были только отдаленные раскаты грома, а с полей, еще окутанных тьмой и освеженных дождем, поднимался в открытое окно пьянящий запах влажной земли. Ветер стих, и свечи догорали высоким спокойным пламенем.

— Боже мой, что только с нами будет! — произнесла Клотильда, бессильно уронив руки.

Однажды ночью, на току, терзаясь сомнениями, она задала ему уже этот вопрос: если жизнь так омерзительна, разве можно прожить ее спокойно и счастливо? Наука проливает на мир беспощадный свет, вскрывая путем анализа человеческие язвы, чтобы выставить напоказ весь их ужас. А теперь Паскаль до конца открыл безжалостную истину, которая усугубила в ней отвращение ко всему окружающему, он как бы бросил на стол анатомического театра их семью, показав ее в самом неприглядном виде. Почти три часа катился перед ее глазами этот мутный поток — это было страшное разоблачение, неожиданная, ужасная правда о близких, дорогих ей существах, которых

она тем не менее должна была любить: отец, сколотивший себе состояние финансовыми аферами, брат-кровосмеситель, бабушка, не знавшая угрызений совести, которая запятнала себя кровью невинных людей, и остальные, — почти каждый с тем или иным пороком: пьяницы, развратники, убийцы — чудовищные цветы, распустившиеся на родословном древе. Удар был так силен, что она не могла прийти в себя от горького изумления, — слишком внезапно ей пришлось узнать всю правду о жизни. Между тем этот жестокий урок был смягчен великой, подлинной добротой, проникнут глубокой человечностью. Открывшаяся истина не причинила Клотильде вреда, она почувствовала себя так, словно ее исхлестал резкий морской ветер, ветер бурь, из которых выходишь окрепшей, дыша полной грудью. Паскаль рассказал Клотильде все, не скрыл правды даже о своей матери, сохранив по отношению к ней снисходительность ученого, который не вдается в оценку фактов. Да! Говорить обо всем! Чтобы все познать и все исцелить! Не этот ли крик души услышала она тогда, в прекрасную летнюю ночь? Она была потрясена тем, что он ей поведал, ослеплена этим слишком резким светом, но наконец поняла Паскаля, была вынуждена признаться се-

бе самой, что он взялся за действительно великое дело! Что бы там ни было, это был здоровый голос веры в будущее. Паскаль говорил как человек, желающий людям блага, как человек, постигший власть наследственности и захотевший установить ее законы, чтобы управлять ею и сделать людей счастливыми.

И разве в этой разлившейся реке, шлюзы которой он открыл, оказалась только грязь? Сколько крупиц золота застряло в прибрежной траве и цветах? Перед глазами Клотильды пронеслась вереница людей, упомянутых Паскалем, и она была зачарована благородными и добрыми лицами, прелестью девушек с тонкими профилями, величавой красотой женщин. Здесь кровоточила вся земная любовь, сердце раскрывалось в нежном порыве. Их было много: Жанна, Анжелика, Полина, Марта, Жервеза, Элен. От этих и от других, что были не так хороши, и даже от самых ужасных, отпетых преступников, веяло глубокой человечностью. Именно это — струю горячей симпатии — почувствовала она в наглядном уроке Паскаля-ученого. Сам он, казалось, не смягчился, сохраняя бесстрастную позицию наставника; но сколько грустного сострадания, сколько искренней преданности и самоотречения во имя счастья других

таилось в глубине его души! Весь труд Паскаля, построенный с точным математическим расчетом, был проникнут братским состраданием даже там, где он давал волю жестокой иронии. Разве не говорил он о животных, как старший брат всех страждущих живых существ? Чужая боль приводила Паскаля в отчаяние, высокие идеалы оправдывали его гнев, он бывал резким только потому, что ненавидел все преходящее и суетное, мечтая отдать свои силы не ради минутного успеха, не избранным, а человечеству в целом на всех важнейших этапах его истории. Быть может, именно возмущенный пошлостью повседневного существования, Паскаль бросил этот смелый вызов в своих теоретических и практических работах. Его глубоко человечный труд был напоен слезами всего сущего на земле.

Впрочем, не это ли сама жизнь? Абсолютного зла не существует. Человек не бывает злым ко всем на свете, есть всегда кто-то, кому он делает добро; таким образом, если не становиться на субъективную точку зрения, начинаешь понимать полезность каждого существа. Верующим приходится признать, что если бог не карает дурных людей — то лишь потому, что видит созданный им мир в целом и не вдается в частно-

сти. Ведь труд, не успев завершиться, начинается сызнова, и люди в совокупности, несмотря ни на что, вызывают восхищение своим мужеством и неустанной работой. Любовь к жизни преодолевает все, и в исполинском труде человечества, в его упрямом желании жить — оправдание и искупление. Если бросить взгляд с большой высоты, то увидишь только эту непрекращающуюся борьбу, и несмотря ни на что — много добра, хотя есть и много зла. Так поневоле приходишь к состраданию, к всепрощению, — и испытываешь только безграничную жалость и горячее милосердие. В этом и находит прибежище человек, потерявший веру в догмы, как все те, кто хочет понять смысл существования в нашем мире, кажущемся таким порочным. Надо жить ради самой жизни, ради созидания далекого, неизвестного будущего, и лишь радость созидания приносит душевный покой здесь на земле.

Прошел еще час, целая ночь протекла за этим страшным уроком жизни, и оба, Паскаль и Клотильда, совсем позабыли о том, где они находятся и сколько времени прошло. Паскаль переутомился за последние недели, был измучен горестными подозрениями и теперь, будто внезапно пробудившись, нервно вздрогнул.

— Ну вот, теперь ты знаешь все! Чувствуешь ли ты, что твое сердце выдержит, что оно закалилось в истине и преисполнилось прощения и надежды? Со мной ли ты отныне?

Но Клотильда, все еще не оправившаяся от перенесенного только что нравственного потрясения, дрожала, не в силах взять себя в руки… В ней происходило сейчас такое крушение прежних верований, такой поворот к новому миру, что она не решалась допросить самое себя и сделать вывод. Она чувствовала, что ее подхватывает и уносит всемогущая власть истины. Но, подчиняясь ей, она все еще не была убеждена окончательно.

— Учитель, — пробормотала она, — учитель…

Мгновенье они оставались так лицом к лицу, не спуская друг с друга глаз. Занимался день, на необъятном светлом небе, омытом грозой, вставала лучезарная, ясная заря. Ни одно облачко не пятнало бледной лазури, окрашенной в нежно-розовые тона. С омытых дождем полей в окно потянуло свежим, бодрящим запахом, и в утреннем свете расплылись огоньки догоравших свечей.

— Ты по-прежнему хочешь все уничтожить, все сжечь, — отвечай!.. Со мной ли ты, целиком

и полностью?

Он надеялся, что Клотильда тут же с плачем бросится ему на шею. Она уже устремилась было к нему во внезапном порыве. Но тут оба вдруг спохватились, что полуодеты. Только теперь Клотильда заметила, что на ней одна лишь нижняя юбка, а обнаженные руки и плечи едва прикрыты буйными прядями распущенных волос; опустив глаза, она увидела на левой руке, возле подмышки, несколько капелек крови, царапину, которую он ей нанес во время борьбы, когда грубо схватил ее, чтобы укротить. Придя в полное замешательство, она почувствовала вдруг, что будет побеждена, словно этим объятием он навсегда утвердил над ней свою власть. Ощущение это не проходило, она была покорена, обезоружена, испытывала непреодолимое желание отдаться на его волю.

Клотильда выпрямилась, желая все обдумать. Она прикрыла руками обнаженную грудь. Кровь залила ее лицо волной стыдливого румянца. И вдруг грациозным, стремительным движением она метнулась от него прочь.

— Учитель, подожди, учитель... Дай мне подумать.

Взволнованная девушка бросилась к себе в

спальню и заперлась там, как уже сделала это однажды. Паскаль услышал, что она поспешно повернула ключ на два оборота. Он остался один, охваченный вдруг глубокой грустью и разочарованием, мучась вопросом, имел ли он право все ей рассказать и даст ли всходы семя, брошенное им в душу дорогой, боготворимой им девушки, принесет ли оно в один прекрасный день жатву счастья?

VI

Дни шли. Октябрь выдался чудесный, золотая осень дышала зноем щедрого лета, в небе не было ни облачка; но вот погода испортилась, подули сильные ветры, последняя летняя гроза размыла откосы. И вместе с приближавшейся зимой в сумрачный дом Сулейяды, казалось, проникло беспросветное уныние.

Жизнь здесь снова превратилась в ад. Правда, между Паскалем и Клотильдой больше не возникало бурных ссор. Двери уже не хлопали, громкие голоса не заставляли Мартину то и дело подниматься наверх. Теперь дядя и племянница почти не разговаривали друг с другом и о ночной сцене не обмолвились ни словом. Паскаль не хотел возобновлять разговора из-за какой-то необъяснимой щепетильности, странного чувства неловкости, в котором он не отдавал себе отчета, и не требовал обещанного ответа — признания, что она верит в него, подчиняется ему. А Клотильда, испытав огромное нравственное потрясение, так сильно изменившее все ее существо, еще размышляла, колебалась, боролась с

собой и, внутренне сопротивляясь, откладывала решение предаться целиком в руки Паскаля. Взаимное непонимание все углублялось в этом доме, погруженном в печаль и унылое молчание, где уже больше не было счастья.

Для Паскаля наступила пора жестоких страданий, но он никому не жаловался. Кажущееся примирение не успокаивало его. Напротив, он не мог отделаться от мучительной подозрительности, вбил себе в голову, что ему продолжают расставлять ловушки, а если и делают вид, что не интересуются им, то лишь для того, чтобы исподтишка строить злые козни. Его тревога даже еще усилилась — каждый день он ждал катастрофы, боясь, что его бумаги исчезнут в глубине разверзшейся вдруг пропасти и вся Сулейяда будет опустошена, стерта с лица земли, рассыплется в прах. Тайное гонение на его мысль, на его нравственную и духовную жизнь раздражало его, становилось до такой степени невыносимым, что вечерами он ложился спать в лихорадке. Он постоянно вздрагивал, то и дело оборачивался, надеясь застигнуть врасплох врага, задумавшего предательство за его спиной, но в ночном мраке не было ни души, кроме самого Паскаля с его страхами. Иногда его мнительность доходила до

того, что он целыми часами простаивал на страже, притаившись у себя в комнате за закрытыми ставнями или спрятавшись в глубине коридора. Но все было тихо, он слышал только, как стучит в висках кровь. Совершенно потеряв голову, он, перед тем как лечь спать, тщательно обследовал каждую комнату; он совсем лишился сна и, прерывисто дыша, пробуждался от малейшего шороха, готовый защищаться.

Но больше всего Паскаль страдал от постоянной назойливой мысли, что рану ему нанесла столь любимая им Клотильда — единственное дорогое в мире существо; в течение двадцати лет она росла и хорошела на его глазах и, распускаясь, как цветок, наполняла его жизнь благоуханием. Именно она, о боже, она, к которой он испытывал чувство всепоглощающей безотчетной нежности, она, ставшая его радостью, источником бодрости, надежды, второй юностью, возрождавшей его! Когда она проходила мимо и он любовался ее нежным, стройным станом, он чувствовал себя помолодевшим, вновь здоровым и радостным, как будто вернулась его собственная весна. Впрочем, глубокая привязанность к Клотильде, которая еще ребенком тронула сердце Паскаля, а потом мало-помалу завладела им целиком,

объяснялась всей жизнью доктора. С тех пор как он окончательно поселился в Плассане, он жил как отшельник, углубившись в книги и избегая женщин. В городе поговаривали лишь об одной его любви — к той женщине, которая умерла и у которой он не осмелился поцеловать даже кончики пальцев. Случалось, он совершал вылазки в Марсель и не ночевал дома; но это были короткие, случайные встречи с первыми попавшимися женщинами. Паскаль еще совсем не жил, сохранив нерастраченной свою мужскую силу, бурлившую в нем теперь, когда нависла угроза надвигающейся старости. Он мог бы страстно привязаться к любому живому существу, например, к подобранному на улице щенку, лизнувшему его руку. И вот всеми его помыслами владела Клотильда, эта малютка, так горячо любимая им, которая внезапно превратилась в обольстительную женщину, мучившую его своей враждой.

Обычно веселый, добродушный, Паскаль стал невыносимо угрюмым и резким. Он вспыхивал от каждого пустяка, гнал от себя недоумевающую Мартину, которая смотрела на него взглядом побитой собаки. С утра до вечера он слонялся в тоске по унылому теперь дому, и лицо у него было

такое хмурое, что никто не осмеливался к нему подступиться. Он больше не приглашал с собой Клотильду и уходил к больным один. Однажды к вечеру он вернулся домой, потрясенный смертью пациента, которая лежала на его совести врача-экспериментатора. Он лечил впрыскиваниями кабатчика Лафуаса, у которого сухотка спинного мозга стала так прогрессировать, что доктор считал его обреченным. Однако он не отступил, решив бороться за его жизнь, и продолжал лечение; как на грех, в этот день в его шприц попала со дна склянки какая-то соринка, ускользнувшая от фильтра. При уколе показалась кровь — в довершенье несчастья доктор попал в вену. Он сразу встревожился, увидев, что кабатчик побледнел, задыхается и покрылся холодным потом. А затем, когда его губы посинели, лицо стало черным и наступила молниеносная смерть, Паскаль все понял. Произошла эмболия, и Паскаль мог винить себя только за то, что изготовленное им лекарство было несовершенно, а метод оставался все еще примитивным. Лафуас все равно был обречен, в лучшем случае он прожил бы не больше полугода, при этом тяжело страдая. Но случилось непоправимое — больной умер. Какое горькое сожаление, какое крушение веры, какое

возмущение против бессильной науки, годной только на то, чтобы убивать! Домой он вернулся мертвенно-бледный, почти бездыханный, не раздеваясь, бросился на кровать и только наутро вышел из своей спальни, пробыв взаперти целых шестнадцать часов.

В этот день после завтрака Клотильда, которая что-то шила, сидя подле него в гостиной, решилась нарушить тяжелое молчание. Подняв глаза, она увидела, как он нервно перелистывает книгу в поисках каких-то сведений и не может их найти.

— Учитель, ты болен? Почему ты не скажешь? Я поухаживала бы за тобой.

Не поднимая глаз от книги, он глухо пробормотал:

— Болен? А тебе-то что до этого? Я ни в ком не нуждаюсь.

Она продолжала примирительным тоном:

— Если тебя одолевают невзгоды, может, тебе будет легче, если ты мне о них расскажешь… Вчера ты вернулся такой удрученный. Не надо падать духом. Я провела беспокойную ночь, трижды подходила к твоей двери и прислушивалась, терзаясь мыслью, что тебе плохо.

Как ни ласково она говорила, ее слова подей-

ствовали на него как удар бича. Он так ослабел от болезни, что не мог противиться приступу внезапного гнева; весь дрожа, он отбросил книгу и вскочил.

— Ах, так! Значит, ты шпионишь за мной, стоит мне запереться у себя, как тотчас вы прилипаете к двери… Да, вы прислушиваетесь даже к биению моего сердца, поджидаете моей смерти, чтобы все разграбить, все сжечь…

Он говорил громче и громче, изливая в жалобах и угрозах незаслуженные страдания.

— Я запрещаю тебе вмешиваться в мои дела… Но неужели тебе больше нечего мне сказать?.. Обдумала ли ты мои слова, хочешь честно вложить свою руку в мою, сказав, что ты со мной?

Она не отвечала и продолжала смотреть на него своими большими ясными глазами, как бы признаваясь, что желает повременить с решением; это привело его в негодование, и он потерял всякую власть над собой.

Он замахал на нее руками.

— Уходи!.. Уходи!.. — пробормотал он. — Я не хочу, чтобы ты была подле меня. Не хочу, чтобы подле меня были враги!.. Не хочу, чтобы, оставаясь рядом со мной, они довели меня до сумасшествия!

Побледнев, она встала и, захватив с собой работу, вышла, держась все так же прямо и ни разу не обернувшись.

В течение последующего месяца Паскаль пытался уйти с головой в свои занятия. Теперь он упорно проводил целые дни один в кабинете и даже ночью рылся в старых документах, желая вновь проверить свои работы о наследственности. Казалось, им овладело неистовое желание убедиться в обоснованности своих надежд, найти в науке подтверждение того, что человечество можно обновить, сделать наконец здоровым и более совершенным. Он больше не выходил из дома, забросил больных и жил без свежего воздуха, без моциона, погрузившись в свои бумаги. После месяца такой изнурительной работы, которая надломила его силы, не избавив в то же время от мук, причиняемых разладом в доме, он дошел до такого нервного истощения, что давно таившаяся в нем болезнь теперь вдруг бурно заявила о себе тревожными симптомами.

Вставая по утрам, Паскаль чувствовал себя совсем разбитым и даже еще более отяжелевшим и усталым, чем до ночного отдыха. Он постоянно пребывал в унынии, после пяти минут ходьбы у него подгибались ноги, при малейшем усилии

он чувствовал слабость во всем теле, и любое резкое движение отзывалось в нем болью. Иной раз ему казалось, что земля колеблется у него под ногами. Непрерывный шум в ушах оглушал его, в глазах темнело, и он опускал веки, боясь увидеть сноп искр. У него появилось отвращение к вину, он почти не притрагивался к еде, пищеварение расстроилось. Апатия, все возрастающая вялость сменялись иногда внезапными вспышками бесполезной деятельности. Обычной уравновешенности как не бывало. Болезненно раздражительный, он без всякого повода переходил от одной крайности к другой. Самое пустячное волнение вызывало у него слезы. Дело доходило до того, что в приступе отчаяния он запирался у себя и ни с того ни с сего рыдал навзрыд целыми часами, снедаемый беспричинной гнетущей тоской.

Его страдания еще усугубились после очередной поездки в Марсель, одной из тех холостяцких вылазок, какие он порой предпринимал. Быть может, он надеялся встряхнуться, найти облегчение в кутеже. Но он отсутствовал всего два дня, вернулся ошеломленный, убитый, и на его лице лежала печать страданий, пережитых им от сознания своего мужского бессилия. Это был

тайный стыд, опасение, превратившееся после тщетных попыток в уверенность, которая еще увеличила его робость перед женщинами. До сих пор он не придавал большого значения этому вопросу. Но теперь это стало у него манией, он был потрясен, сражен горем до того, что начал помышлять о самоубийстве. Напрасно он успокаивал себя, что все, без сомнения, пройдет, что он просто болен, — его продолжало угнетать ощущение собственного бессилия. И он вел себя в женском обществе, как желторотый юнец, которого проснувшееся желание лишает дара речи.

В начале декабря у Паскаля разыгралась нестерпимая невралгия; ему казалось, что у него расколется череп, так сильно болела голова. Фелисите, которую уведомили, что Паскаль болен, в один прекрасный день явилась сама узнать о здоровье сына. Сначала она проскользнула в кухню, чтобы выведать все у Мартины. Встревоженная, напуганная служанка поведала ей, что доктор, несомненно, сошел с ума: она рассказала г-же Ругон о его странных повадках, о том, что он беспрестанно расхаживает взад и вперед по комнате, запирает на ключ ящики, до двух часов ночи бродит по всему дому, с верхнего этажа до нижнего. Со слезами на глазах служанка робко

высказала предположение, что в хозяина вселился дьявол и что неплохо было бы предупредить священника из церкви Св. Сатюрнена.

— Такой праведный человек, — повторяла она, — да ради него я хоть на плаху готова. Вот горе, что нельзя его отвести в церковь, он разом бы исцелился!

Услышав голос бабушки, в кухню вошла Клотильда. Она тоже слонялась теперь по пустым комнатам и большую часть времени проводила в покинутом Паскалем кабинете. Впрочем, она не приняла участия в беседе и только задумчиво, выжидательно прислушивалась.

— Ах, это ты, крошка! Здравствуй! Мартина рассказала мне, что в Паскаля вселился дьявол. Она права, только имя этому дьяволу — гордыня. Вообразил, что знает все, прямо царь и бог, — понятно, что он выходит из себя, если ему противоречат.

Она пожала плечами, всем своим видом выражая бесконечное презрение.

— Не будь все это так грустно, я бы просто посмеялась! Человек ничегошеньки на свете не знает, не нюхал жизни, зарылся смолоду в свои дурацкие книги! Хотела бы я видеть его в гостиной — он будет вести себя как несмышленый младенец. А

женщины — их он и вовсе не знает…

И, позабыв, что она обращается к своей юной внучке и служанке, доверительно продолжала, понизив голос:

— Еще бы, такое чрезмерное воздержание до добра не доводит. Ни жены, ни любовницы — никого! Есть от чего помутиться рассудку!

Клотильда не шевельнулась, по-прежнему молчаливая, безмолвная, и лишь задумчиво опустила большие глаза; затем снова подняла их, не в силах объяснить, что с ней происходит.

— Он там у себя, наверху? — спросила Фелисите. — Я пришла, чтобы его повидать, потому что пора положить этому конец, — слишком уж все это глупо!

И она поднялась к сыну, Мартина вернулась к своим кастрюлям, а Клотильда снова начала бродить по пустому дому.

Наверху, в кабинете, Паскаль сидел в оцепенении, вперив взгляд в раскрытую книгу. Он больше не мог читать, слова плыли перед его глазами, сливались, утрачивали всякий смысл. Но он упорствовал, мучительно страдая при мысли потерять все, вплоть до способности трудиться, которой до недавнего времени обладал в полной мере. Фелисите первым делом распекла

его, отобрала книгу, отшвырнула ее в сторону: когда люди больны, они должны лечиться, кричала она. Паскаль вскочил в гневе, намереваясь выгнать мать, как выгнал Клотильду. Но, сделав над собой усилие, обратился к ней почтительным тоном:

— Матушка, вы прекрасно знаете, что я всегда избегаю вступать с вами в спор… Оставьте же меня в покое, прошу вас.

Но она не отступила, укоряя сына за его постоянную подозрительность. Немудрено, что он заболел, — сам виноват, видит повсюду врагов, которые расставляют ему ловушки, шпионят за ним, хотят ограбить. Может ли здравомыслящий человек вбить себе в голову такой вздор? Она обвиняла Паскаля и в том, что он чересчур зазнался, — не глупо ли воображать себя всемогущим богом, оттого что открыл пресловутый эликсир, якобы исцеляющий все болезни; тем более что он уже испытал жестокое разочарование; она намекнула на Лафуаса, человека, которого он довел до могилы, — понятно, что это напоминание ему неприятно, — тут и впрямь можно заболеть!

— Матушка, прошу вас, оставьте меня в покое!

— Нет, не оставлю! — закричала Фелисите со свойственной ей запальчивостью, сохранившей-

ся несмотря на возраст. — Я для того и пришла, чтобы тебя немного растормошить, вывести из нервного состояния, ведь оно тебя губит! Нет, так продолжаться не может, я не желаю, чтобы из-за твоих выдумок мы снова стали притчей во языцех всего города… Я хочу, чтобы ты лечился…

Он пожал плечами и шепотом, словно про себя, неуверенно произнес:

— Я не болен!

Фелисите так и подскочила от возмущения.

— Как это не болен? Как это не болен? И впрямь надо быть врачом, чтобы не распознать собственной болезни… Бедный ты мой мальчик, да ведь каждому, кто тебя видит, ясно: ты обезумел от страха и гордыни!

На этот раз Паскаль поднял голову и посмотрел матери прямо в глаза.

— Вот и все, что я собиралась тебе высказать, потому что никто не берется взять это на себя, — продолжала она. — В самом деле, ты уже в таком возрасте, когда человек должен соображать, что ему следует делать. Надо противостоять болезни, отвлечься, а не предаваться навязчивой идее, в особенности когда происходишь из такой семьи, как наша… Ты-то ее знаешь… Остерегайся же, лечись!

Паскаль побледнел, не спуская пристального взгляда с Фелисите, словно хотел проникнуть в ее душу и понять, что унаследовал от матери. Но он ограничился тем, что ответил:

— Вы правы, матушка… Благодарю вас!

Оставшись один, он тяжело опустился на стул и попытался вновь взяться за чтение. Но теперь ему было еще труднее сосредоточиться и вникнуть в написанное — буквы расплывались перед глазами. Слова, сказанные матерью, звучали в ушах, тревога, какую он испытывал и раньше, теперь росла и крепла, угрожала непосредственной, осязаемой опасностью. Всего два месяца тому назад он ликовал, хвалясь, что пошел не в свою семью, неужели же теперь его иллюзии рухнут? Неужели ему суждено ощутить в самом себе признаки наследственного порока? Неужели он обречен в жертву чудовищу, именуемому наследственностью? Мать бросила ему в лицо: ты обезумел от страха и гордыни. Идея, которая так захватила Паскаля, восторженная уверенность в том, что можно уничтожить страдания, укрепить у людей волю, обновить человечество, сделав его здоровым и более совершенным, — не было ли это и в самом деле началом мании величия? А в том, что ему повсюду чудились ловушки и

остервенелые враги, которые жаждут его гибели, он теперь легко распознавал симптомы мании преследования. Все болезненные отклонения в его семье приводили к одному и тому же трагическому исходу: кратковременное безумие, потом общий паралич и смерть.

С этого дня Паскаль стал по-настоящему одержимым. Доведенный переутомлением и горем до нервного истощения, он перестал сопротивляться навязчивому страху перед неотвратимым безумием и смертью. Все его болезненные ощущения, безграничная усталость по утрам, шум в ушах, обмороки, все, вплоть до плохого пищеварения и приступов слезливости, неопровержимо доказывало, что ему угрожает неминуемое умственное расстройство. Он полностью утратил свою способность врача-исследователя ставить точный диагноз и, делая попытки проанализировать собственное заболевание, все путал и искажал под влиянием моральной и физической депрессии. Он больше не владел собой, стал и в самом деле похож на безумца, оттого что ежечасно убеждал себя, что безумие неизбежно.

На протяжении всего декабря, серого и унылого, Паскаль с утра до вечера растравлял свой недуг. Каждый день он вставал с намерением

уйти от навязчивой идеи; но его словно против воли тянуло в уединение кабинета, где он снова принимался за вчерашнее, пытаясь разобраться в путанице собственных мыслей. Вопросы наследственности, которые он столь долго изучал, серьезные исследования и работы в этой области теперь только отравляли его сознание, доставляя все новые поводы для беспокойства. Лежавшие перед ним папки с готовностью предлагали разнообразные ответы на мучивший его вопрос — какая именно форма наследственности заложена в нем. Вариантов было так много, что он в них терялся. Если он ошибся и не имеет оснований считать себя исключением, особым примером врожденности, то не должен ли он причислить себя к категории возвратной наследственности, проявляющейся через два или даже три поколения? А может быть, его случай просто проявление скрытой наследственности, что было бы новым доказательством его теории зародышевой плазмы? Или здесь следовало усмотреть только разновидность наследственного сходства, связанного с неожиданным влиянием неизвестного предка, которое проявилось у Паскаля на склоне лет? От этих мыслей, от попыток определить свой случай Паскаль совсем потерял покой. Он

перечитал все свои заметки, перерыл все книги, непрестанно анализировал самого себя, подстерегал каждое свое ощущение, чтобы на этом основании сделать соответствующие выводы. В дни, когда им овладевала умственная усталость и ему казалось, будто его обступают какие-то странные видения, он склонялся к тому, что в нем сказывается наследственное нервное заболевание, когда же у него болели и отекали ноги, он приходил к выводу, что своим недугом обязан косвенному влиянию какого-то родственника по боковой линии. Все путалось у него в голове, он дошел до того, что не мог разобраться в воображаемых болезнях, разрушавших его ослабевший организм. Но каждый вечер он приходил все к тому же выводу; все тот же тревожный набат звучал в его голове: наследственность, страшная наследственность, неминуемое безумие!

Как-то раз в первых числах января Клотильда невольно оказалась свидетельницей сцены, от которой у нее сжалось сердце. Она сидела у окна в гостиной и, заслоненная высокой спинкой кресла, читала, как вдруг вошел Паскаль, который с вечера не показывался, запершись в своей комнате. Он держал перед собой развернутый лист пожелтевшей бумаги, в котором она

узнала родословное древо. Он был так поглощен своим занятием, взгляд его был так неотрывно устремлен на бумагу, что если бы даже Клотильда подошла к нему, он все равно не заметил бы ее. Он разложил древо на столе, продолжая всматриваться в него испуганно-вопрошающим взглядом, в котором все сильнее чувствовалась мольба побежденного, по щекам его текли слезы. Почему, о господи? Почему древо не отвечает ему, не указывает, к какому виду наследственности он принадлежит, чтобы он мог зарегистрировать свой случай на отведенном ему листке древа, рядом с другими? Если ему суждено стать безумным, почему оно не дает ему внятного ответа, это успокоило бы его, ведь все его страдания, казалось ему, вызваны только неизвестностью. Слезы застилали ему глаза, а он все вглядывался, снедаемый желанием узнать правду, желанием, которое доводило его до помрачения рассудка. Потом он вдруг двинулся к шкафу, и Клотильда съежилась в кресле. Распахнув обе дверцы, Паскаль вытащил папки, бросил их на стол, начал лихорадочно перебирать. Снова повторилась сцена той ужасной грозовой ночи, — снова призраки, ожившие в этом ворохе страниц, начали свой кошмарный галоп. Каждому из них он бросал

на лету вопрос, горячую мольбу, требуя ответа о происхождении своего недуга, надеясь услышать хоть слово, хоть намек, который открыл бы ему правду. Сперва он что-то неясно бормотал, затем Клотильда стала отчетливо различать отдельные слова, обрывки фраз.

— Это ты? А может, ты? Или ты?.. О прародительница, общая наша мать, не ты ли наградила меня безумием? А может быть, ты, дядя-алкоголик, не за твое ли беспробудное пьянство, старый бандит, я должен теперь расплачиваться? Кто из вас откроет мне истину, объяснив форму болезни, которой я страдаю? Не ты ли, племянник, которому грозит паралич? Или же ты, племянник-фанатик, или ты, племянница-идиотка? А вернее всего, вы, сыновья моей двоюродной сестры, тот, который повесился, или тот, который убил? А может быть, ты, заживо сгнившая троюродная племянница? Чья трагическая кончина указует мне неотвратимый путь в палату для буйнопомешанных, грозит страшным распадом всего моего существа?

И галоп продолжался, — все названные Паскалем родственники вставали со страниц, проносились вихрем. Папки оживали, воплощались в людей, теснивших друг друга, — то было беспоря-

дочное шествие страждущего человечества.

— Ах, кто же мне скажет, кто, кто?.. Не тот ли, кто умер от безумия? Не та ли, кого унесла чахотка? Не тот ли, кого сгубил паралич? Не та ли, кого на заре жизни свела в могилу физиологическая неполноценность? В ком из них тот яд, от которого умру и я? И что это за яд? Истерия, алкоголизм, туберкулез, золотуха? И во что он меня превратит: в эпилептика, в паралитика, в безумца?.. Безумца! Кто сказал — безумца? Они все это повторяют: безумца, безумца, безумца!

Рыдания сдавили горло Паскаля. Изнемогая, сотрясаясь всем телом, он упал головой на свои бумаги и неутешно заплакал. А Клотильда, словно воочию увидев вдруг рок, который тяготеет над семьями из поколения в поколение, в каком-то набожном страхе, удерживая дыхание, потихоньку скрылась: она понимала, какой жгучий стыд охватил бы Паскаля, если бы он только заподозрил, что она здесь.

Паскаль надолго погрузился в уныние. Январь выдался очень холодный. Небо было безоблачно, немеркнущее солнце сияло в прозрачной синеве; а в гостиной Сулейяды, окна которой выходили на юг, держалась мягкая, ровная температура, как в теплице. Не приходилось даже топить,

комнаты не покидало солнце, и в его золотистом сиянии медленно кружились уцелевшие за зиму мухи. Только еле слышное жужжанье нарушало тишину. Усыпляющее уютное тепло царило здесь, как будто в старом доме сохранился уголок, откуда не уходила весна.

Именно здесь услышал однажды утром Паскаль конец разговора, который еще усилил его страдания. Теперь он обычно не выходил из своей комнаты до завтрака, и Клотильда приняла доктора Рамона в залитой солнцем гостиной, где они тихо беседовали вдвоем.

За последнюю неделю Рамон приходил уже в третий раз. Личные причины, особенно необходимость упрочить свое положение в Плассане, принуждали его больше не медлить с женитьбой; и он хотел получить от Клотильды окончательный ответ. Уже два раза присутствие посторонних помешало ему объясниться. Он хотел услышать решение из ее собственных уст и поэтому обратился прямо к ней, вызвав ее на откровенную беседу. Их товарищеские отношения, свойственная обоим рассудительность и прямота поощряли его к этому. И он закончил, улыбаясь и глядя прямо в глаза девушке:

— Поверьте мне, Клотильда, это самое разумное

решение… Вы знаете, что я вас люблю уже давно. Я питаю к вам глубокую нежность и уважение… Быть может, этого было бы мало, но я не сомневаюсь, что мы отлично поладим друг с другом и будем счастливы.

Она не опускала глаз и смотрела на него все так же чистосердечно, с дружелюбной улыбкой. Он и в самом деле был хорош собой, в расцвете молодости и сил.

— А почему бы вам не жениться на дочери поверенного, мадемуазель Левек? Она красивее, богаче меня, и я знаю, она была бы очень счастлива. Добрый друг мой, я боюсь, что вы совершаете ошибку, избрав меня.

Он выслушал ее спокойно, всем своим видом показывая, что убежден в мудрости принятого решения.

— Но я люблю не мадемуазель Левек, а вас… К тому же, повторяю, я все обдумал; я знаю, что делаю. Скажите же «да», для вас это тоже будет самым благоразумным.

Она стала вдруг очень задумчивой, и по ее лицу пробежала тень внутренней, почти не осознанной борьбы, которая в последнее время целиком поглощала ее.

— Ну что ж, друг мой, если вы требуете у меня

серьезного ответа, позвольте мне не давать его вам сегодня и подумать еще несколько недель… Учитель в самом деле тяжело болен, и я не на шутку тревожусь; вы ведь не захотите поймать меня на слове… Уверяю вас, и я очень к вам привязана. Но было бы нехорошо принимать решение в такую минуту, когда наша семья так несчастна… Вы согласны, правда? Я не заставлю вас долго ждать. — И чтобы переменить тему, она добавила: — Учитель очень меня беспокоит. Я хотела вас видеть, посоветоваться именно с вами… На днях я застала его в слезах и поняла, что учителя преследует страх перед безумием… Третьего дня, когда вы беседовали с ним, я заметила, что вы его разглядываете. Скажите мне начистоту, что вы думаете о его состоянии? Ему грозит опасность?

— Да что вы! — запротестовал доктор Рамон. — Он просто переутомился, расклеился, вот и все! Но меня удивляет, что Паскаль, человек таких познаний, столь долго изучавший нервные болезни, может так глубоко заблуждаться. Если уж этот ясный и мощный ум способен дать подобную осечку, есть от чего прийти в отчаяние! При его заболевании нет ничего лучше открытых им подкожных впрыскиваний. Почему он не прибегает к ним?

Когда же девушка с отчаянием развела руками, объяснив, что Паскаль не хочет ее слушать, что она не смеет ни с чем к нему обращаться, Рамон добавил:

— В таком случае я поговорю с ним сам.

Как раз в эту минуту Паскаль вышел из своей комнаты, привлеченный звуком голосов. Но, увидев их вместе, рядом, таких оживленных, молодых и красивых, в ярком свете солнца, точно в солнечной одежде, он застыл на пороге. Глаза его расширились, бледное лицо исказилось.

Тем временем Рамон схватил Клотильду за руку, желая задержать девушку хоть на мгновенье.

— Вы обещаете, правда? Я хочу, чтобы мы повенчались летом... Вы знаете, как я вас люблю... Я буду ждать вашего ответа.

— Вот и хорошо, — сказала она, — не пройдет и месяца, как все будет решено.

В глазах у Паскаля потемнело, он пошатнулся. Теперь и этот юноша, друг, ученик втерся к нему в дом, чтобы выкрасть его сокровище! Он должен был предвидеть такую развязку, а между тем внезапное известие о возможном браке Клотильды застало его врасплох, обрушилось как непредвиденная беда, которая его неминуемо доконает. Значит, это существо, которое он создал, считал

своим, уйдет от него без сожаления, оставит умирать в полном одиночестве. Еще недавно она причинила ему такую боль, что он уже подумывал, не лучше ли расстаться с ней, отослать к брату, который все время ее приглашал. Была минута, когда он уже решился на эту разлуку во имя покоя обоих. И вдруг нежданно-негаданно он застает ее с этим человеком, слышит, как она обещает ему дать ответ, понимает, что она выйдет замуж, скоро покинет его; это был удар ножа в самое сердце!

Паскаль вошел, тяжело ступая, молодые люди обернулись, слегка смутившись.

— Как вы кстати, учитель, речь шла о вас, — нашелся Рамон. — Надо признаться, что мы составили против вас заговор… Скажите, почему вы не хотите лечиться? Ведь у вас нет ничего серьезного, вы поправитесь через две недели.

Опустившись на стул, Паскаль не сводил с них глаз. У него достало сил справиться с собой и скрыть боль от нанесенной ему раны. А ведь рана эта смертельная, и никто не узнает, что свело его в могилу. Но Паскалю доставляло удовольствие лелеять обиду, и он наотрез отказался принять хотя бы стакан целебного отвара.

— Лечиться? К чему? Разве моим старым костям

не пора на покой?

Рамон настаивал со своей всегдашней спокойной улыбкой:

— Да вы крепче всех нас! Это временный упадок сил, и вы отлично знаете, что у вас есть от него лекарство… Сделайте себе впрыскивание…

Эти слова были последней каплей. Паскаль оборвал Рамона. Он был в ярости — не хотят ли они, чтобы он и себя отправил на тот свет, как отправил Лафуаса. Его впрыскивания! Нечего сказать — прекрасное открытие, есть чем гордиться! И Паскаль стал отрицать пользу врачевания, клялся, что никогда не подойдет близко ни к одному больному. Если больше ни на что не годишься — подыхай, так лучше и для тебя, и для всех окружающих. Впрочем, опасаться нечего, он долго не заживется!

— Полно, полно! — увещевал его Рамон и, чтобы не раздражать Паскаля еще больше, встал, намереваясь уйти. — Я оставляю с вами Клотильду и вполне спокоен… Она все уладит.

Но удар, полученный Паскалем этим утром, переполнил чашу. С вечера он слег и целые сутки не выходил из своей спальни. Клотильда начала тревожиться, но тщетно стучала она изо всей силы к нему в дверь: ни слова, ни звука. Пришла

и Мартина, прильнув к замочной скважине, она умоляла хозяина только сказать, не нужно ли ему чего-нибудь. Ответом ей было полное молчание, казалось, в комнате все вымерло. Но на другое утро девушка нечаянно повернула ручку, и дверь подалась, быть может, она была открыта уже давно. Теперь Клотильде ничто не мешало войти в спальню Паскаля, порога которой она ни разу не переступала; в этой большой комнате, с окнами на север, а потому довольно холодной, стояла только узкая железная кровать без полога, приспособление для душа в углу, продолговатый стол черного дерева, стулья, а на столе, на полках вдоль стен разместилась настоящая лаборатория алхимика: ступки, спиртовки, тигли, наборы инструментов. Паскаль, уже одетый, сидел на краю постели, которую с большим трудом оправил.

— Ты все еще не хочешь, чтобы я за тобой ухаживала? — спросила Клотильда, взволнованно и боязливо, не осмеливаясь подойти ближе.

Он устало отмахнулся.

— Можешь войти, я не побью тебя, я слишком слаб!

С этого дня он терпел ее присутствие, разрешал за собой ухаживать. Однако у него были свои капризы, — из-за какой-то болезненной

стыдливости он не позволял ей входить, когда лежал в постели, и требовал, чтобы вместо себя она присылала Мартину. Впрочем, лежал он редко и пересаживался с места на место, не имея сил приняться за какую-либо работу. Болезнь усугубилась, он дошел до полного отчаяния, его мучили мигрени и боли в желудке, он утверждал, что не в состоянии передвигать ноги, и каждое утро просыпался уверенный, что вечером будет ночевать в Тюлет, в палате для буйных. Он исхудал, его страдальческое лицо в ореоле седых волос, которые он по-прежнему тщательно причесывал, было трагически прекрасным. Но если он и соглашался, чтобы за ним ухаживали, то резко отвергал все лекарства, так как окончательно потерял веру в медицину.

Теперь у Клотильды не было других занятий, кроме ухода за ним. Она отрешилась от всего остального, сначала она еще ходила к ранней обедне, но затем совершенно перестала посещать церковь. Казалось, отдавая каждую минуту дорогому ей человеку, которого она мечтала увидеть вновь добродушным и жизнерадостным, она нашла наконец удовлетворение своей вечной жажде счастья без промедления. Это было добровольным даром всей себя, полным самоот-

речением, потребностью обрести свое счастье в счастье другого; она поступала так, не рассуждая, по велению своего женского сердца, не сознавая, что пережитый ею кризис преобразил все ее существо. Она больше не заговаривала о происшедшей между ними размолвке, но была еще далека от мысли броситься в его объятья, крича, что принадлежит ему и он должен воскреснуть для жизни, ибо она — его собственность. Девушка думала, что относится к нему как любящая дочь, всякая другая родственница на ее месте ухаживала бы за ним точно так же. Все, что она делала, было овеяно чистотой, целомудрием: внимательный уход, предупредительные заботы так заполнили ее жизнь, она была так поглощена единственным желанием вылечить его, что дни текли быстро и было не до мучительных вопросов о потустороннем мире.

Но для того, чтобы заставить его делать впрыскивания, ей пришлось выдержать настоящую борьбу. Он выходил из себя, отрицал ценность своего открытия, называя себя олухом. Она тоже кричала в ответ. Теперь верила в науку она, негодовала она, видя, что он усомнился в собственном гении. Он долго упорствовал, наконец, не в силах противиться ее власти, уступил, желая

избежать нежных попреков, какими она осыпала его каждое утро. После первых же впрыскиваний он испытал огромное облегчение, хотя и отказывался это признать. В голове у него прояснилось, силы мало-помалу возвращались. Теперь торжествовала Клотильда, она гордилась Паскалем, восхваляла его открытие и возмущалась, что он не радуется, глядя на самого себя — живой пример чудес, какие он может творить. Паскаль улыбался, он лучше начинал разбираться в собственном заболевании. Рамон прав: это просто нервное истощение. И кто знает, пожалуй, все обойдется.

— Это ты приносишь мне исцеление, девочка, — говорил он, не смея признаться в своих надеждах. — Понимаешь ли, дело не в лекарствах, а в руке, которая их дает.

Выздоровление затянулось на весь февраль. Погода оставалась такой же ясной и холодной, но по-прежнему не было дня, чтобы бледное, зимнее солнце не согревало бы гостиной. И все же порой Паскалем овладевали приступы черной меланхолии, когда больной вновь поддавался своим страхам, а его сиделка, отчаявшись, усаживалась в дальнем углу комнаты, чтобы не раздражать его понапрасну. В такие минуты он снова терял надежду на выздоровление. Он становился желч-

ным, язвительным.

В один из таких дурных дней, приблизившись к окну, Паскаль увидел своего соседа г-на Белломбра, отставного учителя, который осматривал фруктовые деревья у себя в саду, желая удостовериться, много ли на них завязей. Вид этого подтянутого, держащегося так прямо старика, преисполненного великолепного эгоистического спокойствия и, казалось, не ведавшего болезней, внезапно вывел Паскаля из равновесия.

— Вот, — закричал он, — вот кто никогда не позволит себе переутомиться, не подвергнет себя ни малейшему огорчению.

И, придравшись к случаю, он произнес иронический хвалу эгоизму. Быть одиноким как перст, не иметь ни друга, ни жены, ни ребенка, — какое блаженство! Поглядите на этого черствого скупца. В течение сорока лет он только и делал, что награждал оплеухами чужих детей, а теперь ушел на покой и живет вдвоем с глухонемым садовником, еще более старым, чем он сам, и даже пса не завел. Да разве он не воплощение высшего счастья на земле? Ни обязанностей, ни тревог, и лишь одна забота о своем драгоценном здоровье! Вот мудрец, он проживет до ста лет!

— Ох уж этот страх перед жизнью! Решительно

нет более разумного порока! Подумать только, ведь порой во мне шевелится сожаление, что у меня нет собственного ребенка! Да кто из нас имеет право производить на свет несчастных? Нужно пресечь дурную наследственность, истребить жизнь... Вот и выходит, что единственный порядочный человек — этот старый трус!

Господин Белломбр мирно продолжал осматривать свои грушевые деревья, освещенные ласковым мартовским солнцем. Он не позволял себе ни одного резкого движения, он щадил свою почтенную старость. Увидев на дорожке камешек, он отстранил его кончиком палки, после чего не спеша проследовал дальше.

— Полюбуйся на него! Как он сохранился! Молодец хоть куда! Можно подумать, что на нем почиет божья благодать. Право, я не знаю никого счастливее!

Клотильда грустно молчала, понимая, какую боль причиняет эта ирония самому Паскалю. Она всегда защищала г-на Белломбра, а тут почувствовала, как в ней поднимается протест. Слезы навернулись у нее на глаза, и она тихо сказала:

— Да, но его никто не любит!

Это сразу положило конец тягостной сцене. Паскаль, — словно кто-то его толкнул, — обернул-

ся, поглядел на нее. Внезапно он почувствовал себя растроганным до слез и отошел, чтобы не заплакать.

Прошло еще несколько дней, хорошие минуты сменялись дурными. Силы возвращались к Паскалю очень медленно, его приводило в отчаяние, что стоит ему взяться за работу, как он покрывается испариной. И наверняка, если бы он упорствовал, то довел бы себя до обморока. Паскаль понимал, что его здоровье мало-помалу восстановится, если он не будет спешить с работой. Между тем он вновь обрел интерес к прежним исследованиям, стал перечитывать последние написанные им страницы; но едва в Паскале вновь пробудился ученый, как им тотчас овладели привычные подозрения. В период, когда он находился в состоянии нравственного упадка, все окружающее как будто перестало для него существовать: его можно было ограбить, уничтожить, разрушить все его труды, и он даже не осознал бы несчастья. Теперь он опять был настороже и то и дело ощупывал свой карман, чтобы удостовериться, там ли ключ от шкафа.

Однажды, проснувшись утром позже обычного и выйдя из спальни только к одиннадцати часам, Паскаль увидел в кабинете Клотильду, она спо-

койно срисовывала ветку цветущего миндаля. Девушка, улыбаясь, подняла голову и, взяв ключ, лежавший перед ней на конторке, протянула ему со словами:

— Возьми, учитель.

Он удивленно смотрел на ключ в ее руке, еще ничего не понимая.

— Что это?

— Ключ от шкафа, ты, должно быть, выронил его вчера из кармана, а я нашла его сегодня утром.

В глубоком волнении Паскаль взял ключ. Он смотрел на него, смотрел на Клотильду. Неужели это кончено? Она перестанет его преследовать, откажется от яростных попыток все истребить, все сжечь? И, видя, что и она тоже очень взволнована, Паскаль почувствовал безмерную радость.

Он схватил ее в объятия, поцеловал.

— Ах, девочка, если б только мы могли быть немного счастливее!

Затем он открыл ящик стола и бросил туда ключ, как в прежние времена.

С этого дня силы Паскаля начали восстанавливаться, и выздоровление пошло быстрыми шагами. Правда, рецидив был возможен, потому что Паскаль еще далеко не оправился. Но он уже

мог писать, и все в доме вздохнули с облегчением. Солнце тоже возрадовалось, так что порой из-за жары в гостиной приходилось прикрывать ставни. Паскаль не хотел никого видеть, с трудом терпел присутствие Мартины, и когда мать заходила справиться о его здоровье, приказывал отвечать ей, что спит. Он чувствовал отраду, только когда был наедине со вчерашней мятежницей и врагом, сегодня — покорной ученицей, которая нежно ухаживала за ним. Они подолгу молчали, не испытывая при этом никакой неловкости. И все мысли и мечты навевали на них сладостный покой.

Но однажды на лице Паскаля снова появилось озабоченное выражение. Хотя он теперь уверился, что его болезнь — чистая случайность и наследственность не играет в ней никакой роли, его не покидало чувство уничижения.

— Боже ты мой, — бормотал он, — как мы ничтожны! Я-то верил в свои силы, гордился своим разумом! И вот какая-то толика горя, усталости — и я едва не сошел с ума!

Он умолк, вновь предавшись размышлениям. Но превозмог себя, глаза его прояснились, и, собрав все свое мужество и благоразумие, он наконец решился:

— Если мне и в самом деле лучше, то больше всего я рад за тебя.

Клотильда подняла голову.

— Как это? — в недоумении спросила она.

— Да просто по случаю твоей свадьбы… Теперь можно назначить день.

Она была поражена.

— Ах да, и в самом деле, моя свадьба!

— Хочешь, назначим ее, не откладывая, на вторую неделю июня?

— Что ж, пусть будет вторая неделя июня, очень хорошо!

Больше они не говорили об этом. Она перевела взгляд на шитье, а он сидел неподвижно, с задумчивым лицом, устремив глаза в даль.

VII

Явившись в этот день в Сулейяду, старая г-жа Ругон увидела в огороде Мартину, которая сажала лук-порей; воспользовавшись удобным случаем, она, прежде чем войти в дом, направилась к служанке, чтобы поговорить с ней и выведать нужные сведения.

Время шло, и Фелисите была в отчаянии от поведения Клотильды, считая его отступничеством. Она хорошо понимала, что теперь уже ей никогда не заполучить папок с помощью внучки. Девочка губила себя, она снова сблизилась с Паскалем со времени его болезни и настолько развратилась, что уже больше не ходила в церковь. Вот тут-то Фелисите и вернулась к своему первоначальному плану: удалить Клотильду и, когда сын останется один, сломленный одиночеством, вновь его завоевать. Раз уж г-же Ругон не удалось убедить Клотильду уехать к брату, она во что бы то ни стало хотела выдать ее замуж, — и, недовольная постоянными отсрочками, была готова хоть завтра же толкнуть ее в объятия доктора Рамона. Вот и сейчас она прибежала сюда, горя желанием

ускорить ход событий.

— Добрый день, Мартина… Как идут дела?

Не вставая с колен, перепачканная землей, служанка подняла бледное лицо, которое защищал от солнца носовой платок, повязанный поверх чепчика.

— Как всегда, сударыня, потихоньку.

И они принялись беседовать. Фелисите относилась к Мартине как к поверенной, как к преданной служанке, ставшей за давностью времени членом семьи, с которым можно говорить начистоту. Она начала ее расспрашивать, не приходил ли утром доктор Рамон, и услышала в ответ, что он приходил, но уж наверняка разговор шел только о самых незначительных вещах. Г-жа Ругон пришла в отчаяние — накануне она встретила доктора, и он признался ей, что очень огорчен, все еще не имея окончательного ответа, и хочет заручиться хотя бы обещанием Клотильды. Дольше так продолжаться не может, надо заставить девушку дать слово.

— Он слишком деликатничает, — воскликнула Фелисите, — я это прямо ему сказала, так я и знала, что у него опять не хватит духа припереть ее к стене. Но теперь за это возьмусь я. Увидим, добьюсь ли я наконец, чтобы девочка приняла

решение. — И, немного успокоившись, добавила: — Теперь мой сын уже окреп, она ему больше не нужна.

Мартина, которая, согнувшись в три погибели, снова было принялась за лук-порей, быстро выпрямилась:

— Вот уж что верно, то верно.

И ее лицо, изможденное тридцатилетней работой в услужении, залилось краской. С тех пор как доктор с трудом выносил присутствие Мартины, в ее душе будто кровоточила рана. За время болезни Паскаль отдалил от себя служанку, все реже и реже пользуясь ее услугами, и в конце концов запер для нее двери своей комнаты. Она смутно догадывалась, что происходит, и ее мучила бессознательная ревность к обожаемому хозяину, которому служила с собачьей преданностью уже столько лет.

— И то правда, барышня нам ни к чему… Хозяину хватит и меня одной.

И она, такая несловоохотливая обычно, заговорила о своей работе в саду, рассказала, что улучает время сажать овощи, чтобы сэкономить деньги и не брать поденщика. Ну конечно, дом большой, но, если не бояться работы — можно все успеть. К тому же, если барышня их покинет, —

как-никак одним человеком станет меньше. И глаза ее невольно заблестели при мысли о блаженном уединении, о мире и покое, какой они будут вкушать после отъезда Клотильды.

Понизив голос, она продолжала:

— Жаль, конечно, хозяин будет скучать. Да и я сама не поверила бы, что когда-нибудь захочу разлуки с барышней. Только я думаю, как и вы, сударыня, что без этого не обойтись, уж очень я боюсь, как бы барышня не испортилась здесь вконец, и тогда одной праведной душой станет меньше. Ох, беда, у меня иной раз сердце так ноет, так ноет, ну, право, вот-вот разорвется!..

— Они, верно, оба наверху? — спросила Фелисите. — Я сейчас поднимусь к ним и заставлю их покончить с этим делом.

Часом позже Фелисите спустилась к Мартине, которая все еще копошилась возле грядок, заканчивая свои посадки. Как только г-жа Ругон рассказала там, наверху, сыну и внучке о своей беседе с доктором Рамоном, которому не терпелось узнать о своей судьбе, Паскаль тотчас с ней согласился: он был задумчив, кивал головой, как бы желая сказать, что нетерпение Рамона вполне естественно. Даже Клотильда, перестав улыбаться, казалось, прислушалась к ее словам, однако

она выказала некоторое удивление. Почему ее торопят? Учитель назначил свадьбу на вторую неделю июня — у нее еще добрых два месяца. В ближайшие дни она переговорит обо всем с Рамоном. Замужество — дело настолько серьезное, что неплохо дать ей поразмыслить и не торопить с решением до последней минуты. Впрочем, она говорила, как всегда, рассудительно, словно человек, решившийся на определенный шаг. И Фелисите не оставалось ничего иного, как удовлетвориться тем, что Паскаль и Клотильда склонны прийти к наиболее разумной развязке.

— Пожалуй, дело действительно слажено, — заключила Фелисите. — Судя по всему, Паскаль и впрямь больше не намерен чинить препятствий, а она, видно, не торопится лишь потому, что так и полагается девушке, которая хочет все взвесить, прежде чем связать себя на всю жизнь… Я дам ей еще недельку на размышление.

Сидя на корточках, Мартина уставилась взглядом в землю, и лицо ее потемнело.

— Вот то-то и оно, — пробормотала она еле слышно, — с некоторых пор барышня все о чем-то размышляет. Что ни день я нахожу ее где-нибудь в уголке. Ей говоришь — она не отвечает… Совсем как люди, в которых сидит хворь и они это чуют…

Ну и дела творятся у нас, и барышня не та, что была, совсем не та…

И Мартина вновь ретиво схватила колышек, сделала ямку и посадила в нее луковицу, а старая г-жа Ругон удалилась несколько успокоенная и, по ее словам, твердо уверенная, что свадьба состоится.

Паскаль, казалось, и вправду принял замужество Клотильды как дело решенное, неизбежное. Он больше не заговаривал об этом с племянницей; и если порой в их разговоре проскальзывали намеки на предстоявшее событие, это не вызывало у них волнения, словно двум месяцам, которые им оставалось прожить вместе, не предвиделось конца и они будут длиться вечно. А Клотильда, глядя на Паскаля с улыбкой, каким-то неопределенным жестом отмахивалась от всех неприятных разговоров и решений, словно говоря, что со временем все уладится. Паскаль выздоравливал, ощущая, как силы прибывают с каждым днем, и только по вечерам, когда Клотильда уходила к себе, ему было тоскливо возвращаться в свою холостяцкую спальню. При мысли о неизбежном одиночестве Паскаля пробирала дрожь. Не подкравшаяся ли старость леденит его, вызывает озноб? Она мерещилась ему издали, как царство

мрака, и он уже заранее ощущал, как иссякают его силы. В эти минуты сожалений о том, что у него нет жены, нет ребенка, душа его роптала, сердце сжималось нестерпимой тоской.

Ах, почему он так мало пользовался жизнью! Бывали ночи, когда он проклинал науку, обвиняя ее в том, что она отняла у него лучшие годы молодости. Работа поглотила Паскаля целиком: съела его мозг, сердце, мускулы. Эта никем не разделенная страсть породила только кипы бумаг, которые, без сомнения, развеет ветер, да книги, чьи бездушные листы леденили ему руки. И нет подле него теплой женской груди, к которой он мог бы прильнуть, нет детской головки, кудрявой и теплой, которую можно поцеловать! Он прожил жизнь одиноко, одиноко и умрет на своем холодном ложе ученого-эгоиста. Неужели он и в самом деле умрет так? И не изведает счастья, доступного простым грузчикам, ломовым извозчикам, которые щелкали кнутами у него под окнами? Он приходил в лихорадочное возбуждение при мысли, что должен торопиться, иначе будет поздно. Вся его нерастраченная юность, все подавленные им желания, казалось, ополчились против него, и кровь в нем забурлила. Он клялся, что еще изведает любовь, начнет жизнь снача-

ла, чтобы испить до дна чашу страсти, которой до сих пор не вкусил, отведает счастья, пока не стал стариком. Он будет стучать во все двери, останавливать прохожих, обойдет все поля, весь город. Но наутро, когда Паскаль выходил из своей комнаты после холодного душа, лихорадка утихала, жгучие видения исчезали, он опять впадал в привычную застенчивость. А следующей ночью страх перед одиночеством снова вызывал бессонницу, кровь его распалялась, плоть восставала, и он испытывал то же отчаяние, то же страстное желание познать женщину, прежде чем умереть.

В эти испепеляющие ночи, когда он лежал в темноте с широко раскрытыми глазами, перед ним возникала все та же мечта: юная странница, прекрасная двадцатилетняя девушка входила в его дом, опускалась перед ним на колени, глядела на него со смиренным обожанием, и он сочетался с ней. Это была одна из тех посланниц любви, о которых рассказывают старинные предания; ведомая звездой, она появлялась, чтобы одарить здоровьем и силой могущественного, увенчанного славой старого царя. Он сам был этим старым царем, она поклонялась ему и, принося в дар свою молодость, свои двадцать

лет, совершала чудо. Он выходил победителем из ее объятий, обретя вновь мужество и веру в жизнь. В хранившейся у Паскаля Библии XV века, которая была украшена наивными гравюрами на дереве, его особенно привлекала одна картинка — престарелый царь Давид, возвращаясь в свою опочивальню, опирается на обнаженное плечо Ависаги, молодой сунамитянки. На следующей странице был текст: «Когда царь Давид состарился, вошел в преклонные лета, то покрывали его одеждами, но не мог он согреться. И сказали ему слуги его: "Пусть поищут для господина нашего царя молодую девицу, чтобы она предстояла царю и ходила за ним и лежала с ним, — и будет тепло господину нашему царю". И искали красивой девицы во всех пределах израильских, и нашли Ависагу, сунамитянку, и привели ее к царю, девушка была очень красива, и ходила она за царем, и прислуживала ему...» Не испытывал ли он теперь, когда ложился спать в мрачном уединении своей спальни, ту же дрожь, какая охватывала старого царя? А проходящая мимо девушка, посланница любви, созданная его мечтой, не была ли она благочестивой и покорной Ависагой, любящей рабыней, которая отдает всю себя своему господину единственно ради его

блага? Она всегда сопутствовала ему в мечтах, послушная каждому его желанию, счастливая, что может раствориться в нем; такая прекрасная, что ее дивная красота озаряла его немеркнущей радостью, ее нежность будто омывала его благовонным бальзамом. Порой, когда он перелистывал старинную Библию, перед его глазами мелькали другие картинки, и его воображение уносилось в этот исчезнувший мир патриархов и царей. Какая вера в долголетие мужчины, в его созидающую силу, в его всемогущую власть над женщиной таилась в необыкновенных преданиях о столетних старцах, которые оплодотворяют своих жен, принимают на свое ложе служанок, дарят любовью молодых вдов и дев, проходящих мимо! Таков был столетний Авраам, отец Измаила и Исаака, муж своей сестры Сары, — господин, покорный своей служанке Агари. Такова была чудесная идиллия Вооза и Руфи, молодой вдовы, прибывшей во время жатвы в Вифлеем и возлегшей теплой ночью у ног господина, который понял, какого права она добивается, и женился на ней, согласно закону родства. В этом чувствовался вольный порыв сильного, жизнеспособного народа, деяниям которого суждено было покорить мир; мужчины с неоскудевающей

мужской силой, женщины с вечно плодоносящим чревом, — упорное и бурное стремление к продолжению рода, среди разгула преступлений, прелюбодеяний, кровосмешений, любви, не считающейся ни с возрастом, ни с рассудком! И когда он глядел на эти старые наивные картинки, его мечта обретала реальность. Ависага входила в его грустную спальню, наполняла ее светом и благоуханием и, раскрывая объятья, предлагала ему свою божественную наготу, приносила царственный дар своей юности.

О, юность! Как он изголодался по ней! На склоне лет — эта снедавшая его неутолимая жажда молодости была бунтом против угрожающей старости, отчаянным стремлением вернуться вспять, начать все сызнова. И в этой потребности начать все сызнова выражалось не только сожаление о былой любви, которой воспоминание придает особую прелесть, — в Паскале кипело желание на этот раз досыта насладиться своим здоровьем и силой, изведать всю сладость любви. О, юность! С какой жадностью впился бы он в нее зубами, с каким упоением пережил бы ее вновь, испил бы до дна, без остатка, пока не пришла старость. Его охватывала тоска при воспоминании о том, каким он был в двадцать лет, стройный, крепкий,

словно молодой дубок, зубы сверкали, волосы были черные и густые! Как он упивался бы сейчас этими дарами, которые презирал когда-то, если бы они чудом вернулись к нему! И молодость каждой случайно встреченной девушки волновала его, внушала глубокую нежность. Чаще всего его влекло не к той или иной женщине, а к самой юности, ее сиянию, благоуханию ее чистоты, ясному взору, свежим устам, нежному цвету лица; но в особенности трогал его вид нежной округлой шейки с пушистыми завитками на затылке; молодость всегда рисовалась ему в образе изящной статной женщины, божественно стройной в своей безмятежной наготе. Он следил взглядом за этим видением, сердце наполнялось ненасытным желанием. На свете прекрасна и желанна только молодость, она цветок жизни, единственная красота, она и здоровье — вот единственное истинное благо, каким природа может одарить человека. Да! начать все сызнова, быть снова молодым, держать в своих объятиях юную женщину, обладать ею!

В прекрасные апрельские дни, когда цвели фруктовые деревья, Паскаль и Клотильда возобновили утренние прогулки по Сулейяде. Это были первые шаги выздоравливающего — Клотильда

уводила его на ток, опаленный зноем, или гуляла с ним по дорожкам сосновой рощи, потом они возвращались на террасу, которую пересекали длинные тени двух столетних кипарисов. Старые плиты белели на солнце, вдали под сияющим небом расстилались необъятные дали.

Однажды утром после прогулки Клотильда вернулась домой оживленная, искрящаяся смехом и, поднявшись в гостиную, в радостном возбуждении позабыла снять широкополую летнюю шляпу и легкую кружевную косынку, которой повязала шею.

— Уф! как жарко!.. — воскликнула она. — Вот глупо, что я не оставила всего этого внизу! Сейчас пойду отнесу!

Войдя, она бросила косынку на кресло. Но ей не терпелось развязать ленты своей большой соломенной шляпы.

— Ну, вот так и есть! Я слишком затянула узел. Сама, без твоей помощи я ни за что не распутаю!

Паскаль, тоже возбужденный приятной прогулкой, оживился еще больше, любуясь красотой развеселившейся Клотильды. Он подошел к ней вплотную.

— Постой, подними подбородок… Да ты все время шевелишься, как же ты хочешь, чтобы я

справился!

Она начала смеяться еще громче, и он видел, как ее грудь трепещет от смеха. Пальцы доктора путались в завязках, и ему невольно приходилось касаться ее теплой, шелковистой кожи. От платья с глубоким вырезом исходил пьянящий аромат женщины, свежий аромат юности, согретой жарким солнцем. Внезапно у Паскаля потемнело в глазах, ему показалось, что он вот-вот потеряет сознание.

— Нет, нет! я ни за что не распутаю узел, если ты не будешь стоять спокойно.

Кровь стучала у него в висках, пальцы дрожали, а она откидывалась назад, бессознательно искушая его своей девственной прелестью. Вот она, царственная юность его грезы: ясный взор, свежие уста, нежный цвет лица и, в особенности, нежная округлая шейка с пушистыми завитками на затылке. Такой она была перед его глазами: изящная, стройная, с маленькой грудью, во всем своем божественном расцвете.

— Готово! Все в порядке! — воскликнула она.

Он сам не знал, как ему удалось развязать узелок. Стены плыли перед его глазами, но он видел, как, освободившись от шляпы, она, смеясь и сияя своей ослепительной красотой, встряхивала зо-

лотистыми кудрями. Он испугался, что не устоит, схватит ее в объятия и покроет поцелуями каждое местечко, где хоть немного сквозит ее нагота. Он спасся бегством, не выпуская шляпу из рук и бормоча:

— Я отнесу шляпу в переднюю. Подожди меня, мне надо поговорить с Мартиной.

Внизу он забился в пустой кабинет и запер дверь на ключ, трепеща при мысли, что Клотильда забеспокоится и прибежит за ним. Он был растерян, ошеломлен, словно только что совершил преступление. Он заговорил вслух, он весь дрожал от вырвавшегося у него признания: «Я всегда ее любил, всегда безумно желал!» Да, он боготворил ее с тех пор, как она стала пленительной женщиной. Он вдруг прозрел, понял, что Клотильда уже больше не шустрый подросток, а полная прелести и любви девушка, с длинными точеными ногами, стройным станом, округлившейся грудью, нежными, гибкими руками. Ее шея и шелковистые плечи отливали молочной белизной и были непередаваемо нежны. Как ни чудовищно это казалось, но это было так — он жаждал насытиться красотой, неудержимо жаждал юности, девственного, благоуханного тела.

Опустившись на колченогий стул, Паскаль

закрыл лицо руками, словно не желая больше видеть дневного света, и разразился рыданиями. Боже мой! Что с ним будет? Девочка, доверенная ему братом, которую он воспитал как отец, стала сегодня двадцатипятилетней искусительницей, женщиной во всем ее могуществе! Он чувствовал себя беспомощнее, безоружнее малого ребенка.

Он любил Клотильду не только плотской любовью, он чувствовал к ней бесконечную нежность, очарованный ее нравственной чистотой, искренностью чувств, изящным умом, таким смелым и ясным. И даже то, что привело к раздору между ними — безудержное тяготение Клотильды к непостижимому, — делало ее еще милее его сердцу, именно потому, что она была существом, столь на него непохожим, и в этом он видел отражение бесконечного разнообразия природы. Она нравилась Паскалю и когда давала ему отпор и бунтовала против него. Она была его подругой и ученицей, и он воспринимал ее такой, какой сам создал, — наделенной великодушным сердцем, страстной правдивостью, побеждающим разумом. Она была ему необходима как воздух; он не представлял себе жизни без нее: он должен был слышать ее дыхание, шелест ее платья рядом с собой, ощущать ее нежность, неуловимую

женственность — все то, чем она наполняла их повседневную жизнь и чего у нее недостанет жестокости у него отнять. При мысли, что она может уйти из его жизни, он чувствовал, будто над его головой рушится небо, — это был конец света, вечный мрак. В мире существовала она одна, она одна была благородной и доброй, мудрой и разумной, только она обладала чудодейственной красотой. Он поклонялся ей, но он же был ее властелином, — так почему не побежать наверх, не схватить в объятья, не осыпать поцелуями это обожаемое существо? Оба они были свободны, для нее не было тайн в природе, и ей пришла пора стать женщиной. Это означало бы счастье.

Паскаль больше не плакал, он поднялся, хотел направиться к двери. Но внезапно под бременем своего горя вновь, рыдая, упал на стул. Нет, нет! Это отвратительно! Это невозможно! И вдруг он впервые ощутил седину своих волос, и его объял холод; ей двадцать пять лет, ему пятьдесят девять. И Паскаль снова задрожал при страшной мысли, что он целиком во власти Клотильды и что ему не устоять перед ежедневным искушением. Он вспоминал, как она попросила его развязать ленты, представил себе, как она зовет его, заставляет склониться к ней, чтобы он поправил ее работу,

и как, ослепленный, обезумевший, он осыпает поцелуями ее шею, затылок. Или, что еще хуже, он представлял себе, как они вдвоем засиживаются вечером впотьмах, не в силах преодолеть охватившего их томления, и ночь-сообщница неминуемо, неудержимо толкает Клотильду в его объятья. В нем закипал великий гнев против такой возможной, даже неизбежной развязки, если только он не найдет в себе мужества расстаться с Клотильдой. С его стороны это было бы самым страшным преступлением, он злоупотребил бы доверием девушки, подло совратил бы ее. Его возмущение собой было так велико, что он нашел в себе силы встать и мужественно направиться в кабинет с твердым решением победить себя.

Наверху Клотильда преспокойно сидела за рисунком. Не повернув даже головы, она лукаво заметила:

— Как долго ты пробыл внизу! Я уже подумала, что Мартина в своих подсчетах ошиблась на десять су!

Эта обычная шутка над скупостью служанки рассмешила его. И он тоже спокойно уселся за стол. Больше они не разговаривали до самого завтрака. С той минуты, как он оказался подле нее, его охватило блаженное успокоение. Он

осмелился на нее взглянуть, его растрогали ее изящный профиль, серьезное выражение лица, как у ребенка, который старается быть прилежным. Не было ли просто наваждением то, что он испытал внизу? Неужели ему удастся так легко справиться с собой?

— Ага! У меня появился аппетит! Посмотри только, как окрепли мои мускулы! — воскликнул он, когда Мартина позвала их завтракать.

Она беспечно подбежала и пощупала его руку.

— Вот это славно, учитель! Ты должен быть веселым и сильным!

Но ночью в спальне муки возобновились. При мысли, что он может потерять Клотильду, Паскаль зарылся лицом в подушку, чтобы заглушить стоны. Видения обозначились яснее; он представлял ее в объятиях другого, дарящую другому свое девственное тело, и его терзала безумная ревность. Нет, никогда у него недостанет мужества согласиться на подобную жертву. Тысячи разных планов теснились в его бедном, измученном мозгу: расстроить ее замужество, удержать ее подле себя, не давая заподозрить свою страсть, уехать с ней путешествовать по разным городам, с головой погрузиться в совместную работу, чтобы только сохранить их дружбу учителя и ученицы;

или даже, если на то пошло, отослать ее к брату, чтобы она стала сиделкой Максима, — лишиться ее навсегда, лишь бы только никому не отдать. Он готов уже был решиться на это, но каждый раз его сердце разрывалось на части, истекало кровью, — так властно говорило в нем желание обладать ею безраздельно. Паскалю теперь было мало одного ее присутствия, он хотел, чтобы она принадлежала ему, ему одному, жила для него, была такая, какой возникала перед ним во мраке спальни, во всей своей лучезарной девственной наготе, прикрытая только волнами рассыпавшихся волос. Его руки обняли пустоту, он вскочил с постели, шатаясь, как человек, выпивший лишнее; и очнулся от своего внезапного безумия, только когда заметил, что стоит босиком на полу в безмолвной, темной гостиной. Великий боже, куда же он направляется? Стучать в дверь к этой уснувшей девочке? Может статься, высадить дверь плечом? Ему почудилось, что в полной тишине до него доносится чистое дыхание, оно ударило ему прямо в лицо, отрезвило его, словно то было священное дуновение. И он вернулся к себе, рухнул на постель в приступе стыда и безысходного отчаяния.

Паскаль встал утром разбитый бессонницей,

но полный решимости. Приняв, как обычно, душ, он почувствовал себя бодрее и крепче. Он решил принудить Клотильду выполнить обещание, данное ею Рамону. Паскалю казалось, что, когда она официально примет предложение молодого человека, этот непоправимый шаг положит предел его собственным безумным надеждам и принесет ему облегчение. Это будет между ними лишней преградой, которую переступить нельзя. Тогда он окажется вооруженным против своей страсти, и если ему еще предстоит страдать — это будет только страдание, без примеси страха стать бесчестным человеком и ворваться к ней ночью, чтобы не уступить ее другому.

Утром, когда он заявил Клотильде, что больше медлить невозможно и она обязана дать окончательный ответ достойному молодому человеку, который ждет ее так давно, девушка сначала, по-видимому, удивилась. Она посмотрела на него в упор; но у него хватило мужества не дрогнуть, и он продолжал настаивать на своем, правда, вид у него был несколько огорченный, словно ему было неприятно говорить с ней на эту тему. Слабо улыбнувшись, Клотильда отвернулась.

— Стало быть, учитель, ты хочешь, чтобы я тебя покинула?

Он уклонился от прямого ответа.

— Но, дорогая, уверяю тебя, что это, наконец, становится смешным. Рамон вправе рассердиться.

Она стала складывать бумаги на конторке. Затем, помолчав, добавила:

— Странно, право. И ты тоже на стороне бабушки и Мартины. Они торопят меня, чтобы я поскорее решалась… Я думала, что в моем распоряжении еще несколько дней. Но в самом деле, если вы все трое толкаете меня…

Она не закончила, и Паскаль не принуждал ее высказаться яснее.

— Ну, что же сказать Рамону? Когда ему зайти? — спросил он только.

— Он может прийти, когда захочет, я никогда не возражала против его посещений. Впрочем, не беспокойся, я сама напишу ему, что мы его ждем в один из ближайших вечеров.

Спустя два дня все началось сызнова. Клотильда так ничего и не предприняла, и на этот раз Паскаль вышел из себя. Он слишком страдал; когда ее не было рядом с ним и она не успокаивала его своей лучезарной юностью, он не мог преодолеть подавленности. Теперь он в резких выражениях потребовал, чтобы она вела себя, как

подобает серьезной девушке, и не играла больше сердцем любящего, достойного человека.

— Черт побери! Раз уж это все равно должно свершиться, надо с этим кончать! Предупреждаю тебя, что я сам пошлю записку Рамону, приглашу его на завтра в три часа.

Она выслушала его молча, потупив глаза. Казалось, и он и она избегают касаться вопроса о том, решено ли на самом деле ее замужество, но действуют так, словно оно бесповоротно решено. Когда Клотильда подняла голову, Паскаль вздрогнул, ему почудилось, будто в воздухе повеяло чем-то, показалось, будто она вот-вот скажет: я подумала и отказываюсь от этого брака. Что станется с ним, что ему делать, господи боже! На него налетел вихрь безмерной радости и безумного страха. Но она смотрела на него, улыбаясь сдержанной и растроганной улыбкой, которая в последнее время не сходила с ее губ, и ответила покорно:

— Как хочешь, учитель. Напиши ему, чтобы он был здесь завтра в три часа.

Паскаль провел ужасную ночь; он поднялся поздно, жалуясь, что у него возобновились мигрени. Ему стало легче только под ледяной струей душа. Около десяти часов он вышел из

дома, сказав, что сам зайдет к Рамону. На самом же деле у него была другая цель: он знал, что у одной плассанской перекупщицы есть лиф из старинных алансонских кружев — настоящее чудо, лежавшее у нее под спудом в ожидании, когда какой-нибудь влюбленный безумец решится на такой щедрый дар; ночью во время бессонницы Паскалю пришла в голову мысль подарить этот корсаж Клотильде для ее подвенечного платья. Эта горькая мысль самому украсить ее, сделать ее прекрасной и одеть во все белое в день, когда она отдаст себя другому, размягчала его сердце, измученное приносимой жертвой. Однажды они оба в восхищении любовались этим лифом, и Клотильда мечтала принести его в дар Святой Деве, надев на старинную деревянную статую в церкви Св. Сатюрнена, перед которой преклоняли колени верующие. Перекупщица уложила лиф в небольшую картонку, которую Паскалю легко было пронести незамеченной и спрятать дома в своем секретере.

Придя в три часа, доктор Рамон застал в гостиной Паскаля и Клотильду, которые поджидали его, возбужденные и неестественно веселые, впрочем, они избегали говорить между собой о предстоящем визите. Оба встретили Рамона

улыбкой, преувеличенно сердечно.

— Вот вы и на ногах, учитель! — сказал молодой человек. — Никогда еще я не видел вас таким цветущим!

Паскаль покачал головой.

— Гм, гм, цветущим, может быть! Но сердце — никуда не годится!

Услышав это признание Паскаля, Клотильда вздрогнула и посмотрела на обоих, невольно сравнивая их. У улыбавшегося Рамона была великолепная внешность красавца мужчины, баловня женщин; густые черные волосы и борода еще подчеркивали его мужественную красоту в полном расцвете. А лицо Паскаля в ореоле седых волос и бороды — густого белоснежного руна, — было отмечено печатью трагической красоты — то был след пережитых им за полгода страданий. Паскаль казался измученным, постаревшим, но большие карие глаза, живые и ясные, сохранили детское выражение. Сейчас каждая его черта дышала такой кротостью, такой вдохновенной добротой, что Клотильда не отводила больше от него взгляда, полного глубокой нежности. Наступило молчание, их сердца вдруг затрепетали.

— Ну что ж, дети мои! — собравшись с духом,

заговорил Паскаль. — Мне думается, вам есть о чем поговорить наедине… А я пойду на минуту вниз и сейчас же вернусь.

И, улыбнувшись им, он ушел.

Как только они остались вдвоем, Клотильда доверчиво подошла к Рамону и протянула ему обе руки. Не выпуская его рук из своих, она сказала:

— Послушайте, мой друг, мне придется вас огорчить… Не сердитесь на меня, клянусь, я испытываю к вам самые дружеские чувства.

Он все понял и побледнел.

— Клотильда, прошу вас, не давайте мне сегодня ответа, не спешите, если хотите — подумайте еще.

— Это ни к чему, мой друг. Я все решила.

Она смотрела на него прекрасным открытым взглядом, удерживая его руки в своих руках, этим она хотела выказать ему свое расположение и убедить, что ее решение принято не сгоряча.

Но он сам заговорил тихим голосом:

— Значит, вы отказываете мне.

— Я отказываю вам, но поверьте, я сама расстроена. Не спрашивайте меня ни о чем, позже вы все узнаете.

Ему пришлось сесть, настолько он был сражен, хотя и сдерживал себя, как подобает человеку

сильному и уравновешенному, который умеет владеть собой даже при самом большом горе. Но он никогда еще не испытывал такого страдания, как сейчас. Он не находил слов, а Клотильда, стоя подле него, продолжала:

— Самое же главное, друг мой, не думайте, что я кокетничала с вами… Если я подала вам надежду и разрешила ждать ответа, то лишь потому, что не могла сама в себе разобраться… Вы не представляете, какое потрясение я пережила, настоящую бурю в беспросветном мраке, и только теперь я наконец начинаю приходить в себя.

— Раз вы не хотите, я не буду вас ни о чем спрашивать, — выговорил он через силу. — Впрочем, ответьте мне на один только вопрос. Вы не любите меня, Клотильда?

Она больше не колебалась и ответила серьезно, с такой сердечностью, которая смягчила откровенность ее ответа:

— Да, я не люблю вас, но отношусь к вам как самый искренний друг.

Он поднялся и движением руки остановил ее, не дав ей высказать все те ласковые слова утешения, какие вертелись у нее на языке.

— Решено, не будем больше к этому возвращаться. Я хотел, чтобы вы были счастливы. Не

беспокойтесь обо мне. В эту минуту я чувствую себя так, будто мне на голову обрушилась крыша. Но я возьму себя в руки.

Кровь прилила к его бледному лицу, он задыхался, подошел к окну, потом, едва передвигая ноги, вернулся обратно, пытаясь справиться с собой. Он глубоко вздохнул. В наступившем тягостном молчании послышались шаги Паскаля, который шумно поднимался по лестнице, чтобы заранее возвестить о своем возвращении.

— Прошу вас, не будем ничего говорить учителю, — успела ему шепнуть Клотильда. — Он не знает о моем решении. Я хочу сама все рассказать ему, но осторожно, ведь он очень хочет нашей свадьбы.

Паскаль остановился на пороге. Он едва держался на ногах, тяжело дышал, словно поднялся наверх слишком быстро. Но, однако, он нашел в себе силы им улыбнуться.

— Ну, дети мои, вы договорились?

— Конечно, — ответил Рамон, весь дрожа, так же, как доктор.

— Итак, все решено?

— Окончательно! — отозвалась Клотильда, которая почувствовала внезапную слабость.

Паскаль, держась за мебель, дошел до своего

рабочего стола и рухнул в стоявшее перед ним кресло.

— Ох, как видите, ноги меня все еще не слушаются. Виной всему мои старые кости!.. Но это пустяки. Я счастлив, я очень счастлив, дети мои, — ваше счастье меня исцелит!

Рамон побеседовал еще несколько минут и ушел. Оставшись вдвоем с Клотильдой, Паскаль, казалось, снова впал в беспокойство.

— Ну, на этот раз решено, бесповоротно решено, ведь правда?

— Решено, бесповоротно!

Он больше ничего не сказал, только кивнул головой, как бы подтверждая свое восхищение тем, что все устроилось к лучшему и отныне все заживут спокойно. Закрыв глаза, он притворился, что спит. Но сердце его билось так сильно, что казалось, вот-вот разорвется, а упрямо опущенные веки сдерживали слезы.

Часов в десять вечера Клотильда спустилась вниз, чтобы отдать распоряжения Мартине, а Паскаль воспользовался этим и положил на постель девушки маленькую картонку с кружевным лифом. Вернувшись, Клотильда, по обыкновению, пожелала ему доброй ночи; прошло минут двадцать, как он ушел к себе. Он уже снял пиджак,

когда до него донеслись ликующие возгласы. Маленький кулачок застучал в дверь:

— Посмотри, ну посмотри же скорей! — звал со смехом юный голос.

Покоренный этой радостью, не в силах сопротивляться, Паскаль открыл дверь.

— Пойдем, пойдем же, взгляни, что положила мне на постель синяя птица.

И не успел он опомниться, как она увела его в свою спальню. Там горели две свечи, и при их свете старая улыбающаяся комната с поблекшей нежно-розовой обивкой напоминала часовню; на постели, точно святыня, выставленная на поклонение верующим, был разложен лиф из старинных алансонских кружев.

— Нет, ты только послушай!.. Я ведь не сразу заметила картонку. Я, как обычно, разделась, собиралась лечь в постель и вдруг увидела твой подарок. Что за чудо, у меня просто сердце замерло. Я поняла, что ни за что не смогу дождаться утра, надела юбку и побежала за тобой…

Только тут он заметил, что девушка полуодета, как в тот грозовой вечер, когда он застал ее за кражей своих бумаг. И он вновь увидел всю ее божественную красоту: ее стройное девственное тело, точеные ноги, округлые плечи, изящный

торс, маленькие, упругие груди.

Она схватила его руки и ласковым движением сжала их своими крошечными, мягкими руками.

— Какой ты добрый и как я тебе благодарна! Подумать только, это чудо, этот прелестный подарок — предназначен мне, самой обыкновенной девушке!.. Ты, должно быть, вспомнил, как я восхищалась этой драгоценной реликвией, как говорила тебе, что одна лишь мадонна в нашей церкви достойна такого наряда… Как я счастлива, как счастлива! Признаюсь тебе, я кокетка, такая кокетка, что иногда у меня бывают безумные прихоти и мне хочется платьев, сотканных из солнечных лучей, воздушных мантилий из небесной синевы. Как же я буду хороша, как прекрасна!

Сияющая, полная восторженной благодарности, она прижималась к нему, не спуская глаз с кружев, призывая его тоже восхищаться ими. И вдруг спросила с любопытством:

— Скажи, но по какому же поводу сделал ты мне этот царский подарок?

С той минуты, как в порыве бурной радости она прибежала за ним, Паскаль был словно во сне. Его тронула до слез ее нежная признательность, и, стоя теперь в ее спальне, он не испытывал

смятения, которого так боялся, а напротив, был умиротворен, восхищен, как бы в предчувствии какого-то небывалого счастья. Он никогда не входил в ее спальню, где, словно в святилище, была разлита благодать, которая утишала жажду невозможного.

Паскаль удивился ее вопросу.

— По какому поводу? — переспросил он. — Да ведь эти кружева украсят твое подвенечное платье!

Теперь удивилась Клотильда. Затем ее лицо просветлело, вновь озарилось нежной и совсем особенной улыбкой, которая уже несколько дней не сходила с ее уст.

— Ах, и то правда, для моего подвенечного платья!

И, вновь став серьезной, она спросила:

— Итак, ты избавляешься от меня, ты настаиваешь на моем замужестве, потому что не хочешь больше видеть меня здесь. Значит, ты все еще считаешь меня твоим врагом?

Чувствуя, что вновь начинаются его терзания, и желая выдержать искус до конца, он отвел от нее взгляд.

— Врагом? Конечно, а разве ты не враг мне? Мы так измучили друг друга за последние месяцы!

Лучше будет, если мы расстанемся… К тому же я до сих пор не знаю, что ты думаешь, ведь ты так и не дала мне ответа, которого я ждал.

Тщетно пыталась Клотильда поймать его взгляд. Она заговорила о страшной ночи, когда они вместе пересматривали папки. Да, это правда, — потрясенная до глубины души, она еще не удосужилась сказать ему, с ним ли она или против него. И он был вправе требовать ответа.

Она снова сжала его руки, и Паскаль был вынужден поднять на нее глаза.

— Значит, ты отсылаешь меня, потому что я твой враг? Так слушай же, я не только не враг тебе, я твоя рабыня, создание твоих рук, твоя собственность… Слышишь? Я с тобой и для тебя, для тебя одного!

Он просиял, безмерная радость засветилась в его глазах.

— Я надену эти кружева, да, надену, они пригодятся для моей брачной ночи, потому что я хочу быть красивой, очень красивой для тебя. Неужели же ты не понял! Ты — мой господин, я люблю тебя.

В полном смятении Паскаль пытался закрыть ей рот ладонью, но тщетно. Она успела выкрикнуть:

— И я хочу тебя!

— Нет, нет, замолчи… ты доводишь меня до безумия! Ты невеста другого, ты связала себя словом, — но, к счастью, это безумие невозможно!

— Невеста другого? Я сравнила его с тобой и выбрала тебя… Я отказала ему, он ушел и не вернется больше никогда… Мы одни, я люблю тебя, и ты меня любишь, я твердо это знаю и отдаюсь тебе!

По его телу пробежала дрожь, он перестал бороться с собой, уступив не покидавшему его желанию сжать ее в своих объятьях, испить ее прелесть, весь аромат цветущей женственности.

— Возьми же меня, я твоя!

Это не было падением; радость жизни вознесла их, и они отдались друг другу в порыве блаженства. Просторная, обставленная старинной мебелью комната стала их сообщницей и как бы наполнилась светом. Страха, страданий, сомнений как не бывало: они были свободны, она отдалась ему добровольно, желая этого, и он принимал щедрый дар ее тела, как бесценное сокровище, завоеванное силой его любви. Место, время, разница в возрасте — все исчезло. Была одна только бессмертная природа, страсть, которая созидает и творит, счастье, утверждающее свое право. Охваченная чувством, прекрасная, она

утратила свою девственность, и у нее вырвался только легкий стон; а он, задыхаясь от блаженства, сжимал ее в объятиях, шептал Клотильде непонятные ей слова благодарности за то, что вновь стал мужчиной.

Паскаль и Клотильда в экстазе не выпускали друг друга из объятий, ликующие и счастливые. В ночном воздухе была разлита сладостная нега, тишина навевала покой. Часы текли, а они по-прежнему были на верху блаженства. Томным, ласкающим голосом она шептала ему на ухо:

— Учитель, о, учитель, учитель!

И это слово, с которым она обычно обращалась к нему, обретало теперь какое-то особое значение, оно ширилось, углублялось, как бы выражая всю ее самозабвенную любовь. Она повторяла его с пылкой благодарностью женщины, которая все поняла и готова подчиниться. Не означало ли это, что вместе с удовлетворенной наконец любовью пришла победа над потусторонним, приятие реальности, прославление жизни?

— Учитель, учитель, ведь уже давно… Я должна тебе все сказать, исповедаться перед тобой… Да, я ходила в церковь, чтобы обрести счастье. Но беда была в том, что я не могла слепо верить: я хотела понять слишком многое, их догмы воз-

мущали мой разум, а их рай казался мне детской выдумкой… И все же я думала, что мир не кончается на том, что мы познаем через ощущения, что существует еще неведомый мир, которым нельзя пренебрегать; и в это, учитель, я верю до сих пор, — даже счастье, которое я наконец обрела в твоих объятьях, не может стереть мысли о потустороннем… Но как я страдала от этого, от желания быть счастливой, счастливой без промедления, перестать наконец сомневаться! Если я и ходила в церковь, то лишь потому, что мне чего-то недоставало, и я продолжала искать. И мою тоску рождала именно эта непреодолимая потребность удовлетворить мое желание как можно скорее… Помнишь, ты говорил, что я постоянно жажду иллюзий и обмана. Помнишь ночь на току, когда все небо было в звездах? Я испытывала страх перед твоей наукой, я не могла примириться с тем, что она все разрушает на своем пути, я отводила глаза от страшных язв, которые она обнажает. И я хотела, учитель, увести тебя на край света, чтобы жить вдвоем, вдали от людей, в служении богу. Ах, какая это мука беспрестанно испытывать жажду, стараться ее превозмочь и не находить ей утоления.

Не произнося ни слова, он осторожно поцело-

вал ее глаза.

— А помнишь, учитель, — продолжала она голосом, тихим словно дыхание, — помнишь, как я была потрясена, когда в ту грозовую ночь ты преподал мне страшный урок жизни, раскрыв передо мной все твои папки. Ты говорил мне тогда: «Познай жизнь, полюби ее, проживи так, как должно ее прожить!» Но как безудержен, как огромен поток, катящий свои воды в море человеческого бытия, которое он неустанно пополняет во имя неведомого будущего! И знаешь, учитель, с той минуты во мне началась глухая борьба, и я ощутила сердцем и плотью горькую правду действительности. Сначала я чувствовала себя просто уничтоженной, настолько силен был удар. Я не могла прийти в себя и не открывала рта, так как не знала, что сказать. А затем мало-помалу что-то во мне изменилось, но я еще сопротивлялась, боялась сознаться в своем поражении. Между тем с каждым днем истина становилась мне все яснее, и я поняла, что ты — мой повелитель, что для меня нет счастья вне тебя, вне твоей науки, твоего человеколюбия. Ты — сама жизнь, ты терпим, ты великодушен, ты смотришь правде в глаза и все приемлешь в едином стремлении вернуть человечеству жизнестойкость, ты ве-

ришь в творческие силы мира, видишь смысл существования в той работе, которой мы все отдаемся со страстью, упорно цепляясь за жизнь, чтобы жить, любить, переделывать жизнь и снова жить, несмотря на все наши страдания и невзгоды. Ах, жизнь, жизнь — великое деяние, непрестанное творчество, которое когда-нибудь все-таки придет к своему завершению.

Он молча улыбался и поцеловал ее в губы.

— Ах, учитель, я всегда любила тебя, с самой ранней юности, но поняла это той страшной ночью, когда ты сломил меня. Помнишь, я чуть не задохнулась в твоих объятьях? На моем плече остался след, капля крови. Я была полуодета, и твоя плоть как бы вошла в мою. Мы боролись, ты оказался сильнее, и я поняла, как нуждаюсь в поддержке. Сначала я почувствовала себя униженной, а затем увидела, как несказанно сладостна эта покорность. И все время я ощущала тебя в себе. Твои движения даже издали приводили меня в трепет — мне казалось, что ты дотрагиваешься до меня. Я хотела, чтобы ты снова сжал меня в объятьях, сдавил так, чтобы я растворилась в тебе навсегда. Что-то подсказывало мне, что и ты хочешь того же, что сила, заставившая меня стать твоей, сделала и тебя мо-

им, что ты борешься с собой, чтобы помимо воли не схватить меня и не удержать возле себя… Во время твоей болезни, когда я ухаживала за тобой, мое душевное смятение отчасти улеглось. И тут я все поняла: я перестала ходить в церковь, я обрела подле тебя счастье, уверенность, о какой так мечтала. Помнишь, я крикнула тебе там, на току, что нашей любви чего-то недостает. В ней была какая-то пустота, мне надо было ее заполнить. Чего же мне недоставало, если не божественного начала — смысла бытия? И вот наше полное обладание друг другом, это торжество любви и жизни и есть воплощение божества.

Теперь слышался лишь ее лепет и его торжествующий смех; они снова отдались друг другу. То была ночь блаженства — счастливая комната благоухала юностью и страстью. Когда занялась заря, они распахнули окна навстречу весне. На бескрайнем, без единого облака, чистом небе всходило животворное апрельское солнце, и земля, набухшая от соков произрастания, радостно славила их любовь.

VIII

Настала счастливая идиллия, пора счастливого обладания друг другом. Клотильда была весной, вернувшейся к Паскалю на закате его дней. Возлюбленная, не скупясь, дарила ему цветы и солнце, отдавала свою юность, когда за спиной у него уже было тридцать лет тяжелой работы, когда он устал, поседел, познав глубины человеческих страданий. Он возрождался под взглядом ее больших светлых глаз, от ее чистого дыхания. К нему вернулась вера в жизнь, в здоровье, в свои силы и вечное обновление.

Наутро после их брачной ночи Клотильда, опередив Паскаля, вышла из спальни только к десяти часам утра. Первое, что она увидела, была растерянная Мартина, стоявшая посреди кабинета. Накануне доктор, последовав за девушкой, оставил дверь своей комнаты открытой; и служанка, без помехи войдя туда, обнаружила, что постель даже не смята. Затем, к своему удивлению, она услышала, что из спальни Клотильды доносятся голоса. Она до смешного растерялась и помрачнела.

Улыбающаяся, озаренная переполнявшим ее счастьем, Клотильда поспешила поделиться им с Мартиной.

— Мартина, я никуда не уеду! Учитель и я — мы поженились…

При этом известии старая служанка зашаталась. От острой боли, от нестерпимой душевной муки поблекшее лицо Мартины, отмеченное печатью долголетнего монашеского воздержания, стало белее ее белого чепчика. Она не произнесла ни слова — она ушла, спустилась к себе на кухню и, облокотясь о некрашеный деревянный стол, на котором обычно рубила мясо, закрыла лицо руками и разрыдалась.

Встревоженная, огорченная Клотильда последовала за ней. Она пыталась понять Мартину, утешить ее…

— Послушай, но это же глупо! Что на тебя нашло? Мы с учителем по-прежнему любим тебя, ты навсегда останешься с нами. Тебе не придется жалеть, что мы поженились. Напротив, теперь в доме с утра до вечера будет весело!

Но Мартина рыдала все сильнее, все исступленнее.

— Ответь же мне, по крайней мере. Скажи, почему ты рассердилась, почему плачешь? Разве ты

не рада, что учитель счастлив, очень счастлив!.. Погоди, я позову его, и он заставит тебя ответить.

При этой угрозе старая служанка вдруг вскочила, бросилась к себе в комнату, смежную с кухней, и яростно захлопнула дверь, громко щелкнув задвижкой. Напрасно девушка звала ее, стучала изо всех сил.

Привлеченный шумом Паскаль спустился вниз.

— Что там у вас? В чем дело?

— Да все эта упрямица Мартина! Представь себе, узнав о нашем счастье, она принялась рыдать. Теперь она заперлась у себя, и ее даже не слышно.

И в самом деле ничего не было слышно. Паскаль тоже звал ее, стучал в дверь… Он вышел из себя, потом расчувствовался. Они по очереди возобновляли свои попытки. Никто не отзывался, в комнатке Мартины стояла мертвая тишина. Они представляли себе ее келью, аскетически чистую, с комодом орехового дерева и монашеской кроватью под белым пологом. Несомненно, служанка кусает подушку, чтобы заглушить рыдания, лежа на той самой постели, где она проспала в одиночестве весь свой женский век.

— Ну что ж, тем хуже! — произнесла наконец

Клотильда, полная эгоистической радости. — Пускай себе злится!

Охватив Паскаля своими свежими руками, она приблизила к нему очаровательное личико, она все еще горела страстным желанием принадлежать ему всецело, быть его вещью.

— Вот что, учитель, сегодня прислуживать тебе буду я! — воскликнула она.

Он с благодарностью поцеловал ее глаза, и она тотчас же приступила к приготовлению завтрака, перевернув вверх дном всю кухню. Клотильда подвязала огромный белый фартук, будто ей предстояла большая работа, и засучила рукава, обнажив нежные руки, — в таком виде она была прелестна. Оказалось, что котлеты уже приготовлены, и она хорошо их поджарила. Она добавила яичницу, и даже жареная картошка получилась очень вкусной. Завтрак удался на славу, и от избытка усердия она то и дело вскакивала из-за стола, чтобы принести хлеб, воду или забытую вилку. Если бы Паскаль разрешил, она прислуживала бы ему на коленях. Как хорошо быть с ним наедине, только вдвоем в этом большом приветливом доме, чувствовать себя вдали от целого света, вволю смеяться и без помехи любить.

После завтрака они были заняты хозяйством,

подметали комнату, оправляли постель. Паскалю обязательно хотелось ей помогать. Это было игрой, и они забавлялись, как беспечные дети. И, однако, время от времени они снова стучали в дверь к Мартине. Какое безумие, уж не собирается ли она умереть с голода! Видано ли такое упрямство! Ведь никто не сказал и не сделал ей ничего плохого! Ответа не было — лишь удары в дверь глухо отдавались в мрачной тишине комнаты. Спустились сумерки, Паскалю с Клотильдой пришлось заняться также обедом, и они ели из общей тарелки, тесно прижавшись друг к другу. Перед тем как лечь спать, они сделали последнюю попытку, пустили в ход угрозу взломать дверь, но и тогда, приникнув ухом к замочной скважине, не уловили ни малейшего шороха. Проснувшись наутро, они спустились вниз и забеспокоились не на шутку, убедившись, что за ночь ничто не изменилось и дверь по-прежнему заперта. Уже целые сутки служанка не подавала признаков жизни.

Зато как же Паскаль и Клотильда были поражены, когда, отлучившись на минутку из кухни и затем возвратившись обратно, они увидели Мартину, которая сидела за столом и перебирала щавель к завтраку. Она безмолвно вернулась к

своим обязанностям служанки.

— Что с тобой случилось? — крикнула Клотильда. — Скажешь ли ты наконец?

Мартина подняла измученное, осунувшееся от слез лицо. Впрочем, она была теперь совершенно спокойна, на всем ее облике лежал отпечаток унылой старости, примирившейся со своей долей. Она взглянула на девушку с бесконечным укором; затем, ничего не говоря, снова опустила голову.

— Неужели ты сердишься на нас? Мартина, милая?

Угрюмое молчание служанки вынудило вмешаться и Паскаля:

— Вы сердитесь на нас, Мартина, голубушка?

Тут старая служанка взглянула на него с прежним обожанием, как бы желая сказать, что во имя своей любви она готова перенести все и остаться с ним. Наконец она заговорила:

— Нет, ни на кого я не сержусь… Вы хозяин и вольны делать, что хотите. Все хорошо, если вы довольны.

С этого дня жизнь пошла по-новому. В свои двадцать пять лет Клотильда, долго остававшаяся ребенком, будто налилась соками, распустилась великолепным цветком любви. С тех пор как

впервые забилось ее сердце, смышленый подросток с короткими вьющимися волосами уступил место обворожительной женственной девушке, страстно мечтающей быть любимой. Несмотря на познания, почерпнутые из случайно прочитанных книг, самым очаровательным в ней было неведение девственницы, словно в неосознанном ожидании любви она сберегла себя, чтобы всецело раствориться в будущем избраннике. Конечно, она отдалась Паскалю не только из благодарности и восхищения, но и в порыве любви, счастливая тем, что может осчастливить его, вкушая радость от того, что в его объятьях чувствует себя ребенком, от того, что она — принадлежащая ему вещь и в то же время драгоценный дар, к которому он прикасается губами, коленопреклоненный, в религиозном экстазе. От своей былой набожности Клотильда сохранила полную покорность воле мудрого и всемогущего учителя, она черпала в нем утешение и силы, испытывая не только любовь, но и ощущая священный трепет верующей, какой она и оставалась в глубине души. Но самым удивительным было то, что эта возлюбленная, столь женственная, столь страстная, представляла собой великолепный пример здорового, жизнерадостного существа;

она отличалась завидным аппетитом, бодростью и мужеством, унаследованным от деда-солдата, и оживляла весь дом своими легкими шагами, своей юностью, всем своим гибким, божественно молодым и свежим телом.

Да и Паскаль под воздействием любви вновь помолодел; его спокойная мужественная красота была в полном расцвете, несмотря на седины. Его лицо больше не казалось измученным, как в те месяцы горя и страданий, которые он только что пережил; оно стало прежним — в больших глазах, все еще сохранявших детское выражение, появился живой блеск, тонкие черты светились добротою; а его седые волосы и седая борода стали еще гуще, напоминая львиную гриву, и этот белоснежный поток только молодил его. Он так долго сохранял себя, живя одиноко и страстно отдаваясь работе, не зная пороков и излишеств, что теперь вновь обрел дремавшую в нем мужскую силу и торопился испытать наконец полное удовлетворение. Это пробуждение было таким неожиданным, что нетерпение молодости отражалось в его движениях, возгласах, желании без оглядки жить и расточать себя. Паскаля все удивляло, все пленяло. Каждый клочок бескрайнего неба приводил его в восторг, простой полевой

цветок опьянял своим ароматом, ласковое слово, стертое от частого употребления, исторгало слезы, как новое изобретение любви, словно оно не слетало уже с миллиона губ. Слова «я люблю тебя», произносимые Клотильдой, звучали бесконечной лаской, сверхчеловеческую прелесть которой до него не знал ни один человек. И вместе со здоровьем и красотой к нему вернулось хорошее расположение духа, та спокойная веселость, которая прежде была порождена любовью к жизни, а теперь освещала его страсть, придавая еще большую цену жизни.

Они были великолепной парой — с одной стороны, цветущая молодость, с другой, зрелая сила, оба веселые, здоровые, счастливые. Месяц с лишним они провели дома, ни разу не выйдя за пределы Сулейяды. Вначале им было достаточно одной их спальни, обтянутой старым наивным ситцем цвета зари, с мебелью в стиле ампир, большой жесткой кушеткой и громоздким зеркалом. Они не могли без улыбки видеть позолоченные бронзовые часы с Амуром, лукаво созерцающим уснувшее Время. Может быть, это намек? Они шутили иногда по этому поводу. В каждом предмете чувствовалось какое-то соучастие; здесь, окруженные этой милой их сердцу старинной

обстановкой, любили когда-то другие, а теперь и Клотильда вносила сюда свою весну. Она клялась, что однажды вечером увидела в зеркале красивую даму, которая тоже раздевалась, но не имела ничего общего с ней самой; и, увлеченная, как прежде, любовью ко всему таинственному, она высказывала вслух свою мечту — показаться вот так через сто лет возлюбленной грядущего века, в ночь ее счастливой любви. Паскаль жил в непрестанном восхищении, он обожал эту комнату, где во всем чувствовалась Клотильда, вплоть до воздуха, которым он дышал; он переселился сюда, больше не ночевал в своей комнате, темной, холодной, как погреб, где его охватывала дрожь и откуда он торопился убежать в те редкие минуты, когда приходилось там бывать. Любили они также и просторный кабинет, в котором все говорило о их старых привычках, о их давнишней привязанности. Они проводили в нем целые дни, хотя и не работали. Большой дубовый шкаф с резными украшениями как будто дремал, дверцы его не раскрывались, дремали и книжные полки. На столах лежали бумаги, книги, никто не дотрагивался до них. Паскаль и Клотильда, словно новобрачные, целиком отдавались своей страсти, позабыв привычные занятия, отгородившись от

жизни. Им казалось, что время бежит слишком быстро, когда они находятся вместе, порой они забирались вдвоем в старинное глубокое кресло, радуясь своему уютному крову, тому, что им принадлежит это жилище, где стоят в беспорядке привычные предметы, где отсутствует всякая роскошь, зато с утра до вечера светит ласковое апрельское солнце. Если, охваченный угрызениями совести, Паскаль заговаривал о необходимости приняться за работу, она, смеясь, обвивала его своими гибкими руками, удерживала подле себя, утверждая, что от переутомления он вновь заболеет. Они охотно сидели внизу, в столовой с веселыми светлыми панелями, оживленными синим бордюром, со старой мебелью красного дерева, большими яркими пастелями и висячей начищенной до блеска медной лампой. Они ели с большим аппетитом и покидали столовую лишь для того, чтобы подняться к себе и побыть в дорогом их сердцу уединении.

Потом, когда им стало тесно дома, в их распоряжении оказался весь сад, вся Сулейяда. Весна врывалась сюда вместе с солнцем, апрель был на исходе, розовые кусты уже покрывались цветами. Сколько радости дарила им эта усадьба, защищенная высокой оградой от посторонних

глаз. Они подолгу забывались на террасе, созерцая бесконечные дали — тенистый путь Вьорны, косогоры Святой Марты, скалистые гряды Сейи и виднеющуюся в дымке Плассанскую долину. На террасу падали тени двух столетних кипарисов, которые росли по обе ее стороны и были похожи на громадные зеленоватые свечи, видные за три лье… Порой Паскаль и Клотильда спускались к подножию холма ради удовольствия вновь подняться по огромным уступам, укрепленным каменными стенками, и, перелезая через них, проверяли, не подросли ли худосочные оливы и тощие миндальные деревца. Но чаще всего они гуляли под сенью сосновой рощи, насквозь прогретой солнцем, издающей сильный смолистый запах, — или бродили вдоль ограды, за которой по временам слышалось тарахтенье тележки, катившейся в Фенуйер по узкой дороге; иногда они отдыхали на старинном току, откуда открывалось необъятное небо и где они любили лежать, зачарованные, умиленные, вспоминая о слезах, пролитых так недавно при свете звезд, когда еще не осознанная ими любовь вызвала их на ссору. Но любимым уголком, куда они приходили после каждой прогулки, чтобы почувствовать себя вдали от мира, была роща посаженных в

шахматном порядке платанов, с густой, еще светло-зеленой, словно кружевной листвой. Ниже по спуску росли огромные кусты буксуса — все, что осталось от французского парка, образуя подобие лабиринта, до конца которого они так ни разу и не дошли. А струя фонтана — его неизменный и чистый хрустальный звон, — казалось, пела в самом их сердце. Они сидели у замшелого бассейна в ожидании сумерек, соединив руки, прильнув губами друг к другу; мрак, сгущавшийся под деревьями, постепенно окутывал их, а фонтан, ставший невидимым, звенел неустанно, нежно, как флейта.

До середины мая Паскаль и Клотильда жили в этом уединении, ни разу не переступив порога своей обители. Однажды утром, когда Клотильда заспалась, Паскаль куда-то ушел и вернулся только через час; застав ее все еще в постели, в очаровательном неглиже, с обнаженными плечами и руками, он вдел ей в уши бриллиантовые серьги, которые купил, вспомнив, что сегодня день ее рождения. Клотильда обожала драгоценности, она пришла в восторг и не захотела вставать, — такой красивой казалась она себе, раздетая, со сверкающими звездами в ушах. С этих пор раз или два в неделю по утрам

Паскаль исчезал, чтобы принести ей какой-нибудь подарок. Он пользовался любым предлогом, праздником, высказанным ею желанием, хорошим настроением обоих. Он урывал время, пока она еще нежилась в постели, торопясь вернуться до того, как она встанет, и собственными руками украшал ее. Так появлялись по очереди кольца, браслеты, ожерелья, скромная диадема. Он вынимал иногда все драгоценности сразу и ради забавы надевал на нее, и оба они радовались и смеялись, как дети. Она сидела, откинувшись на подушку, и казалась богиней, увешенной золотом, с золотой повязкой в волосах, с золотом на обнаженных руках, с золотом на обнаженной груди, нагая, божественная, сверкающая золотом и драгоценными камнями. Ее женское кокетство было полностью удовлетворено, она позволяла поклоняться себе, понимая, что в этом находит выражение пламенная любовь Паскаля. И все же она начала журить его, справедливо говоря, что эти подарки, по сути дела, нелепы — так как хранятся в ящике стола, — она нигде не бывает и ей не к чему их надевать. После минутной радости удовлетворения, которое дает покупка драгоценностей, о них тотчас же забывают. Но Паскаль и слушать ничего не хотел — охваченный подлин-

ным безумием, он не в силах был противостоять желанию преподнести ей какую-нибудь вещь. Это был порыв душевной щедрости, непреодолимая потребность доказать Клотильде, что он непрестанно думает о ней, тщеславное желание видеть ее самой ослепительной, самой счастливой, самой соблазнительной и чувство, еще более глубокое, под влиянием которого он готов был отдать все без остатка — деньги, здоровье, жизнь. Зато какое он испытывал наслаждение, когда ему казалось, что он доставил ей удовольствие, и она, раскрасневшись, бросалась ему на шею и благодарила звонкими поцелуями! За драгоценностями последовали платья, наряды, безделушки. Вся комната наполнилась ими, в ящиках не хватало места.

Как-то раз утром Клотильда рассердилась. Он принес ей новое кольцо.

— Но ведь я ничего не ношу! Посмотри, если я надену все кольца сразу — они покроют пальцы до самых ногтей. Умоляю тебя, будь же благоразумен.

Он был смущен.

— Значит, кольцо тебе не нравится?

Ей пришлось обнять его, поклясться со слезами на глазах, что она очень счастлива. Он такой

добрый, он так много для нее делает! Но когда в то же утро он осмелился заговорить об отделке комнаты, о том, чтобы обтянуть стены новой материей, устлать пол ковром, она снова принялась его умолять:

— Нет, нет! Прошу тебя! Не трогай моей старой комнатки, полной воспоминаний, ведь здесь я выросла, здесь мы любили друг друга. Мне будет казаться, что мы уже не у себя.

Мартина замкнулась в упорном молчании, всем своим видом осуждая эти чрезмерные и бесполезные траты. Она держалась теперь иначе, менее непринужденно, как будто из-за того, что произошло, отказалась от роли домоправительницы и друга и вновь стала простой служанкой. Особенно переменилась она в отношении Клотильды, видя в ней молодую хозяйку, которую беспрекословно слушаются, но любят меньше, чем прежде. Когда она входила в спальню и прислуживала им обоим, пока они еще лежали в постели, ее лицо хранило выражение вынужденной покорности, неизменного обожания хозяина, равнодушия ко всему остальному. И все же два или три раза она появлялась утром с помятым лицом и заплаканными глазами и не желала прямо отвечать на вопросы, отнекивалась, уверяла,

что ничего не случилось, что ее только просквозило. Мартина никогда ни слова не говорила о подарках, переполнявших все ящики, словно не видела их; она смахивала с них пыль, убирала на место, не выражая при этом ни восхищения, ни порицания. Но всем существом возмущалась против расточительства Паскаля, которое не укладывалось в ее голове. Она протестовала на свой лад, преувеличенно экономила, сокращала траты, вела хозяйство так скупо, что урезывала даже мелкие расходы. Она стала покупать даже меньше молока, подавала сладкие блюда только по воскресеньям. Не смея жаловаться, Паскаль и Клотильда потихоньку смеялись над ее чрезмерной скупостью, они повторяли шутки, забавлявшие их вот уже десять лет, и рассказывали, что Мартина, помаслив овощи, откидывает их на дуршлаг, чтобы снова использовать стекшее масло.

По истечении трех месяцев Мартина захотела дать отчет в своих расходах. Обычно в конце этого срока она отправлялась к нотариусу г-ну Грангийо, чтобы получить полторы тысячи франков ренты, и располагала этими деньгами по своему усмотрению, внося расходы в книгу, которую доктор не проверял уже много лет. Теперь она

принесла ее и потребовала, чтобы он взглянул на записи. Паскаль отнекивался, уверяя, что все идет как надо.

— Я хотела вам показать, сударь, — сказала она, — что на этот раз мне удалось отложить немного денег. Да, триста франков… вот они.

Он глядел на нее пораженный. Обычно она только-только сводила концы с концами. Ну и скаредна же она, если сэкономила такую сумму! Он расхохотался:

— Так вот почему, славная моя Мартина, нам пришлось съесть столько картофеля! Вы просто образец бережливости, но не худо бы немного побаловать нас!

Этот деликатный упрек так ее обидел, что она решилась наконец намекнуть:

— Что поделаешь, сударь, когда одной рукой бросают деньги на ветер, надо быть предусмотрительным и попридержать их другой.

Он понял, но не рассердился, забавляясь, напротив, преподанным ею уроком.

— Вот оно что! Вы ведете счет и моим расходам, ну, так знайте же, Мартина, что и у меня есть особые сбережения.

Он имел в виду гонорар, который получал иногда от пациентов и прятал в ящик своего

секретера. Вот уже больше шестнадцати лет он клал туда полученные деньги, — около четырех тысяч франков в год — золото и банкноты вперемежку, — которые могли бы составить целое состояние, если бы он не черпал оттуда, не считая, довольно значительные суммы на опыты и собственные прихоти. Деньги на подарки шли из этого же ящика, и в последнее время Паскаль постоянно прибегал к своим сбережениям. Но ящик казался ему бездонным, он привык брать оттуда на все свои надобности, и ему никогда не приходило в голову, что деньги могут иссякнуть.

— Можно же иногда запустить руку в свои сбережения, — весело продолжал он. — Раз вы сами ходите к нотариусу, Мартина, вы должны знать, что у меня есть своя собственная рента.

Тогда она произнесла беззвучным голосом, каким говорят скупцы, преследуемые страхом потерять свое богатство:

— А что, если у вас ее больше нет?

Ошеломленный Паскаль молча смотрел на нее, он только неопределенно махнул рукой, потому что мысль о несчастье не укладывалась в его голове. Он подумал, что от скупости у Мартины ум за разум зашел, и вечером посмеялся над ее словами вместе с Клотильдой.

В Плассане подарки Паскаля были тоже предметом бесконечных сплетен. Молва о том, что происходит в Сулейяде, о вспыхнувшей там пылкой, ни на что не похожей любви, неизвестно как проникла сквозь стены и получила широкую огласку в силу того особого любопытства, какое свойственно жителям провинциальных городов, столь падких до всяких слухов. Служанка, конечно, ничего не говорила, но достаточно было одного ее вида, чтобы пошли разговоры; да и за двумя возлюбленными, без сомнения, подсматривали сквозь ограду. А тут еще началась эта покупка подарков, которая подтвердила все догадки и все усугубила. Когда доктор спозаранку бегал по улицам, заходил к ювелирам, белошвейкам, шляпницам, изо всех окон на него пялили глаза; люди следили за каждым его шагом, а вечером весь город знал, что он подарил Клотильде еще один фуляровый капор, кружевные сорочки, браслет, украшенный сапфирами. Это граничило со скандалом: дядя развращает собственную племянницу, он, как юноша, совершает ради нее безумства, украшает ее, словно изваяние Божьей Матери. Самые невероятные истории передавались из уст в уста — на Сулейяду, проходя мимо, указывали пальцем.

Но особенно гневалась и негодовала старая г-жа Ругон. Она перестала навещать сына, как только узнала, что брак Клотильды и доктора Рамона не состоится. Выходит, что с ней не считаются, на нее плюют. Прошло больше месяца после их ссоры, а Фелисите никак не могла понять, почему ее всюду встречают сострадательными взглядами, туманными намеками, кривыми улыбками, как вдруг она все узнала — это было ударом обуха по голове. А она-то рвала и метала, боясь стать посмешищем во время болезни Паскаля, прослывшего нелюдимом, который свихнулся от спеси и страха. Теперь положение еще ухудшилось, — в довершение скандала любовная история, над которой все потешаются! Доброе имя Ругонов снова в опасности, право, ее злосчастный сын делает все возможное, чтобы уничтожить славу семьи, добытую с таким трудом! И вот в порыве гнева Фелисите — хранительница семейной чести — надела шляпку и, несмотря на свои восемьдесят лет, с юношеской прытью поспешила в Сулейяду, решив во что бы то ни стало смыть это новое пятно. Было десять часов утра.

К счастью, Паскаль, весьма довольный разрывом с матерью, отсутствовал — уже больше часа он бегал в поисках старинной серебряной пряж-

ки для пояса, которую ему захотелось подарить Клотильде. И Фелисите наткнулась на Клотильду, когда та заканчивала свой утренний туалет; молодая женщина, одетая в ночную кофту, с обнаженными руками, распущенными волосами выглядела свежей, словно роза.

Первый натиск был бурным. Старая дама отвела душу — она возмущалась, взывала к религии и морали. Она закончила свою речь словами:

— Ответь же мне, как вы докатились до такого позора? Ведь это вызов богу и людям!

Девушка выслушала ее весьма почтительно, хотя и с улыбкой на губах.

— Да только потому, бабушка, что нам так захотелось. Разве мы не свободны? Мы не в долгу ни перед кем.

— Ни перед кем? А я? А семья? Теперь опять нас будут поливать грязью, не воображай, что мне это приятно!

И вдруг ее гнев утих. Она посмотрела на Клотильду, нашла ее прелестной. По сути дела, то, что произошло, ее не удивляло, плевать ей было на это, просто она хотела, чтобы все кончилось благопристойно и злые языки умолкли. И уже примирительно она воскликнула:

— Тогда поженитесь! Почему бы вам не поже-

ниться?

Клотильда была застигнута врасплох. Но только на минуту. Ни ей, ни доктору не приходила в голову мысль о браке. Она снова улыбнулась:

— Разве мы станем от этого счастливее, бабушка?

— Речь идет не о вас, а обо мне и о всей нашей семье… Как можешь ты, милая крошка, смеяться над такими священными вещами? Неужели ты вовсе потеряла стыд?

Но, все такая же спокойная и кроткая, девушка развела руками, как бы говоря, что ей нечего стыдиться своего поступка. Бог ты мой! В жизни столько разврата, столько пороков, так неужели они совершили что-то дурное, отдавшись друг другу и испытав великое счастье под этим сияющим небом? Впрочем, она не стала возражать.

— Ну конечно, мы поженимся, раз ты этого желаешь, бабушка. Учитель сделает все, что я захочу… Только позже, ведь нам некуда спешить!

Клотильда по-прежнему безмятежно улыбалась. Они живут вдали от людей, так стоит ли беспокоиться о том, что о них говорят.

Старая г-жа Ругон удалилась, поневоле удовлетворившись этим неопределенным обещанием. С этого дня она подчеркнуто прекратила всякие

отношения с Сулейядой — средоточием греха и позора. Она больше не переступит их порога и с достоинством перенесет это новое горе. Между тем г-жа Ругон вовсе не сложила оружия, с упорством, которое обеспечивало ей победу, она выжидала благоприятной минуты, готовая использовать любую возможность, чтобы вернуться на поле боя.

Как раз в это время Паскаль и Клотильда отказались от своего отшельничества. Это не было с их стороны ни вызовом, ни желанием ответить таким образом на дурные слухи, открыто заявив о своем счастье. Просто их радость рвалась наружу. Их любви мало-помалу стало тесно, им захотелось выйти на свободу, сначала за пределы комнаты, затем дома и, наконец, за пределы сада, в город, на бескрайние просторы. Любовь наполняла все вокруг, заменяла им весь свет. Доктор преспокойно возобновил свои визиты, только теперь он брал с собой девушку, и они появлялись под руку на бульварах и улицах: она — в светлом платье, с яркими полевыми цветами в волосах, он — в застегнутом на все пуговицы сюртуке и широкополой шляпе. Он — в ореоле седин, она — в золоте кудрей. Они шли, стройные, улыбающиеся, с высоко поднятой головой и си-

яли таким счастьем, что, казалось, их окружает ореол. Сначала их появление вызвало небывалый переполох, торговцы выходили на пороги лавок, женщины высовывались из окон, прохожие останавливались, чтобы проводить их взглядом. Кругом шептались, подсмеивались, указывали на них пальцем. Казалось, волна враждебного любопытства все захлестнет и мальчишки станут бросать в них камни. Но они были так прекрасны, он — величавый и торжественный, она — юная, покорная и в то же время гордая, что люди поневоле проникались сочувствием. Трудно было не испытывать к ним зависти и даже нежности. От обоих исходило очарование, покорявшее сердца. Новый город, где жили чиновники и разбогатевшие буржуа, сдался последним. Квартал Св. Марка, несмотря на свой ригоризм, сразу же проявил благосклонную, хотя и сдержанную терпимость при виде Паскаля и Клотильды, которые шли по безлюдным, заросшим травой тротуарам, вдоль старых молчаливых, наглухо закрытых особняков, казалось, еще распространявших аромат былой любви. Но особенно приветливо их встретил старый квартал; населявшие его бедняки бессознательно почувствовали всю поэтичность, глубокий смысл сказания о прекрасной

девушке — опоре своего вновь обретшего молодость царственного властелина. В этом квартале доктора обожали за доброту, и его спутница скоро стала пользоваться признанием; как только она появлялась, ее приветствовали восторженно и радостно. А Паскаль и Клотильда, которые, казалось, первое время не замечали враждебности горожан, угадывали теперь прощение и дружелюбие, которыми были окружены; от этого оба становились еще прекраснее, их счастье улыбалось всем.

Однажды после обеда, когда Паскаль и Клотильда свернули за угол улицы Банн, они увидели на противоположном тротуаре доктора Рамона. Как раз накануне они узнали, что он сделал предложение дочери адвоката Левека. Без сомнения, это был наиболее благоразумный выход: чтобы упрочить занимаемое им положение, откладывать женитьбу не следовало, к тому же его невеста, красивая и богатая девушка, его любила. Конечно, со временем и он ее полюбит. Клотильда была очень рада, что может ему улыбнуться и сердечно, дружески поздравить. Паскаль тоже ласково его приветствовал. Взволнованный этой встречей, Рамон на мгновенье растерялся. Первым его движением было перейти дорогу, подойти к

ним. Но потом его, видимо, взяло сомнение, он подумал, что было бы грубо нарушить их грезу, ворваться в уединение, в котором они пребывали даже среди уличной сутолоки. Он ограничился дружеским поклоном и улыбкой, прощавшей Паскалю и Клотильде их счастье. Эта встреча была чрезвычайно приятна для всех троих.

Теперь Клотильда опять вернулась к своим пастелям и уже несколько дней пыталась изобразить трогательную сцену между старым царем Давидом и молодой сунамитянкой Ависагой. Это было воплощение ее мечты, ее второго «я», вдохновенный замысел, в который она вложила свою любовь к таинственному. На фоне цветов, по-восточному великолепных цветов, похожих на звездную россыпь, стоял старый царь, повернувшись лицом к зрителям; рука его покоилась на плече Ависаги — юной, белокожей девушки, обнаженной до пояса. Давид был в роскошном одеянии — в прямой, отягощенной драгоценными камнями мантии, и на его белых как снег волосах сверкал царский венец. Она же казалась еще нарядней, чем он, со своей лилейной кожей, тонким, удлиненным станом, маленькой округлой грудью и гибкими руками, исполненными божественной грации. Могущественный, обожае-

мый властелин, он опирался на свою избранницу — гордую, ибо ее отличили среди всех, счастливую, ибо она может принести в дар господину свою живительную юность. В ее светлой торжествующей наготе сквозила глубокая покорность и безмятежное спокойствие, с каким она принесла себя в дар перед лицом собравшегося народа, в ярком свете дня. Он был величав, она чиста, и от обоих исходило как бы неземное сияние.

До последней минуты художница оставила лица обоих персонажей незаконченными, точно скрытыми легкой дымкой. Растроганный Паскаль, стоя за спиной Клотильды, разгадал ее замысел и подтрунивал над ней. Его догадка подтвердилась: несколькими штрихами она закончила лица — старый царь Давид был он, Ависага-сунамитянка — она. Но они были овеяны грезой, обожествлены: шелковистые волосы — седые и белокурые — окутывали их, словно королевская мантия, просветленные, восторженные лица говорили о небесном блаженстве, взгляд и улыбка — о бессмертной любви.

— Но ты изобразила нас слишком прекрасными, дорогая, — вскричал Паскаль, — ты опять ушла в мечтания, как в те дни, помнишь, когда я упрекал тебя за все эти таинственные, химери-

ческие цветы!

И он указал на стены, где пестрел цветник ее прежних пастелей, — несуществующая флора, возросшая под сенью райской кущи.

Она весело запротестовала:

— Ты находишь, что мы слишком прекрасны! Но мы не можем быть слишком прекрасными! Уверяю тебя, я вижу, я чувствую нас такими! Мы и правда такие… Ну, вот посмотри, разве же это не действительность?

Она взяла старинную Библию XV века, лежавшую подле нее, и показала наивную гравюру на дереве.

— Смотри, ну точь-в-точь…

Он тихо засмеялся в ответ на это спокойное, необычайное утверждение.

— Ты смеешься, останавливаешься на деталях рисунка. А надо проникнуть в его дух… Вот, взгляни на другие гравюры, и в них говорится о том же! Я нарисую Авраама и Агарь, Руфь и Вооза, нарисую всех — пророков, пастырей и царей, которым смиренные девушки, родственницы и служанки, отдавали свою молодость. Все они прекрасны и счастливы, сам видишь.

Они перестали смеяться, склонившись над старинной Библией, страницы которой она пе-

реворачивала своими тонкими пальцами. А он стоял позади, и его седая борода смешивалась с ее белокурыми волосами. Он чувствовал ее всю, вдыхал ее всю. Прильнув к ее нежной шее, он целовал ее цветущую юность, а наивные гравюры на дереве следовали одна за другой, и с пожелтевших страниц вставал весь этот библейский мир, непрестанная смена поколений сильной и плодовитой расы, которой надлежало покорить мир, — мужчины с неоскудевающей мужественностью, многородящие женщины, упорная живучесть народа, возрождающегося, несмотря на преступления, кровосмешение и любовь, вопреки возрасту и рассудку. Паскаль почувствовал волнение, безграничную благодарность, ибо долголетняя мечта осуществилась, его любовь, его Ависага пришла к нему и озарила жизнь, клонящуюся к закату, вернула ему молодость, радость.

Крепко обняв Клотильду, чтобы чувствовать каждую частицу ее тела, он прошептал:

— Твоя молодость… твоя молодость, я так жажду ее, и она меня насыщает… Но разве ты, — такая молодая, — не жаждешь молодости? Почему ты взяла меня, такого старого, старого как мир?

Она вздрогнула от удивления и, повернув голо-

ву, взглянула на него.

— Это ты старый?! Что ты! нет, ты молодой, моложе меня!

Она смеялась, сверкая зубами и заражая его своим смехом. И все же он настаивал, скрывая волнение:

— Но ты мне не отвечаешь… Разве ты не жаждешь молодости, ты, такая молодая?

Она протянула ему губы и первая поцеловала его, ответив так же шепотом:

— Да, я алчу, я жажду только одного — быть любимой, быть любимой больше всего, превыше всего на свете, — так, как любишь меня ты!

Когда Мартина увидела висящую на стене пастель, она с минуту молча смотрела на нее, затем перекрестилась, так что осталось неясным, кого она там увидела: бога или дьявола. За несколько дней до Пасхи она попросила Клотильду сопровождать ее в церковь, и так как девушка отказалась, она на мгновенье вышла из немой почтительности, в какой теперь пребывала. Из всех поразительных новшеств в доме больше всего ее огорчало неожиданное неверие молодой хозяйки. Вот почему она позволила себе заговорить с ней по-старому и выбранить, как прежде, когда Клотильда была ребенком и не хотела чи-

тать молитву. Неужто Клотильда потеряла страх божий? Неужто не трепещет при мысли, что ей придется вечно гореть в адском пламени?

Клотильда не могла удержать улыбки.

— В адском пламени? Ты же знаешь, что я никогда не боялась ада. Но ты ошибаешься, полагая, что я потеряла веру. Я перестала ходить в церковь, правда, но лишь потому, что молюсь не там, а в другом месте, — вот и все.

Разинув рот, Мартина смотрела на нее, не понимая. Все кончено: барышня погибла. С этих пор она больше не звала Клотильду в церковь. Зато ее собственное благочестие еще увеличилось, превратилось в манию. Теперь в свободные от работы часы ее уже не видели с чулком, который она, бывало, постоянно вязала даже на ходу. Теперь, как только у нее выдавалась свободная минутка, она спешила в церковь и надолго оставалась там, погруженная в молитву. Однажды старая г-жа Ругон, всегда бывшая начеку, застала Мартину в церкви за колонной, где уже видела ее час тому назад, служанка покраснела и принялась извиняться, словно ее уличили в безделье.

— Я молилась за хозяина! — сказала она.

Между тем Паскаль и Клотильда все чаще покидали свои владения, с каждым днем удлиняли

прогулки, перенося их теперь за город, в широкие просторы полей. Однажды они отправились после обеда в Сегиран и испытали сильное волнение при виде унылых земель, распаханных там, где некогда простирались волшебные сады Параду. Перед глазами Паскаля встал образ Альбины, юной, цветущей, как весна. В те годы, уже считая себя стариком, он приходил сюда поиграть с этой девочкой и не мог подумать, что она будет давно мертва, когда жизнь дарует ему такую же весну, наполнив благоуханием его закат. Почувствовав, что между ними встало это видение, Клотильда в порыве любви обратила к нему лицо. Она была Альбиной, этой вечной возлюбленной. Паскаль поцеловал ее в губы; они не обменялись ни словом, но обоим показалось, что трепет пробежал по посевам пшеницы и овса, где волновалась прежде роскошная зелень Параду.

Теперь Паскаль и Клотильда шли по иссохшей, голой равнине, и под их ногами хрустела дорожная пыль. Им нравилась эта южная природа, эти земли, засаженные хрупкими миндальными деревьями и карликовыми оливами, гряда невозделанных холмов и белые пятна бастид на фоне темных столетних кипарисов. Все это походило на старинные пейзажи, классические

пейзажи старых мастеров, строгие по колориту, с линиями, гармоничными и величественными. Все собранные воедино горячие солнечные лучи, которые выжгли этот край, казалось, текли в жилах Паскаля и Клотильды; и от этого они были еще моложе, еще прекраснее под вечно голубым небом, откуда струилось на них чистое пламя неиссякаемой страсти. В прозрачной тени зонтика Клотильда расцветала, как южное растение, купаясь в солнечных лучах, а он молодел, чувствуя, как хмельные соки земли живительными волнами радости приливают к его сердцу.

Прогулка в Сегиран была предпринята по предложению доктора, узнавшего от тетушки Дьедонне о предстоящем браке Софи с молодым мельником, местным уроженцем; Паскалю захотелось узнать, все ли здоровы и счастливы в этом уголке. Как только они вошли в аллею под сень высоких зеленых дубов, их сразу охватила блаженная прохлада. По обеим ее сторонам текли ручьи, питавшие эту густолиственную растительность. У дома сыромятника они встретили влюбленных, Софи и ее мельника, которые целовались взасос возле колодца; тетушка только что отправилась полоскать белье, туда, под ивы Вьорны. Покраснев, оба вскочили в смущении.

Но доктор и его подруга сочувственно улыбались, и успокоившиеся влюбленные рассказали им, что свадьба назначена на Иванов день, до нее — увы — еще очень далеко, но она непременно состоится. Спасенная от наследственной болезни Софи окрепла и похорошела, она выросла, как те деревца, что уходят корнями во влажную почву на берегу ручья и стоят, подставив кроны солнцу. О, это пылающее бескрайнее небо, с какой щедростью вливало оно жизнь в людей и природу! У Софи было только одно горе — слезы повисли у нее на ресницах, когда она заговорила о своем брате Валентене, который едва ли протянет до конца недели. Накануне она узнала, что он обречен. И доктору пришлось немного покривить душой, чтобы ее успокоить, хотя он и сам ожидал с часу на час роковой развязки. Паскаль и Клотильда вернулись в Плассан медленным шагом, умиленные счастьем молодой четы, ее здоровой любовью, на которую повеяло дыханием смерти.

В старом квартале женщина, которую лечил Паскаль, сообщила ему, что Валентен только что умер. Двум соседкам пришлось увести Гирод, которая, словно безумная, с громким плачем цеплялась за тело сына. Паскаль вошел в дом, оставив Клотильду у дверей. Наконец они молча

направились обратно в Сулейяду. С тех пор как доктор возобновил практику, он, казалось, навещал больных только из профессионального долга и не приходил больше в восторг от чудес, совершаемых его лечением. Впрочем, его удивляло, что Валентен умер только теперь, и он понимал, что продлил жизнь больному на целый год. И все же, несмотря на столь замечательные результаты, смерть неизбежна, неотвратима. Сознание, что ему удалось на несколько месяцев отсрочить кончину Валентена, должно было бы принести ему удовлетворение, смягчить горькое сожаление о смерти Лафуаса, которую он незадолго перед тем невольно ускорил. Ничуть не бывало. Горькая складка залегла между его бровей и не изгладилась, даже когда они вернулись в свое уединение. Здесь их ожидало новое беспокойство. Паскаль увидел рабочего-шляпника Сартера под платанами, куда его посадила Мартина; этому обитателю Тюлет доктор долгое время делал впрыскивания. Увлекший Паскаля опыт, видимо, удался; впрыскивания экстракта нервного вещества вернули больному волю, недаром Сартер, выпущенный только утром из дома умалишенных, пришел сюда и клялся, что больше не подвержен припадкам, что совершенно избавился от мании убийства,

под влиянием которой он мог броситься на первого встречного и его задушить. Доктор смотрел на этого маленького чернявого человека с покатым лбом и асимметричным лицом, в котором было что-то птичье, с одной щекой, явно более утолщенной, чем другая, — больной находился в полном рассудке, был очень кроток и, преисполненный благодарности, целовал руки своему спасителю. В конце концов доктор растрогался, тепло попрощался с ним, рекомендуя вернуться к трудовой жизни, которую считал лучшим способом сохранить физическое и нравственное здоровье. После его ухода доктор успокоился, сел за стол и весело заговорил о другом.

Клотильда смотрела на него удивленно и даже с оттенком возмущения.

— В чем дело, учитель? Ты недоволен собой?

Он отшутился.

— О, я никогда не бываю доволен собой! А медициной, как ты знаешь, только по временам.

В ту ночь, лежа в постели, они впервые поссорились. Задув свечу, они остались в полной тьме, она прильнула к нему, тонкая, нежная, он крепко держал ее в объятьях, прижимая ее головку к груди. Клотильда сердилась на Паскаля за то, что он отказался от всякого честолюбия;

перебирая события дня, она снова стала упрекать его: почему он не радуется ни выздоровлению Сартера, ни даже продлению жизни Валентена? Теперь она страстно желала славы Паскаля. Она вспоминала о применявшемся им курсе лечения: разве не выздоровел он сам? Мог ли он отрицать действенность собственного метода? Клотильда трепетала, вызывая в памяти грандиозную мечту, которую он лелеял когда-то: победить человеческую немощь, единственную причину зла, исцелить страждущее человечество, оздоровить его, сделать более совершенным и, одарив здоровьем людей, ускорить приход всеобщего счастья и создание будущего общества, прекрасного и благоденствующего! В его руках эликсир жизни, панацея от всех зол, вселяющая беспредельную надежду!

Паскаль молчал, прильнув губами к обнаженному плечу Клотильды. Затем он пробормотал:

— Это правда, я выздоровел сам, вылечил других и все еще верю, что мои впрыскивания иногда приносят пользу... Я не отрицаю медицины, угрызения совести из-за несчастного случая с Лафуасом не изменили моего отношения к ней. До сих пор работа поглощала меня целиком, она была моей страстью, я сам чуть не умер, желая

доказать себе возможность возродить одряхлевшее человечество, сделать его сильным и рассудительным, Но все это лишь мечта, прекрасная мечта!

Она обвила его своими гибкими руками, еще крепче прижалась к нему.

— Нет, нет, это реальность, реальность, созданная твоим гением, учитель!

И, чувствуя свою безграничную близость с ней, он еще понизил голос, так что слова его были чуть слышны, словно легкое дыхание.

— Послушай, я доверю тебе то, что не сказал бы никому на свете, то, в чем не признался бы вслух самому себе… Исправить природу, вмешаться в нее, изменить ее, поставить препоны намеченной ею цели — похвальная ли это задача? Вылечить человека, отсрочить его смерть ради него самого, продлить его жизнь в ущерб всему человеческому роду — не означает ли это разрушить то, что наметила природа? Имеем ли мы право мечтать о человечестве, более здоровом, сильном, соответствующем нашему идеалу здоровья и силы? На что мы посягаем, как осмеливаемся вторгнуться в работу жизни, если ее пути и цели нам неизвестны? Возможно, все устроено хорошо. Быть может, мы рискуем

убить любовь, гений, самую жизнь… Пойми, я исповедуюсь одной тебе, меня взяло сомнение, я трепещу при мысли о моей алхимии грядущего века и начинаю думать, что лучше и правильнее предоставить эволюции идти своим путем.

Он замолчал и потом добавил так тихо, что она едва услышала его слова:

— Знаешь, теперь я впрыскиваю им чистую воду. Ты сама как-то обратила внимание, что больше не слышно моей ступки; а я сказал тебе, что у меня еще есть в запасе лекарство… Вода успокаивает больных, вероятно, в силу простого механического воздействия. Конечно, я по-прежнему мечтаю облегчить страдания, устранить их! Быть может, это моя последняя слабость, но я не могу видеть страдания, прихожу в исступление от зрелища этой чудовищной, бессмысленной жестокости природы… И я лечу только для того, чтобы люди не так мучились.

— Но если теперь ты не хочешь исцелять больных, учитель, — сказала она, — не говори им всей правды, ведь жестокая необходимость обнажать язвы имела одно оправдание — надежду их излечить.

— Нет, нет, надо знать правду, несмотря ни на что, ничего не скрывать, все говорить о людях и

явлениях. В неведении нет счастья, одна уверенность — залог спокойствия. Когда мы будем знать больше, мы, конечно, со всем примиримся… Но разве ты не понимаешь, что желание все излечить, все возродить вызвано гордыней, эгоизмом и бунтом против жизни, которую мы объявляем бессмысленной, ибо судим о ней с точки зрения собственных интересов. Я чувствую, что стал яснее духом, что расширил, обогатил свой кругозор, с тех пор как склонился перед необходимостью эволюции. Моя влюбленность в жизнь победила, я уже не доискиваюсь ее целей, готов полностью довериться ей, совершенно в ней раствориться, отказавшись переделывать ее согласно собственным представлениям о добре и зле. Одна жизнь всемогуща, она одна знает, что творит и куда идет, я могу лишь пытаться постичь ее, чтобы прожить так, как она этого требует… И знаешь, я это понял лишь теперь, когда ты стала моей. Прежде я искал истину вовне, я мучился навязчивой идеей спасти мир. Явилась ты, и жизнь стала полной, мир ежечасно спасается любовью, огромным непрекращающимся трудом всего, что живет и размножается во вселенной… Жизнь безгрешна, жизнь всемогуща, жизнь бессмертна!..

Слова замирали на его губах, трепетные, как

исповедь, как вздох того, кто отдается на волю высших сил. Она тоже больше не рассуждала, подчинившись тому же порыву.

— Учитель, я не хочу ничего, что противно твоей воле, возьми меня, пусть я буду твоя, пусть исчезну и вновь воскресну вместе с тобой в другом существе.

Они отдались друг другу. Потом опять раздался шепот: это были мечты о спокойном, здоровом существовании, о деревенской идиллии. Долголетний врачебный опыт подсказывал Паскалю, что жизнь на лоне природы лучшее средство от всех болезней. Он проклинал города. Чувствовать себя хорошо и быть счастливым можно только среди широких просторов, под жарким солнцем, отказавшись от денег, от честолюбия и даже от излишнего умственного труда, на который толкает нас гордыня. Не делать ничего — только жить и любить, возделывать землю и иметь чудесных детей.

— Да, ребенок, наш ребенок, который когда-нибудь родится… — повторил он тихонько.

Паскаль не докончил фразы, так взволновала его мысль о запоздалом отцовстве. Он избегал говорить об этом, но отворачивался и глаза его увлажнялись всякий раз, когда им улыбались

дети, встреченные во время прогулок.

Клотильда ответила просто, со спокойной уверенностью:

— Конечно, он родится!

Для нее это было естественным, необходимым следствием близости. В каждом поцелуе заключалась для нее мысль о ребенке; потому что любовь, не имеющая конечной целью ребенка, казалась ей бесполезной и гадкой.

Отчасти поэтому Клотильда не любила романов. Она не увлекалась чтением, как ее мать; ей было достаточно полета собственной фантазии; от выдуманных историй ей тотчас же становилось скучно. Она не переставала удивляться и негодовать на то, что в романах никогда нет места ребенку. О нем даже не вспоминают, и если он случайно появляется, нарушая любовные утехи, — это катастрофа, неожиданность, серьезная помеха. Пребывая в объятьях друг друга, любовники, казалось, никогда не думают, что творят новую жизнь, что от их близости может родиться ребенок. А между тем естественные науки, которыми занималась Клотильда, подтвердили ей, что единственной заботой природы является плод. Только он имеет значение, и все усилия природы направлены на то, чтобы семя

не погибло и мать зачала. Человек же, наоборот, возвышая и облагораживая любовь, устраняет самую мысль о плоде. В изысканных романах пол героев превратился лишь в орудие страсти. Они влюбляются, сходятся, расстаются, претерпевают жесточайшие муки, целуются, убивают друг друга, вызывают величайшие социальные потрясения, и все это ради любовных утех, вопреки законам природы, словно не подозревают, что, занимаясь любовью, люди зачинают детей, — это грязно и бессмысленно.

Клотильда оживилась и зашептала немного смущенная, с прелестной смелостью любимой женщины:

— Он родится… Раз мы делаем все, что нужно для этого, почему бы ему не родиться?

Паскаль ответил не сразу. Она почувствовала, что, лежа в ее объятьях, он похолодел, охваченный скорбью и сомнением. Затем он с грустью пробормотал:

— Нет, нет, слишком поздно… Вспомни, дорогая, о моем возрасте!

— Но ты молод! — вскричала она, охваченная новым порывом страсти, согревая его, покрывая поцелуями.

В конце концов они развеселились. И так и

заснули в объятьях друг друга; он, лежа на спине, сжимал ее левой рукой, она, тесно прижавшись к нему своим стройным, гибким телом, положила голову ему на грудь, так что ее рассыпавшиеся белокурые волосы смешались с его седой бородой. Сунамитянка дремала, прижавшись щекой к сердцу своего царя. И вскоре в большой, погруженной во мрак комнате, такой благосклонной к их любви, не стало слышно ничего, кроме их спокойного дыхания.

IX

Итак, доктор продолжал навещать больных в городе и окрестных деревнях. Почти всегда его сопровождала Клотильда, которая вместе с ним входила в дома бедняков.

Но как Паскаль шепотом признался ей однажды ночью, теперь он делал это, только чтобы облегчить страдания и утешить больных. Случалось и прежде, что он врачевал с отвращением, почувствовав всю бесполезность терапии. Ее эмпиризм приводил его в отчаяние. Как только медицина перестала быть для него экспериментальной наукой, превратившись в искусство, Паскаля стало тревожить бесконечное разнообразие заболеваний и способов их лечения, в зависимости от организма пациента. Способы эти менялись вместе с теориями: скольких людей, должно быть, погубили в прошлом отвергнутые ныне методы! Все зависело от чутья врача, исцелитель превращался в счастливо одаренного кудесника, который бродит ощупью, интуитивно применяя то одно, то другое лечение. Вот почему после двенадцати лет практики Паскаль

почти совсем отказался лечить больных, чтобы отдаться чистой науке. Позднее, когда изыскания о наследственности на мгновенье вселили в него надежду на возможность вмешиваться в природу, исцеляя людей открытыми им подкожными впрыскиваниями, он снова страстно отдался практике. Так продолжалось до того дня, когда вера в жизнь, которая заставляла его помогать организму, восстанавливая его жизненные силы, стала еще крепче и он проникся непоколебимой уверенностью в том, что природа не нуждается в посторонней помощи, что она сама созидательница здоровья и силы. И с присущей ему спокойной улыбкой на устах доктор теперь по-прежнему посещал больных, но лишь тех, кто настойчиво призывал его и которым он приносил облегчение впрыскиваниями чистой воды.

Клотильда отваживалась иногда подсмеиваться над этим. В глубине души она продолжала верить в таинственные силы и говорила шутя, что если Паскалю удается творить чудеса, — значит, в нем самом заложена какая-то сила, значит, он и есть настоящий бог! Доктор весело возражал ей, что во время их совместных визитов сила исходит от нее, — больного не удается излечить в ее отсутствие, стало быть, это она приносит

веяние иного мира, неведомую, целительную силу. Недаром богатые буржуа, в дома которых она не решается входить, продолжают стенать, они не получают ни малейшего облегчения. Эти шутливые препирательства доставляли обоим удовольствие — они отправлялись на обход с таким чувством, словно им предстояли новые открытия, и, сидя у больного, обменивались понимающими взглядами. Ах, эта негодяйка боль, до чего же она их возмущала, ведь ее одну они хотели теперь победить, и как же они радовались, когда это удавалось! Они были вознаграждены по-царски, видя, что на лбу больного высыхает холодный пот, что судорога уже не кривит губ и помертвевшее лицо оживает. Без сомнения, их взаимная любовь приносила облегчение в этот маленький мирок страждущего человечества.

— Смерть — естественное явление, — говорил часто Паскаль. — Но к чему страдания? Они ужасны, бессмысленны!

Однажды после обеда доктор в сопровождении Клотильды отправился навестить больного в деревушке Святой Марты: пожалев Добряка, они решили поехать по железной дороге, и на вокзале у них произошла неожиданная встреча. Их поезд шел из Тюлет. Святая Марта была первой

остановкой в противоположном направлении в сторону Марселя. Когда пришел поезд, они поспешили к нему и уже открыли дверцу вагона, как вдруг из купе, которое они считали свободным, вышла г-жа Ругон. В последнее время она с ними не разговаривала; легко спрыгнув со ступеньки, несмотря на свой возраст, она удалилась с чопорным и весьма достойным видом.

— Сегодня первое июля, — сказала Клотильда, когда поезд тронулся. — Бабушка возвращается из Тюлет, она навещала тетю Диду, как делает это обычно раз в месяц… Ты видел, какой взгляд она на меня бросила?

В глубине души Паскаль радовался ссоре с матерью, освобождавшей его от назойливого присутствия старой дамы.

— Ба, если не можешь договориться, лучше вовсе не встречаться, — спокойно проговорил он.

Но девушка призадумалась и опечалилась. Потом сказала вполголоса:

— Я нахожу, что бабушка очень изменилась, побледнела… И вдобавок, ты заметил, у нее, всегда такой подтянутой, только на одной руке, на правой, зеленая перчатка… Не знаю почему, вид бабушки перевернул мне душу.

Зараженный тревогой Клотильды, Паскаль

неопределенно махнул рукой. Ну конечно, даже его мать старится, как все прочие. Она слишком суетится, слишком все принимает к сердцу. Он рассказал Клотильде, что г-жа Ругон намерена завещать свое состояние городу Плассану, на постройку богадельни имени Ругонов. Оба снова улыбнулись, а Паскаль, что-то вспомнив, воскликнул:

— Постой, да ведь завтра мы тоже должны отправиться в Тюлет к нашим больным. Кстати, я обещал дяде Маккару привезти к нему Шарля.

Фелисите и в самом деле возвращалась в этот день из Тюлет, куда ездила первого числа каждого месяца, чтобы справиться о здоровье тети Диды. Многие годы она неустанно интересовалась состоянием безумной, пораженная тем, что та все еще живет, злясь, что старуха являет настоящее чудо долголетия и упорно не желает умирать, хотя уже прошли для этого все естественные сроки. С каким облегчением вздохнет Фелисите, когда в одно прекрасное утро похоронит этого ненужного свидетеля прошлого, этот призрак долготерпения и искупительной жертвы, который вызывает в памяти людей страшные грехи их семьи! Столько достойных ушло из нашего бренного мира, а эта помешанная, у которой только в глазах теплится

искорка жизни, как будто забыта богом на земле. В то утро, как обычно, Фелисите застала старуху в кресле, иссохшую, прямую, недвижимую. Сиделка уверяла, что она никогда не умрет. Ей исполнилось сто пять лет!

Фелисите вышла из дома умалишенных возмущенная. Она вспомнила о дядюшке Маккаре. Вот кто ей тоже мешает, кто приводит ее в отчаяние своим упорным нежеланием умирать! Хотя ему было всего восемьдесят четыре года, только на три года больше, чем ей, Фелисите казалось, что он до смешного стар и зажился на свете, переступив все дозволенные границы. А ведь он всегда предавался излишествам и вот уже шестьдесят лет каждый вечер бывает мертвецки пьян! Добропорядочные, воздержанные умирают, а он с каждым днем становится все бодрее, крепче, его распирает от здоровья и веселья. В былые времена, когда он еще только обосновался в Тюлет, она задаривала его вином, ликерами, водкой, не признаваясь самой себе, что надеется таким образом избавиться от негодяя, который не приносит семье ничего, кроме неприятностей и позора. Но скоро она заметила, что спиртные напитки только идут ему впрок, физиономия его так и лоснится, во взгляде сквозит озорная

насмешка; тогда Фелисите перестала ублажать Маккара, поняв, что он лишь толстеет от яда, на который она так надеялась. Она затаила против него страшную злобу, чувствуя, что охотно убила бы пьяницу, если бы только посмела! Ведь при каждой встрече он держится на ногах все крепче, все увереннее, смеется ей прямо в лицо, ибо прекрасно знает, что она ждет не дождется его смерти, и ликует, что не доставляет ей удовольствия похоронить вместе с ним грязное белье прошлого — всю кровь и мерзость двух завоеваний Плассана.

— Эх, Фелисите, — говорил он ей частенько со свойственной ему жестокой издевкой, — я живу на этом свете, чтобы оберегать нашу старую матушку, когда же мы с ней решимся наконец умереть — это будет исключительно из любезности к вам, да! Только для того, чтобы избавить вас от труда навещать нас по доброте душевной, как вы это делаете каждый месяц.

В последнее время, чтобы уберечь себя от разочарования, она даже не заходила к дядюшке, а только справлялась о нем в доме умалишенных. Но на этот раз г-жа Ругон узнала, что у него был приступ необычного запоя, — он не протрезвлялся целых две недели и, верно, еще не выходит из

дому, ее охватило любопытство, и ей захотелось собственными глазами увидеть, до какого состояния он сам себя довел. Вот почему по дороге на станцию она сделала крюк, чтобы зайти в домик дядюшки.

День выдался великолепный, жаркий, солнечный. Идя по узкой дорожке, она смотрела по сторонам на поля, которые Маккар когда-то выманил у нее, на всю эту плодородную землю, — плату за его молчание и хорошее поведение. В ярких лучах солнца выкрашенный в густой желтый цвет домик под розовой черепичной крышей, казалось, весело улыбался ей… Войдя под тень старых тутовых деревьев у террасы, она ощутила освежающую прохладу, залюбовалась прекрасным видом. Поистине райский уголок — достойный приют для старика, кончающего здесь в мире и покое долгую добродетельную жизнь!

Но дядюшки не было ни видно, ни слышно. Стояла глубокая тишина. Только пчелы жужжали возле высоких мальв. А на террасе, в тени, растянулся маленький рыжий песик, «лубе», как их называют в Провансе. Собачонка, подняв голову, заворчала, собираясь залаять, но, узнав посетительницу, снова улеглась и больше уже не двигалась. И вдруг, несмотря на этот ничем не

нарушаемый покой, несмотря на радостный свет солнца, Фелисите охватил странный озноб, и она громко позвала:

— Маккар!.. Маккар!..

Дверь бастиды под шелковицами была открыта настежь. Но она не осмеливалась войти: пустой, как будто разверстый дом встревожил ее, и она снова позвала:

— Маккар!.. Маккар!..

Ни звука, ни шороха. Гнетущая тишина, только одни пчелы жужжат вверху, кружась возле высоких мальв.

Наконец Фелисите устыдилась своего страха и храбро вошла в дом. Дверь налево, ведущая из передней в кухню, где обыкновенно находился дядюшка, была затворена. Фелисите толкнула ее, но сначала ничего не могла различить, видимо, Маккар закрыл ставни, чтобы спрятаться от жары. Первое, что она ощутила, был удушливый запах спирта, он наполнял всю комнату и ударил ей в нос так, что она чуть не задохнулась. Казалось, он исходил от каждого предмета, весь дом был им пропитан. Когда же глаза привыкли к полутьме, она смутно различила фигуру дядюшки. Он сидел за столом, на котором стоял стакан и опорожненная бутылка восьмидесятипятигра-

дусного коньяка. Словно брошенный в кресло куль, Маккар спал, мертвецки пьяный. При виде этой картины Фелисите вновь охватили гнев и презрение.

— Послушайте, Маккар! Стыдно и глупо доводить себя до такого состояния!.. Проснитесь же! Какой позор!..

Но он спал так крепко, что не слышно было даже его дыхания. Она повысила голос, стала хлопать в ладоши, все было тщетно.

— Маккар! Маккар! Маккар! Да на вас противно смотреть, милейший!

И, махнув на него рукой, она без церемоний принялась расхаживать по комнате, наталкиваясь на мебель. Ей мучительно хотелось пить после ходьбы по пыльной дороге из дома умалишенных. В перчатках было неудобно, она сняла их и положила на край стола. Затем ей посчастливилось найти кувшин с водой, она проворно вымыла стакан, налила его до краев и поднесла ко рту, но тут увидела необычайное зрелище, до того взволновавшее ее, что она поставила стакан подле перчаток, даже не пригубив его.

Она уже лучше видела в комнате, куда сквозь щели старых, рассохшихся ставней пробивались солнечные лучи. Теперь она отчетливо различала

Маккара, как всегда аккуратно одетого в костюм из синего сукна, в неизменном меховом картузе, который он носил круглый год. За последние пять-шесть лет он раздобрел и казался тушей, заплывшей жиром. Очевидно, Маккар курил, перед тем как заснуть, потому что трубка, коротенькая черная трубка, лежала у него на коленях. И вдруг Фелисите оцепенела, увидев, что рассыпавшийся горячий пепел попал на брюки; и сквозь дыру в сукне, ставшую величиной с пятифранковую монету, виднелась обнаженная красная ляжка и маленький голубоватый огонек.

Сначала Фелисите решила, что загорелось белье, кальсоны, рубаха. Но сомнений быть не могло — она ясно видела голое тело и над ним голубоватое пламя, легкий, танцующий огонек, подобный тому, который скользит по поверхности чаши с горящим пуншем. Пока еще он был не выше, чем у зажженного ночника, — еле заметный и такой неустойчивый, что колебался от малейшего дуновения. Но он быстро увеличивался, распространялся, кожа трескалась, и жир начинал растапливаться.

У Фелисите вырвался невольный крик:

— Маккар! Маккар!

Он не пошевелился. Очевидно, он совсем по-

терял чувствительность, опьянение довело его до коматозного состояния, до полного паралича, ибо он все еще был жив, — грудь поднималась и опускалась, он дышал медленно, ровно.

— Маккар! Маккар!

Теперь жир сочился из трещин кожи, и пламя, добравшееся уже до живота, разгоралось все сильнее, Фелисите поняла, что на ее глазах дядюшка воспламеняется, как губка, пропитанная спиртом. Ведь он многие годы поглощал спирт, и притом самый крепкий, самый горючий. Было ясно, что он вот-вот запылает с ног до головы.

И тут у Фелисите пропало желание его будить, если уж он спит так крепко. Прошла бесконечная минута, она же в страхе смотрела на него, постепенно принимая решение. Руки ее дрожали мелкой дрожью, которую она не могла унять. Она задыхалась и, схватив обеими руками стакан воды, залпом осушила его. Потом дошла на цыпочках до двери, но вдруг вспомнила о перчатках. Она вернулась, ощупью нашла их на столе и подумала, что взяла обе. Наконец вышла из дома и закрыла за собой двери, тихо, осторожно, словно боялась кого-то обеспокоить.

Очутившись на террасе, залитой ярким солнцем, на свежем воздухе, под широко раскинув-

шимся светлым небосводом, она вздохнула с облегчением. Деревня была безлюдна, никто не видел, конечно, ни как она вошла, ни как вышла. Кругом не было ни души, кроме растянувшейся на террасе рыжей собачонки, которая не соблаговолила даже поднять голову. И Фелисите удалилась мелкими, быстрыми шажками, слегка покачиваясь на ходу, словно девушка. Но не сделала она и сотни шагов, как какая-то непонятная сила, которой она тщетно пыталась воспротивиться, заставила ее оглянуться в последний раз на дом посреди косогора, такой спокойный и веселый в закатном свете безоблачного дня. Только в поезде, когда г-жа Ругон хотела натянуть перчатки, она хватилась, что недостает одной. Но она не сомневалась, что, входя в вагон, обронила ее на платформе. Фелисите полагала, что совершенно спокойна, а между тем только на одной руке у нее была перчатка, а у такого человека, как она, это свидетельствовало о сильнейшем волнении.

На другой день Паскаль и Клотильда поехали трехчасовым поездом в Тюлет. Они взялись отвезти Шарля к дядюшке, у которого он должен был прожить неделю, и мать мальчика, жена шорника, привела его к ним. В семье шорника опять начались несогласия; муж наотрез отка-

зался терпеть у себя впредь этого чужого ребенка, этого наследного принца, бездельника и тупицу. Одежду Шарлю покупала бабушка Ругон, и потому даже сегодня он был наряжен в черный бархат с золотыми шнурами, ни дать ни взять юный феодал, паж былых времен, направляющийся ко двору. В купе, где они оказались одни, Клотильда, играя, сдергивала с головы Шарля шапочку и гладила его восхитительные белокурые волосы, роскошными локонами рассыпавшиеся по плечам. На пальце у Клотильды было кольцо, и, погладив мальчика, она с ужасом заметила у него на шее кровавый след. Стоило дотронуться до Шарля, и на этом месте тотчас же выступали красные капельки. Шарль страдал слабостью тканей, усугубленной вырождением, вот почему всякий пустяк вызывал у него кровотечение. Доктор встревожился, спросил, часто ли у него идет носом кровь. Но Шарль не мог ответить связно, сначала он пробормотал «нет», потом вспомнил и рассказал, что на днях у него долго не могли остановить кровь. Он и в самом деле с годами хирел, и по мере того как рос, все сильнее впадал в младенчество, а его умственные способности угасали, не успев пробудиться. Этому красивому пятнадцатилетнему мальчику с нежной кожей,

похожему на девочку, на цветок, выросший в тени, нельзя было дать больше десяти лет. Растроганная, опечаленная Клотильда держала его на коленях, но ей пришлось снова усадить его рядом с собой, когда он попытался засунуть руку в вырез ее корсажа, повинуясь преждевременно пробудившемуся инстинкту, словно маленькое похотливое животное.

Когда после пятнадцати минут езды они прибыли в Тюлет, Паскаль решил прежде всего отвести Шарля к дядюшке. И они стали взбираться по довольно крутому косогору. В ярком солнечном свете маленький домик, как и накануне, радовал издали взор розовой черепичной крышей, желтыми стенами и узловатыми раскидистыми шелковицами, укрывшими террасу густым лиственным покровом. Восхитительный покой исходил от этого уединенного уголка, этого убежища мудреца, откуда не доносилось иных звуков, кроме жужжания пчел над высокими мальвами.

— Ох и завидую же я шалопаю дядюшке! — пробормотал, смеясь, Паскаль.

Он удивился, что не видит, как обычно, Маккара на террасе. Шарль, увлекая за собой Клотильду, побежал смотреть кроликов, и доктор один на-

правился к дому, недоумевая, почему никто не выходит ему навстречу. Ставни были закрыты, входная дверь широко распахнута. Одна рыжая собачонка, напружинив лапы и ощетинившись, тихо, протяжно выла на пороге. Узнав посетителя, она на мгновенье умолкла, отошла подальше и снова принялась скулить.

Паскаль, в сердце которого закрался страх, тревожно позвал:

— Маккар! Маккар!

Никто не ответил, дом словно вымер, и только открытая настежь дверь зияла черной дырой. Собака продолжала выть.

Паскаль потерял терпение и закричал громче:

— Маккар! Маккар!

Ничто не шелохнулось, жужжали пчелы, и огромное ясное небо мирно простиралось над этим уединенным уголком. Тогда Паскаль решился. Может быть, дядюшка спит. Но как только он толкнул дверь, ведущую в кухню, его обдало страшным зловонием, невыносимым запахом горелых костей и мяса. В комнате Паскаль едва не задохнулся — в горле у него першило, глаза слезились от застоявшегося удушливого чада. В скупом свете, пробивавшемся сквозь ставни, было трудно что-либо разглядеть. Он первым делом

подбежал к камину, но тотчас отверг пришедшую ему в голову мысль о пожаре, потому что в камине не горел огонь и вся мебель была цела. Ничего не понимая, чувствуя, что теряет сознание в этом отравленном дыму, он стремительно кинулся открывать ставни. В комнату ворвался поток света.

То, что доктор увидел в следующее мгновенье, поразило его. Все вещи находились на месте: стакан и бутылка коньяка стояли на столе, и только стул, где, должно быть, сидел дядюшка, хранил следы пожара, передние ножки почернели, соломенное сиденье обгорело. Что стало с дядюшкой? Куда он исчез? Перед стулом, на плиточном полу, залитом жиром, осталась только маленькая кучка пепла, а рядом лежала трубка, черная трубка, которая даже не разбилась при падении. Все, что было дядюшкой, заключалось в этой горсточке тонкого пепла, в рыжеватом облаке дыма, уходившем в открытое окно, и в слое сажи, который покрывал кухню страшным, все обволакивающим налетом, липким, омерзительным на ощупь.

Это был наиболее разительный пример самовозгорания, какой когда-либо пришлось наблюдать врачу. Паскаль читал в научной лите-

ратуре о таких из ряда вон выходящих случаях, в частности, о жене сапожника, пьянице, которая заснула возле жаровни с углями и сгорела, от нее осталась только ступня и кисть руки. Однако, в отличие от своих предшественников, Паскаль считал невозможным, не верил, что пропитавшееся алкоголем тело выделяет неизвестный газ, способный внезапно воспламениться и уничтожить мясо и кости. Теперь доктор уже не мог оспаривать того, что произошло, он постарался все объяснить, восстановить факты: коматозное состояние, наступившее в результате пьянства, полная потеря чувствительности, самовозгорание от трубки, упавшей на одежду; тело Маккара, пропитанное спиртом, видимо, горело и трескалось, жир таял, одна часть его стекла на землю, а другая поддерживала горение, пока наконец пламя не пожрало мускулы, внутренности, кости. Все, что было дядюшкой, вместе с его синим суконным костюмом, неизменным меховым картузом, который он носил круглый год, лежало здесь, на полу. Без сомнения, загоревшись словно факел, он упал ничком, отчего стул только обгорел; от дядюшки не осталось ничего, ни косточки, ни зуба, ни ногтя, — только эта маленькая кучка серого пепла, которую вот-вот рассеет порыв

сквозняка.

Тем временем в комнату вошла Клотильда, оставив Шарля во дворе, где он заинтересовался непрерывным воем собаки.

— Боже мой, что это за запах?! — спросила Клотильда. — Что случилось?

Когда Паскаль объяснил ей, какой ужасной смертью погиб дядюшка, она содрогнулась. Схватила бутылку, чтобы получше ее рассмотреть, но тут же с ужасом отдернула руку, ибо стекло было покрыто клейкой сажей. Ни до чего нельзя было дотронуться, на всем лежал желтоватый жировой налет, прилипавший к рукам.

Дрожа от ужаса и отвращения, Клотильда заплакала.

— Какая жалкая смерть! Страшная смерть! — лепетала она.

Паскаль оправился от первого потрясения и попытался улыбнуться.

— Страшная? Но почему же?.. Ему было восемьдесят четыре года, и он умер, не страдая. Я нахожу превосходной такую смерть для старого бандита, нашего дядюшки, который — да простит меня бог, теперь можно в этом признаться — вел жизнь, мало подобающую доброму католику… Помнишь папку Маккара, на его совести

лежали поистине гнусные и страшные дела, что, впрочем, не помешало ему остепениться и состариться среди земных радостей, как подобает почтенному балагуру, вкушающему награду за великие добродетели, каких у него не было… И вот он умирает по-царски, как король пьяниц, воспламенившись, сгорев на костре собственной плоти!

И доктор, который все еще не пришел в себя от изумления, развел руками, словно желая расширить рамки того, что здесь произошло.

— Вот посмотри!.. Напиться до бесчувствия, не заметить, что горишь, вспыхнуть, словно огонек в Иванову ночь, и превратиться в дым, целиком, до последней косточки!.. Что ты на это скажешь? Взгляни, как рассеялся дядюшка, сначала по комнате, тая в воздухе и на лету оседая на все принадлежавшие ему вещи, а затем, когда я открыл ставни, чадным облаком вырвался в окно и улетел прочь, в небо, к горизонту… Да ведь это чудесная смерть! Исчезнуть, оставить после себя только горсть пепла и рядом с ней трубку!

И он подобрал трубку, чтобы сохранить, как он сказал, на память о дядюшке, а Клотильда, которой за этим приступом лирического восхищения почудился привкус горькой иронии, непрерывно

дрожала от ужаса и отвращения.

И вдруг она заметила что-то под столом, словно какой-то лоскут.

— Посмотри, что там такое!

Паскаль нагнулся и, к своему удивлению, поднял женскую перчатку, зеленую перчатку.

— Это перчатка бабушки, — воскликнула Клотильда, — помнишь, вчера вечером на одной руке у нее не было перчатки.

Они переглянулись, и обоим пришла на ум одна и та же мысль: без сомнения, Фелисите приходила сюда накануне, и у доктора внезапно окрепла догадка, что его мать видела, как воспламенился дядюшка, и сознательно не потушила пьяницу. Многое подтверждало это предположение: и то, что комната уже успела охладиться к их приходу, и расчет времени, необходимый для сгорания тела, который мысленно сделал Паскаль. По испуганным глазам своей подруги он ясно видел, что то же подозрение родилось и у нее. Но так как было невозможно доискаться истины, он высказал вслух наиболее правдоподобное объяснение:

— Я уверен, что, возвращаясь из дома умалишенных, твоя бабушка заходила сюда проведать дядю до того, как он начал пить.

— Уйдем отсюда, уйдем! — закричала Кло-

тильда. — Я задыхаюсь, я не могу здесь больше оставаться!

Паскаль, однако, решил заявить о происшедшем. Он вышел вслед за Клотильдой, запер дом, положил ключ в карман. Во дворе они снова услышали протяжный вой рыжей собачонки. Она уткнулась носом в колени Шарля, и мальчик, забавляясь, пинал ее ногой и тупо слушал, как она скулит.

Доктор направился прямо к местному нотариусу г-ну Морену, одновременно занимавшему должность мэра. Потеряв жену лет десять тому назад, он жил с дочерью, бездетной вдовой, и поддерживал добрососедские отношения со старым Маккаром, а иногда даже на целый день брал к себе Шарля, так как его дочь очень жалела этого несчастного красивого мальчика. Г-н Морен пришел в ужас и тут же согласился пойти с доктором, чтобы констатировать несчастный случай и выдать официальное свидетельство о смерти. Однако похоронить дядюшку по христианскому обычаю было не так-то просто. Когда они вошли в кухню, ворвавшийся вместе с ними порыв ветра унес пепел, и, хотя они попытались благоговейно собрать останки Маккара, им ничего не удалось поднять с пола, кроме скопившейся там грязи, в

которой было весьма мало дядюшкиного праха. Что же тогда предавать земле? Не лучше ли вовсе отказаться от этой мысли? И они отказались от похорон. К тому же дядюшка был не слишком религиозен, и семья удовлетворилась тем, что заказала впоследствии несколько панихид за упокой его души.

Нотариус тотчас спохватился, что существует завещание, врученное ему в свое время Маккаром. Он без промедления пригласил доктора на послезавтра для официального вскрытия завещания и тут же сказал Паскалю, что дядюшка назначил его своим душеприказчиком. Добросердечный Морен предложил временно взять к себе Шарля, понимая, что мальчик, с которым и так плохо обращаются дома, будет мешать родным во время всех этих хлопот. Шарль был в восторге и остался в Тюлет.

Клотильда и Паскаль вернулись в Плассан поздно, с семичасовым поездом, после того как доктор проведал еще двух больных. Два дня спустя они вдвоем явились к г-ну Морену и были неприятно удивлены, увидев у него г-жу Ругон. Неугомонная старуха, конечно, узнала о смерти Маккара и прибежала к нотариусу, бурно выражая свое безутешное горе. Впрочем, чтение

завещания прошло очень гладко, без недоразумений: Маккар завещал все, что он мог извлечь из своего скромного состояния, на великолепную мраморную гробницу — двух исполинских плачущих ангелов со сложенными крыльями. Это была его выдумка, подсказанная воспоминанием о могиле, которую он видел где-то за границей, вероятно в Германии, когда еще был солдатом. И он возложил на своего племянника Паскаля заботу о сооружении памятника, ибо, по словам Маккара, у него одного из всей семьи есть вкус.

Пока читали завещание, Клотильда сидела на скамье в саду нотариуса под сенью старого каштанового дерева. Как только Паскаль и Фелисите увидели друг друга, наступило недолгое замешательство, ибо они не разговаривали уже несколько месяцев. Впрочем, старая дама старалась держаться непринужденно; не намекала на создавшиеся отношения, давая понять, что можно вполне дружелюбно встречаться на людях, без всяких объяснений и примирений. Но она совершила ошибку, слишком настойчиво повторяя, что смерть Маккара причинила ей большое горе. Паскаль догадался о радости, о восторге Фелисите при мысли, что с кончиной бандита дядюшки эта семейная язва наконец зарубцуется, — терпение

у него лопнуло, и он поддался порыву негодования. Его взгляд невольно остановился на руках матери — на этот раз в черных перчатках.

Она между тем как раз выражала свое горе, повторяя сладким голосом:

— Ну благоразумно ли было с его стороны упрямиться и жить в полном одиночестве, словно волк! Будь у него хотя бы служанка!

Тут доктор, повинуясь какой-то неодолимой силе, заговорил, не вполне отдавая себе отчет в том, что он делает, и сам испугался, услышав собственные слова:

— Но вы-то, матушка, были там, почему же вы не затушили огня?

Старая г-жа Ругон смертельно побледнела. Откуда сын мог об этом узнать? С минуту она безмолвно смотрела на него: у Клотильды тоже сошла вся краска с лица, — девушка более не сомневалась, что у Маккара совершилось преступление. Зловещее молчание, наступившее между матерью, сыном и внучкой, было само по себе признанием, ведь за подобным тревожным молчанием скрываются обычно семейные трагедии. Женщины растерялись. А доктор, в отчаянье от того, что не удержался и заговорил, хотя до сего времени тщательно избегал неприятных и

бесполезных объяснений, лихорадочно придумывал, как бы вернуть назад вырвавшиеся слова, но тут новое несчастье нарушило это тягостное замешательство.

Не желая злоупотреблять гостеприимством г-на Морена, Фелисите решила снова взять к себе Шарля; но мальчика отвели после завтрака в дом умалишенных, чтобы он провел часок у тети Диды, и теперь нотариус срочно послал за ним служанку. И вот служанка, которую они поджидали в саду, прибежала вся потная, красная, возбужденная.

— Боже мой! Боже! — закричала она еще издали. — Идите скорей… Господин Шарль истекает кровью!

Перепуганные Фелисите, Паскаль и Клотильда поспешили в дом умалишенных.

Этот день был одним из хороших дней тети Диды, тихая, очень спокойная, вперив взгляд в одну точку, она покоилась, как всегда, в кресле, где за последние двадцать два года провела столько долгих часов. Казалось, она еще похудела, от нее остались только кожа и кости; сиделка, крепкая белокурая девушка, носила ее, кормила и обращалась с нею как с вещью, которую переставляют по своему усмотрению. Позабытая всеми прароди-

тельница, высокая, узловатая, страшная, сидела неподвижно, на ее тонком, высохшем лице жили только глаза, светлые глаза цвета родниковой воды. Но в это утро потоки слез неожиданно залили ее щеки, и она принялась бормотать бессвязные слова; казалось, это говорило о том, что, несмотря на старческое истощение и прогрессирующее безумие, разум ее не совсем погас; в памяти тети Диды еще сохранялись какие-то воспоминания, и порой у нее вспыхивали проблески мысли. Но лицо ее снова принимало застывшее выражение, и, безразличная ко всему на свете, она лишь улыбалась иногда, если кто-нибудь падал, ушибался в ее присутствии, но чаще всего не видела, не слышала ничего и без конца созерцала пустоту.

Когда к ней привели Шарля, сиделка тотчас устроила его за маленьким столиком напротив прапрабабушки. У сиделки хранились для него картинки — солдаты, капитаны, короли в пурпуре и золоте, которые она и дала ему вместе с ножницами.

— Вот, играйте тихонько, будьте умницей. Смотрите, бабушка ведет себя хорошо. И вы ведите себя хорошо.

Мальчик поднял глаза на сумасшедшую, и некоторое время они смотрели друг на друга. В такие

минуты их сходство было разительным. Особенно глаза — пустые, прозрачные глаза — казались совсем одинаковыми. Такое же сходство было и в обоих лицах; черты столетней старухи повторились через три поколения в личике ребенка, словно тоже чем-то испуганном, очень старообразном и отмеченном наследственностью, которая тяготела над их родом. Прапрабабушка и праправнук ни разу не улыбнулись, только внимательно смотрели друг на друга с важным видом слабоумных.

— Да! — продолжала сиделка, привыкшая говорить сама с собой, чтобы немного развлечься в обществе помешанной. — Им не отпереться от родства. Яблоко от яблони недалеко падает. Точь-в-точь как вылитые… Ну же, посмейтесь немного, позабавьтесь, раз уж вам так нравится быть вместе.

Но длительное напряжение утомляло Шарля, и он первый опустил голову, будто заинтересовавшись картинками, а тетя Дида, обладавшая поразительной способностью не менять положения, продолжала все так же, не моргая, на него глядеть.

Сиделка пробыла еще некоторое время в маленькой, залитой солнцем комнатке, такой

приветливой благодаря светлым обоям с голубыми цветочками. Она застелила постель, которую проветривала, прибрала белье в шкафу. Обычно она пользовалась присутствием Шарля, чтобы немного отдохнуть. В ее обязанности входило не спускать глаз со своей подопечной, но когда сюда приходил мальчик, она оставляла больную под его присмотром.

— Послушайте, — обратилась к нему сиделка, — мне нужно уйти, но если она пошевелится, если я ей понадоблюсь, вы тотчас же позвоните и вызовите меня, хорошо?.. Вы уже не маленький и знаете, как это надо делать.

Шарль поднял голову и утвердительно кивнул в ответ. Оставшись один с тетей Дидой, он снова послушно взялся за картинки. Прошло минут пятнадцать в глубокой тишине больницы, где слышались, как в тюрьме, только приглушенные звуки: чьи-то тихие шаги, звяканье ключей, порой громкие, тотчас же обрывавшиеся крики. В этот душный день ребенок, должно быть, переутомился; сон сморил его, и скоро его белая, как лилия, головка склонилась под тяжестью роскошных кудрей; он тихонько уронил ее на картинки и заснул, положив щеку на своих золотых и пурпурных королей. Ресницы опущенных

век отбрасывали легкую тень, голубые жилки под нежной кожей едва заметно бились. Но на его прекрасном, кротком, ангелоподобном личике лежала неуловимая печать развращенности целого рода. Тетя Дида продолжала смотреть на мальчика своим пустым взглядом, в котором не было ни радости, ни страдания, — взглядом вечности, созерцающей бренный мир.

И все же несколько минут спустя нечто вроде любопытства забрезжило в ее светлых глазах. Дело в том, что из левой ноздри Шарля показалась красная капелька, которая все увеличивалась. Капля скатилась, на ее месте образовалась другая. Это была кровь, кровавая роса, выступившая как бы сама собой, ведь мальчика никто не тронул, не толкнул — таково было следствие полной непригодности организма, последней стадии вырождения. Мало-помалу капли превратились в тонкую струйку, которая потекла на разрисованные золотом картинки. Маленькая лужица затопила их, пробилась к краю стола; скоро появились новые капли, тяжелые, густые, они шлепались одна за другой на плиточный пол. А Шарль продолжал спать, божественно спокойный, как херувим, не сознавая, что из него понемногу выходит жизнь; между тем безумная

смотрела на него с растущим любопытством, без всякого испуга, скорее даже с интересом; это зрелище занимало ее, как полет больших мух, за которыми она следила порой часами.

Шли минуты. Красная струйка ширилась, капли капали все чаще и с легким шумом монотонно ударялись о пол. Вдруг Шарль пошевелился, открыл глаза, заметил, что он весь в крови. Но мальчик не испугался, он привык к кровотечениям, которые бывали у него от малейшего ушиба. Он только жалобно застонал. Потом, почувствовав недоброе, испугался и застонал громче, невнятно призывая:

— Мама! Мама!

Непреодолимое оцепенение охватило его, он очень ослабел и снова уронил голову. Глаза опять закрылись, казалось, он уснул и, словно во сне, продолжал стонать, все слабее, все глуше:

— Мама! Мама!

Картинки были залиты кровью, черная бархатная курточка и штанишки с золотым галуном были испещрены длинными алыми полосами, а упрямый красный ручеек все лился и лился из левой ноздри, и кровь, скопившись на столе, стекала на пол, где мало-помалу образовалась большая лужа. Если бы безумная вскрикнула,

сиделка услышала бы ее испуганный возглас. Но она не кричала, не звала и, не двигаясь, смотрела пристальным, тупым взглядом, как свершается судьба, прародительница сидела словно скованная, глубокая старость иссушила ее тело, отняла дар речи, отуманила мозг, лишила воли желать и действовать. И все же вид маленького красного ручейка что-то пробудил в ней. По омертвелому лицу пробежала дрожь, щеки вспыхнули. И наконец она ожила, услышав последнюю жалобу:

— Мама! Мама!

В душе тети Диды происходила, видимо, жестокая борьба. Она поднесла к вискам костлявые руки, как будто у нее раскалывалась голова. Рот широко открылся, но из него не вылетело ни единого звука; страшное возбуждение, охватившее ее, сковало язык. Она пыталась встать, бежать — ноги не слушались ее, она была по-прежнему пригвождена к месту. Все ее немощное тело дрожало от нечеловеческого усилия позвать кого-нибудь на помощь, но она не могла сбросить с себя путы дряхлости и слабоумия. Взволнованное лицо говорило о том, что ее сознание пробудилось и она поняла все.

Медленная, безболезненная агония Шарля длилась еще несколько томительных минут.

Мальчик, будто уснувший и теперь уже замолкший, терял последние капли крови, которые тихо ударялись о пол. Его лилейная бледность все увеличивалась, превращаясь в трупную. Губы мало-помалу обесцветились, стали розоватыми, затем белыми. Перед тем как испустить дух, он широко раскрыл глаза и устремил их на прародительницу, которая увидела, как в них погасла последняя искра жизни. Его восковое лицо было уже мертво, но глаза еще светились. Они сохраняли прозрачность, ясность. И вдруг стали пустыми, погасли. Глаза умерли — то был конец. Шарль скончался тихо, ни разу не вздрогнув, уподобившись источнику, из которого вытекла вся вода. Жизнь больше не трепетала в висках под нежной кожей; на побелевшие щеки падала только тень от ресниц. И все же он оставался божественно прекрасным, голова его в рамке рассыпавшихся роскошных светлых кудрей утопала в крови, и он был похож на тех обреченных дофинов, которые, не выдержав страшного наследия своего рода, умирают в возрасте пятнадцати лет от дряхлости и слабоумия.

Не успел мальчик испустить последний вздох, как в комнату вбежали Паскаль, Фелисите и Клотильда. При виде крови, залившей пол, доктор

вскричал:

— Боже! Случилось то, чего я опасался! Бедное дитя! Никого не было при нем, все кончено!

Но тут все трое застыли, потрясенные тем, что произошло в следующую минуту. Тете Диде, которая стала как бы выше ростом, почти удалось подняться. В ее глазах, устремленных на маленького покойника, бледного, навеки затихшего, на брызги и лужицу застывающей крови, впервые блеснула мысль после бесконечного двадцатидвухлетнего сна. Вопреки тяжелому безумию ночи, навеки окутавшей ее разум, где-то в глубине памяти тети Диды, очевидно, дремали далекие воспоминания, которые внезапно пробудились под влиянием этого страшного удара. И, всеми забытая, она вновь ожила, вышла из небытия, прямая, иссохшая, — воплощение ужаса и скорби.

Несколько мгновений она прерывисто дышала. Затем, вся дрожа, пробормотала только одно слово:

— Жандарм! Жандарм!

Паскаль, Фелисите, Клотильда поняли. Содрогнувшись, они невольно посмотрели друг на друга. Перед их глазами предстала вся бурная жизнь старухи, их праматери, — отчаянная страсть ее

юности, долгие страдания зрелого возраста. Два страшных потрясения тяжело отразились на ней: в первый раз — она была тогда в расцвете сил — жандарм пристрелил как собаку ее любовника, контрабандиста Маккара, во второй раз — много лет спустя другой жандарм выстрелом из пистолета размозжил голову ее внуку, повстанцу Сильверу, жертве кровавых семейных раздоров. Тетю Диду неизменно преследовала чья-нибудь кровь. Теперь ее сразило третье потрясение: снова пролилась кровь, оскудевшая кровь ее рода, и старуха видела, как она медленно течет и скапливается на полу, а побелевший царственный ребенок засыпает навек, без кровинки в лице.

Трижды прошла перед тетей Дидой минувшая жизнь, с ее страстью и мукой, жизнь, над которой тяготел закон искупления.

— Жандарм! Жандарм! Жандарм! — пролепетала она.

И рухнула в кресло как подкошенная. Все решили, что она умерла.

Наконец прибежала сиделка, попыталась оправдаться, хотя и была уверена, что ее прогонят. Доктор помог ей уложить тетю Диду в постель и установил, что больная еще жива. Она умерла только на следующий день в возрасте ста

пяти лет трех месяцев и семи дней от кровоизлияния в мозг, вызванного последним ударом судьбы.

Паскаль сразу же сказал матери:

— Ей осталось жить не больше суток, завтра она умрет… Подумать только, сначала дядя, потом она и этот несчастный ребенок, удар за ударом, сколько горя, сколько смертей! — Он не договорил, потом добавил, понизив голое: — Семья редеет, старые деревья падают, а молодые умирают на корню.

Фелисите подумала, что это новый намек. Она была искренне расстроена трагической смертью маленького Шарля. Но, несмотря ни на что, она почувствовала огромное облегчение. Пройдет неделя, умерших перестанут оплакивать, и можно будет наконец успокоиться при мысли, что весь ужас, связанный с Тюлет, кончился, что слава семьи наконец возродится и засияет в веках.

Тут г-жа Ругон вспомнила, что у нотариуса так и не ответила на обвинение, вырвавшееся у ее сына; и из бравады она сама заговорила о Маккаре:

— Вот видишь, от служанок толку мало! Здесь была сиделка, а чему она помешала? Так и дядюшке не помогло бы, если бы за ним ухаживали, все равно он превратился бы теперь в прах.

Паскаль, как всегда, склонился в почтительном поклоне:

— Вы правы, матушка.

Клотильда упала на колени. В этой комнате, полной крови, безумия и смерти, вновь проснулась ее вера ревностной католички. Из глаз струились слезы, руки были сложены, и она истово молилась о дорогих существах, которых не стало. Боже! Да прекратятся навек их страдания, да простятся им прегрешения, да воскреснут они для новой жизни и вечного блаженства! И она просила за них со свойственной ей горячностью, боясь ада, где после тернистого земного пути человек будет мучиться вечно.

И с этого печального дня Паскаль и Клотильда, навещая больных, шли к ним исполненные еще большей жалости, теснее прижавшись друг к другу. Быть может, у доктора укрепилось сознание собственной беспомощности перед неизбежностью болезни. Единственно правильным было предоставить природе делать свое дело, устранять по мере сил зло и трудиться лишь ради конечной цели — здоровья и могущества человечества. Но когда теряешь близких, когда они умирают в страданиях, в сердце остается возмущение против болезни, непреодолимая по-

требность бороться с ней и победить ее. И никогда доктор не испытывал большего удовлетворения, чем в те дни, когда ему удавалось при помощи впрыскивания прервать тяжелый приступ и видеть, что стонущему больному становится легче и он засыпает. Клотильда же в таких случаях еще больше восхищалась Паскалем, гордилась им, как будто их любовь была святыми дарами, которые они несли страждущему человечеству.

X

Однажды утром, как и всегда раз в три месяца, Мартина взяла у доктора Паскаля расписку на тысячу пятьсот франков, чтобы получить у нотариуса Грангийо эту сумму, которую она называла «их рентой». Паскаль удивился, что срок платежа наступил так скоро. Возложив на Мартину все заботы по улаживанию денежных дел, он никогда так мало не интересовался ими, как теперь. Они с Клотильдой сидели под платанами и, вдыхая свежесть родника, неутомимо напевавшего свою песнь, целиком отдавались единственной радости — жить, как вдруг вернулась служанка в полном смятении.

Она была настолько взволнована, что не сразу обрела дар речи.

— Ах, боже мой! Боже мой!.. Господин Грангийо уехал!

Паскаль сначала не понял.

— Не беда, голубушка, спешки нет, сходите к нему в другой раз.

— Да нет же! Нет! Он уехал, понимаете, уехал совсем!

И тут, словно сквозь прорвавшуюся плотину, полились слова, и в них разрешилось чрезвычайное волнение Мартины.

— Выхожу я на улицу, издали вижу, столпились люди у его дверей… Я похолодела, чувствую, случилось несчастье. Дверь закрыта, все жалюзи спущены, дом будто вымер… И тут мне говорят, что нотариус удрал, не оставил ни одного су, и все вкладчики разорены…

Она положила расписку на каменный стол.

— Вот она, ваша бумажка! Все кончено, у нас нет больше ни гроша, мы умрем с голода!

Она не могла сдержать слез и заплакала навзрыд; ее сердце скряги сжималось от страха — она боялась потерять все свое состояние, оказаться в нищете.

Клотильда была потрясена, но молчала, устремив глаза на Паскаля, а он, казалось, в первую минуту просто не поверил Мартине. Он пытался успокоить служанку. Полно! Да полно же! Не надо так волноваться. Если она почерпнула свои сведения у городских кумушек, возможно, это только сплетни, — у страха глаза велики. Г-н Грангийо в бегах, г-н Грангийо — вор, это звучит чудовищно, неправдоподобно! Ведь он честнейший человек! Уже свыше ста лет его контора

пользуется любовью и уважением всего Плассана. Деньги там, говорят, в большей сохранности, чем во Французском банке.

— Подумайте сами, Мартина, такая катастрофа не грянула бы как гром среди ясного неба, ей предшествовали бы дурные слухи… Черт побери! Долголетняя честность обязывает человека, от нее не отказываются за одну ночь!

Она в отчаянии махнула рукой.

— Ах, сударь, оттого-то я и горюю, ведь тут есть доля моей вины. Я… вот уже несколько недель, как до меня доходили разные слухи… Вы-то, конечно, ничего не знаете, вы даже не знаете, на каком свете живете…

Паскаль и Клотильда улыбнулись, Мартина была права — они любили друг друга, отдалялись от людей, витали в облаках, воспарив так высоко, что до них не доходили отзвуки обыденной жизни.

— Но эти сплетни были уж очень гадкие, и я не хотела вас беспокоить, думала, люди врут…

И она рассказала, как одни попросту обвиняли г-на Грангийо в том, что он играет на бирже, другие утверждали, что он содержит любовниц в Марселе. Кутежи, преступные страсти. И она снова запричитала:

— Боже мой! Боже! Что с нами будет? Мы все умрем с голода!

Ее слова заронили сомнение в душу Паскаля, и, расстроенный тем, что и глаза Клотильды тоже наполнились слезами, он попытался собраться с мыслями, вникнуть в то, что произошло. Давным-давно, когда он еще практиковал в Плассане, он внес г-ну Грангийо в несколько приемов сто двадцать тысяч франков, процентов с которых хватало им на жизнь вот уже шестнадцать лет; нотариус выдал ему расписки на все внесенные суммы. Это, без сомнения, даст Паскалю возможность подтвердить свои права частного кредитора. Но тут в его памяти всплыло неясное воспоминание: он не мог точно припомнить числа, но однажды под благовидным предлогом нотариус взял у него доверенность на право помещения всех его денег или только части под залог недвижимого имущества; он даже был убежден, что в доверенности не проставлено имя держателя. Паскаль не знал, воспользовался ли нотариус этим документом; самому же ему никогда не приходило в голову спросить, как распорядился г-н Грангийо его капиталом.

Тут Мартина, в отчаянии от потери денег, воскликнула со страхом:

— Вы наказаны поделом, сударь! Разве бросают на произвол судьбы свои деньги! Я-то уж, будьте покойны, проверяю свой счет до последнего сантима каждые три месяца и знаю как свои пять пальцев каждую цифру и каждую запись.

Несмотря на безутешное горе, невольная улыбка показалась на ее губах. Давняя упрямая страсть служанки была удовлетворена: четыреста франков, ее ежемесячное жалованье, до которого она по скупости почти не дотрагивалась, отдавая все деньги в рост, достигло за тридцать лет огромной суммы в двадцать тысяч франков. Сокровище Мартины лежало нетронутое, в надежном месте, которого никто не знал. Это тешило ее, однако она предпочла не пускаться в дальнейшие объяснения.

Паскаль запротестовал:

— С чего это вы взяли, что все наши деньги потеряны? У господина Грангийо был личный капитал, не увез же он с собой, полагаю, дом и прочее недвижимое имущество? Пройдет время, все выяснится, и дела придут в порядок; не могу поверить, что он оказался обыкновенным вором... Досадно только, что нам придется подождать.

Он говорил так, чтобы успокоить Клотильду,

видя, что тревога ее растет. Она смотрела на него, смотрела на раскинувшуюся кругом Сулейяду, занятая мыслями только о счастье Паскаля, горя желанием всегда жить здесь, как жила до сих пор, всегда его любить в этом благодатном уединении. А он, желая ее ободрить, вновь обрел свою чудесную жизнерадостность, — он никогда не жил ради денег и не представлял себе, что можно в них нуждаться и страдать от этого.

— Но ведь у меня есть деньги! — воскликнул он под конец. — Что это Мартина рассказывает, будто у нас нет больше ни гроша и нам предстоит умереть с голода!

Он проворно вскочил с места и увлек за собой обеих женщин.

— Идемте, идемте скорее! Я покажу вам, какой я богатый! И дам денег Мартине, чтобы она угостила нас сегодня хорошим обедом.

Наверху, в своей комнате, он торжествующе откинул крышку секретера. В течение шестнадцати лет он постоянно бросал сюда кредитки и золотые монеты, которые благодарные пациенты несли врачу добровольно, потому что сам он ничего у них не требовал. Он никогда точно не знал размеров этого маленького состояния, черпал оттуда, сколько хотел, для карманных

расходов, опытов, пожертвований, подарков. Но за последние месяцы он частенько делал опустошительные набеги на свой секретер. После долгих лет невольного воздержания, когда его расходы были сведены почти к нулю, он так привык находить здесь нужные суммы, что считал свои сбережения неистощимыми.

Вот почему он удовлетворенно повторял:

— Увидите! Увидите!

Но как же он смутился, когда после лихорадочных поисков среди груды записок и счетов еле смог наскрести шестьсот пятнадцать франков: две бумажки по сто франков, четыреста франков золотом и пятнадцать франков мелочью. Он перетряхнул все бумаги, обследовал все ящики.

— Но этого быть не может! — возмущался он. — Здесь была куча денег еще на днях!.. Должно быть, я принял за них вот эти старые счета. Клянусь, на прошлой неделе я сам видел здесь деньги, их было много.

Он был так искренне огорчен, удивлялся с такой детской непосредственностью, что Клотильда не могла удержаться от смеха. Ах, бедный учитель, до чего же он непрактичен! Но при виде сердитого лица Мартины и ее безграничного отчаяния — ведь на эти жалкие гроши они должны

были существовать втроем, — она почувствовала прилив нежной жалости, глаза ее увлажнились, и она зашептала:

— Боже мой, ведь это на меня ты все истратил, я — причина твоего разорения, единственная виновница того, что у нас ничего не осталось!

И в самом деле, он совсем забыл о тратах на подарки. Понятно, на что ушли деньги! Объяснение сразу его успокоило. Но он вскипел, когда огорченная Клотильда предложила все вернуть продавцам.

— Вернуть то, что я подарил тебе! Да ведь это значило бы вернуть и кусок моего сердца! Нет, нет, лучше я умру с голода, но ты останешься такой, какой я хочу тебя видеть!

И доверчиво, как будто перед ним была нескончаемая вереница дней, добавил:

— К тому же мы ведь не сегодня умрем с голода, правда, Мартина? Того, что у нас здесь есть, еще хватит надолго.

Мартина покачала головой. Она соглашалась удовлетвориться этими деньгами на два, может быть, на три месяца, и то при условии во всем себя ограничивать. Прежде ящик пополнялся, хоть и понемногу в него постоянно притекали деньги; а с тех пор, как хозяин отказался от практики,

доходы совсем иссякли. Поэтому нельзя рассчитывать на помощь со стороны. И она сказала в заключение:

— Дайте мне эти две кредитки по сто франков. Я постараюсь растянуть их на целый месяц, а там увидим… Но будьте благоразумны, не трогайте оставшиеся четыреста франков золотом. Заприте ящик и не открывайте его больше!

— Можешь быть спокойна! — вскричал доктор. — Скорее я отрублю себе руку!

На том и порешили. Мартине предоставили распоряжаться оставшимися деньгами: на ее бережливость можно было положиться, Паскаль и Клотильда не сомневались, что она станет экономить каждый сантим. Клотильда, у которой никогда не было собственных денег, даже не заметит их недостатка. Один только Паскаль будет страдать, не имея под рукой своей неисчерпаемой казны; но он твердо обязался поручить все расходы служанке.

— Уф! ну вот мы все и уладили! — сказал Паскаль, успокоенный, счастливый, как будто довел до конца важное дело и навеки обеспечил жизнь семьи.

Так прошла неделя, и ничто, казалось, не переменилось в Сулейяде. Упоенные своей любовью,

Паскаль и Клотильда как будто не подозревали об угрожающей им нищете. Но вот однажды утром, когда Клотильда отправилась с Мартиной на рынок, к доктору, оставшемуся одному, пришла посетительница, при виде которой он испытал нечто похожее на страх. Это была все та же перекупщица, продавшая ему когда-то лиф из старинных алансонских кружев — настоящее чудо, — его первый подарок. Он почувствовал себя таким безоружным перед возможным искушением, что и в самом деле испугался. Торговка еще не произнесла ни слова, как он уже начал обороняться: нет! нет! он не может, не хочет ничего покупать; и, отстраняя ее рукой, он не давал ей открыть принесенную с собой кожаную сумку. Между тем медоточивая, вкрадчивая торговка улыбалась, уверенная в победе. Она говорила убедительно, без умолку, и даже рассказала целую историю: у некоей дамы, имени которой не стоит называть, одной из самых уважаемых дам в Плассане, случилось несчастье, и она вынуждена расстаться с прелестной вещицей; тут перекупщица начала пространно объяснять, какой редкий случай представился Паскалю, — он может приобрести драгоценность за пятьсот франков, а ведь цена ей тысяча двести!

Не обращая внимания на замешательство, на возрастающее волнение доктора, она не спеша открыла сумку, извлекла оттуда тонкую шейную цепочку, всего только с семью жемчужинами: но жемчужины эти были на редкость ровные, блестящие, без малейшего изъяна. Ожерелье пленяло удивительной чистотой, изяществом, свежестью. Паскаль сразу же представил себе его на нежной шее Клотильды, словно естественное украшение ее атласной кожи, вкус которой он хранил на губах. Всякое другое украшение было бы ненужным, излишним, а эти жемчуга лишь оттенят ее юность. И он уже взял ожерелье дрожащими пальцами, чувствуя щемящую боль при мысли, что придется вернуть драгоценность. Однако он продолжал отказываться, клялся, что у него нет пятисот франков, а торговка все так же монотонно восхваляла красоту и дешевизну вещицы, с чем нельзя было не согласиться. После четверти часа уговоров она поняла, что держит Паскаля в руках, и сразу уступила ожерелье за триста франков; и он согласился — безумная жажда одаривать Клотильду, доставлять ей удовольствие, потребность украшать свой кумир взяли верх над благоразумием. Он подошел к ящику и вынул оттуда пятнадцать золотых, — в

эту минуту он искренне верил, что дела с нотариусом уладятся и у них будет вскоре много денег.

Как только Паскаль остался одни с ожерельем в кармане, его охватила ребяческая радость: он готовился сделать Клотильде сюрприз и ждал ее, сгорая от нетерпения. Когда она наконец вернулась, его сердце забилось так сильно, что, казалось, вот-вот разорвется. Клотильде было очень жарко — жгучее августовское солнце огнем полыхало на небе; ей захотелось переодеться, впрочем, она была очень довольна прогулкой, со смехом рассказывала, как дешево Мартина выторговала двух голубей, всего за восемнадцать су. Задыхаясь от волнения, он последовал за ней в спальню и, когда она осталась в нижней юбке, с обнаженными руками и плечами, сделал вид, будто заметил у нее что-то на шее.

— Постой, что это у тебя? Дай я посмотрю.

Он спрятал ожерелье в кулаке и ухитрился незаметно надеть его, делая вид, будто желает убедиться, что к шее ее ничего не пристало. Но она весело отбивалась.

— Перестань! Я же знаю, тебе только померещилось... Но что ты делаешь, зачем меня щекочешь?

Обняв Клотильду, он подвел ее к большому

зеркалу, и она увидела себя всю с ног до головы. Тонкая цепочка на ее шее казалась золотой нитью, только семь жемчужин сияли, словно молочной белизны звезды, рожденные ее шелковистой кожей. Она была прелестна в своем детском восторге. Залившись счастливым смехом, она ворковала, как горлица, которая охорашивается.

— О, учитель, учитель! Какой ты добрый! Ты думаешь только обо мне! Какое счастье ты мне даришь!

И радость в ее глазах, радость женщины и любовницы, восхищенной тем, что она прекрасна, что ее боготворят, вознаградила его с лихвой за совершенное безумие.

Сияя, она запрокинула голову и подставила ему губы. Он наклонился к ней, и они слились в поцелуе.

— Ты довольна?

— О да, учитель, довольна, довольна! Этот жемчуг такой нежный, чистый!.. И так мне идет!

Еще минуту она любовалась собой в зеркале, простодушно гордясь чудесной белизной своей кожи под перламутровыми каплями жемчужин. Затем, услыхав в гостиной шаги служанки, Клотильда захотела показаться ей и выбежала из

спальни, как была, в одной нижней юбке, с обнаженной грудью.

— Мартина! Мартина! Посмотри только, что подарил мне учитель! Ну разве я не хороша?

Но суровое выражение лица старой девы, внезапно принявшего землистый цвет, отравило всю радость Клотильды. Быть может, она поняла, какую ревнивую боль ее сверкающая юность причиняла этому несчастному созданию, утратившему остатки женственности за годы немого, смиренного служения обожаемому хозяину. Правда, замешательство продолжалось лишь долю секунды, не осознанное одной, едва подозреваемое другою; и Клотильда поймала только осуждающий взгляд, который бережливая Мартина бросила на дорогой подарок.

Клотильде стало не по себе.

— Ох, правда, учителю пришлось взять деньги из секретера, — пробормотала она. — Жемчуг, наверное, стоит очень дорого…

Паскаль, тоже смущенный, стал оправдываться, он пространно рассказал о посещении торговки, о представившейся ему удачной сделке: как было не купить!

— За сколько? — спросила не на шутку встревоженная девушка.

— За триста франков.

И тогда Мартина, еще не сказавшая ни слова, грозная в своем молчании, не удержалась и воскликнула:

— Боже мой! На эти деньги можно прожить полтора месяца, а в доме нет ни куска хлеба.

Крупные слезы брызнули из глаз Клотильды. Она сорвала бы ожерелье, если бы ей не помешал Паскаль. В отчаянии она потребовала тотчас вернуть драгоценность, невнятно залепетала:

— Это верно, Мартина права… Учитель сошел с ума, да и я тоже, как я могла хоть на минуту оставить у себя ожерелье, раз мы оказались в таком тяжелом положении. Оно будет жечь мне шею. Умоляю тебя, разреши мне его вернуть…

Паскаль наотрез отказался, хотя он и приходил в отчаяние вместе с ними, признавал свою вину, каялся, что неисправим, твердил, что надо отнять у него все деньги. Выбежав из комнаты, он принес оставшиеся сто франков и заставил Мартину взять их.

— Говорю вам, что я не хочу иметь ни гроша! Я опять все истрачу… Возьмите деньги, Мартина, из нас троих вы самая благоразумная. Я убежден, вы обойдетесь этими деньгами, пока не наладятся наши дела… А ты, дорогая, не возвращай

ожерелья, не делай мне больно. Поцелуй меня и иди одеваться.

Больше о злополучном происшествии не упоминали. Клотильда не сняла ожерелья, но скрыла его на шее под воротничком. И в том, что она носила эту изящную, красивую вещицу, которую никто не видел и лишь она одна ощущала на теле, была ее заветная тайна. Иногда, когда они оставались вдвоем, она улыбалась Паскалю и, не говоря ни слова, торопливо вытаскивала жемчуг из-за корсажа и показывала ему, затем так же быстро, испытывая восхитительное волнение, прятала его на своей теплой прелестной груди. Ожерелье было безумством обоих, и она напоминала об этом Паскалю с застенчивой благодарностью, сияя счастьем. С тех пор она больше не снимала его.

Для них настали трудные и все же приятные дни. Мартина составила точный список продуктов, имеющихся дома. Положение оказалось весьма плачевным. Рассчитывать можно было только на запасы картофеля. В довершение несчастья оливковое масло в глиняном кувшине подходило к концу, и последняя бочка вина была на исходе. В Сулейяде не было ни виноградников, ни оливковых рощ, только в огороде росли

овощи да кое-какие фрукты: еще не созревшие груши и виноград, которому предстояло стать их единственным лакомством. А ведь приходилось ежедневно покупать хлеб и мясо. Вот почему служанка сразу же ограничила Паскаля и Клотильду — урезала все порции и упразднила сладкие блюда, кремы, пирожные. Она снова обрела прежнюю властность, обращалась с обоими, как с детьми, не советовалась с ними, не считалась с их вкусами. Мартина сама устанавливала меню, сама, лучше чем они, знала, что им нужно, впрочем, она относилась к ним по-матерински, окружала бесконечными заботами и, совершая настоящие чудеса, ухитрялась на жалкие гроши создавать известное благополучие, хотя и выговаривала им иногда, но для их же пользы, как выговаривают детям, которые привередничают за столом. Казалось, это странное материнство, эта последняя жертва, эта видимость покоя, которым она окружала их любовь, доставляет ей известное удовлетворение, избавляя от владевшего ею глухого отчаяния. С тех пор как Мартина опекала их, она опять стала похожа на монахиню, давшую обет целомудрия: бледное лицо, бесстрастные водянистые глаза. Когда же, после неизменного картофеля и маленькой котлетки за четыре су,

еле заметной среди овощей, ей удавалось, не выходя из бюджета, подать им на третье блинчики, она ликовала и весело смеялась вместе с ними.

Паскаль и Клотильда хвалили все, что она готовила, но это не мешало им шутить, как только Мартина отлучалась из столовой. Они начали снова, как в былые дни, подсмеиваться над ее скупостью, уверяли, что она отсчитывает горошинки перца, по стольку-то зернышек на каждое блюдо, и все это ради экономии. Если же в картофеле почти не было масла, а котлетки оказывались так малы, что их можно было сразу проглотить, Паскаль и Клотильда обменивались быстрым взглядом и ждали, когда Мартина выйдет, чтобы похохотать, уткнувшись в салфетку. Они забавлялись всем, смеялись над наступившей нищетой.

В конце месяца Паскаль вспомнил о жалованье Мартины. Обычно она сама брала свои сорок франков из денег, находившихся в ее распоряжении.

— Бедняжка, — сказал он ей как-то вечером, — откуда же вы возьмете жалованье, раз у нас нет денег?

Минуту она стояла расстроенная, вперив глаза в землю.

— Что поделать, сударь, придется мне, видно,

обождать.

Но Паскаль чувствовал, что служанка чего-то недоговаривает, очевидно, ей пришла в голову мысль, как уладить дело, но она не решается ее высказать. Он постарался ободрить ее.

— Если только вы согласитесь, сударь, я была бы не прочь, чтобы вы подписали мне бумагу.

— Какую бумагу?

— Бумагу, на которой вы каждый месяц будете отмечать, что должны мне сорок франков.

Паскаль тотчас приготовил расписку, к полному удовольствию Мартины: она тщательно сложила ее, словно настоящий банковый билет. И сразу успокоилась. Для доктора и его подруги эта бумажка стала поводом для новых шуток. Откуда эта всесильная власть денег над некоторыми душами? Старая дева смиренно прислуживала им, а доктора обожала до такой степени, что готова была отдать за него жизнь, и вместе с тем она потребовала у него какую-то нелепую расписку, ничего не стоящую бумажку взамен жалованья, которое он не мог уплатить!

Впрочем, до сих пор Паскаль и Клотильда без труда сохраняли ясность духа в беде — они просто ее не ощущали. Они жили вдали от всего мирского, в обетованной земле своей страсти.

За столом они не замечали, что едят, и вполне могли подумать, будто им подают роскошные яства на серебряных блюдах. До сознания Паскаля и Клотильды не доходило, что бедность их все растет, что голодная служанка питается крохами с их стола; они ходили по пустому дому, как по дворцовым палатам, обтянутым шелком, полным сокровищ. Без сомнения, это была самая счастливая пора их любви. Спальня заменяла им целый мир, спальня, обитая старым ситцем цвета утренней зари, где они вкушали безмятежное счастье в объятьях друг у друга, полагая, что этому блаженству не будет конца. Рабочий кабинет тоже хранил милые их сердцу воспоминания, и они сидели в нем часами, убаюканные радостным сознанием, что долго прожили здесь вместе. А за стенами дома, во всех уголках Сулейяды, — царственное лето воздвигало свой голубой, сверкающий золотом чертог. Они прогуливались утром по благоухающим дорожкам сосновой рощи, в полдень — под темной сенью платанов, освежаемой журчащим ручейком, а вечером — на прохладной террасе или на еще теплом току, омытом сумеречным светом, голубоватым светом первых звезд, и наслаждались своей нищенской жизнью, лелея единственную

честолюбивую мечту всегда жить вдвоем вдали от всего и от всех. С тех пор как они принадлежали друг другу, они владели землей, всеми ее сокровищами, счастьем, властью.

Между тем к концу августа положение еще ухудшилось. Порой среди этой сладостной праздности, жизни без тягот и обязанностей их охватывала тревога: так не может, так не должно продолжаться до бесконечности. Однажды вечером Мартина объявила, что у нее осталось всего пятьдесят франков, — если даже отказаться от вина, на эти деньги не прожить и двух недель. В то же время до них дошли плохие вести: нотариус Грангийо в самом деле оказался несостоятельным, и даже частные вкладчики не получат ни гроша. Сначала оставалась надежда на дом и две фермы, которые сбежавший нотариус не мог прихватить с собой: но потом выяснилось, что эти владения были переписаны на имя его жены; ходили слухи, будто нотариус наслаждается красотами Швейцарии, тогда как его жена, отгородившись от неприятностей, преспокойно живет в одной из ферм и пользуется с нее доходом, словно и в помине не было их банкротства. Возмущенные обитатели Плассана рассказывали, что жена терпимо относилась к распущенности

мужа, она даже позволяла ему иметь двух содержанок, которых он и увез с собой на швейцарские озера. А Паскаль, со свойственной ему беспечностью, даже не подумал обратиться за советом к прокурору, он считал, что достаточно осведомлен о положении дел благодаря городским сплетням и незачем ворошить всю эту грязную историю, раз все равно нельзя ничем помочь.

Над Сулейядой нависли тучи. В двери стучалась черная нужда. Клотильда, в глубине души очень рассудительная, забеспокоилась первая. Она была по-прежнему радостна, весела в присутствии Паскаля, но стоило ему отлучиться хотя бы ненадолго, как её охватывал настоящий ужас: с предусмотрительностью любящей женщины она спрашивала себя, что станется с ним, когда в его возрасте ему придется содержать дом и семью. Несколько дней она лелеяла тайную надежду: трудиться самой, зарабатывать деньги, много денег своими пастелями. Она слышала столько восторженных похвал своему редкому, своеобразному таланту, что, доверившись Мартине, поручила ей как-то утром предложить несколько своих фантастических букетов торговцу красками на бульваре Совер, который, по слухам, был в родстве с каким-то парижским художником. Она

поставила только одно непременное условие — не выставлять рисунков в Плассане, а отправить их подальше, в другой город. Но результат оказался плачевный, торговца отпугнула причудливая фантазия художницы, неистовая смелость исполнения, и он заявил, что таких картин никто не купит. Клотильда пришла в отчаяние, крупные слезы выступили у нее на глазах. На что она пригодна? Стыдно и горько, что она ничего не умеет делать! И Мартине пришлось ее утешать, говоря, что не все женщины рождаются для труда, — одни растут, как цветы в саду, для того, чтобы благоухать, а другие — как колосья в поле, — их перемалывают на муку, и они кормят людей.

Тем временем у Мартины возникло другое намерение — убедить доктора вновь заняться практикой. В конце концов она заговорила об этом с Клотильдой, которая тотчас же объяснила ей трудность, почти невозможность такой попытки. Как раз накануне они с Паскалем говорили об этом. Он тоже был озабочен, мечтал о работе, как об единственной надежде на спасение. И мысль открыть врачебный кабинет пришла в голову ему первому. Но ведь он так давно стал врачом бедняков! Как теперь требовать гонорар, если доктор уже столько лет не берет с больных денег.

Да и не поздно ли в его возрасте пытаться создать себе карьеру? Не говоря уже о нелепых сплетнях, которые о нем распространяли, — чего стоила хотя бы выдумка о том, что он полупомешанный гений! Он не найдет ни одного пациента. Бесполезно и жестоко толкать его на это испытание, он получит лишь рану в сердце и окончательно опустит руки. Клотильда всеми силами постаралась его отговорить; Мартина согласилась с ней, заявив, что необходимо уберечь доктора от такого разочарования. Но пока они беседовали, у служанки созрела новая мысль, — она вспомнила о случайно найденном ею старом списке, куда она заносила прежде те визиты доктора, за которые он не получал гонорара. Многие пациенты ничего ему не платили, так что список занимал в книге две большие страницы. Почему бы теперь, когда они дошли до такого бедственного положения, не потребовать старого долга у этих людей? Это можно сделать потихоньку от доктора, который всегда отказывается обращаться в суд. Предложение Мартины встретило сочувствие Клотильды. Они составили заговор. Клотильда сама проверила записи, приготовила счета, а служанка их отнесла. Но она не получила ни гроша, ей ответили всюду, что посмотрят счета,

а потом сами зайдут к доктору. Прошло десять дней, никто не явился, а в доме оставалось всего шесть франков, на которые можно было прожить еще два-три дня.

На следующий день Мартина, которая вновь вернулась с пустыми руками от одного из прежних пациентов доктора, отозвала Клотильду и поведала ей о своей беседе с г-жой Фелисите, повстречавшейся ей на углу улицы Банн. Без сомнения, та караулила Мартину. Фелисите по-прежнему не бывала в Сулейяде. Даже несчастье сына — его внезапное разорение, о котором трубил весь город, не сблизило ее с ним. Она продолжала себя вести как непреклонная мать, которая не может примириться с некоторыми грехами сына, а сама лихорадочно выжидала, уверенная, что Паскалю рано или поздно придется обратиться к ее помощи, и тогда он окажется наконец у нее в руках. Оставшись без гроша, он постучится к матери, и она продиктует ему свои условия, заставит решиться на брак с Клотильдой или — что еще лучше — настоит на ее отъезде. Но дни проходили, а Паскаль не появлялся. Вот почему она остановила Мартину и стала сочувственно расспрашивать служанку о новостях, притворно удивляясь, почему у нее до сих пор не попросили

денег, и давая понять, что чувство собственного достоинства мешает ей сделать первый шаг.

— Вам надо бы поговорить с хозяином и убедить его решиться, — заключила свой рассказ служанка. — И в самом деле, почему бы ему не обратиться к матери? Чего лучше!

Клотильда возмутилась.

— Никогда! Ни за что я не возьмусь за такое поручение. Учитель рассердится и будет прав. Я знаю, он скорее умрет с голоду, чем станет есть бабушкин хлеб.

Прошел еще день, и, подавая к обеду остатки вареного мяса, Мартина предупредила:

— Сударь, у меня больше нет денег, и завтра вы получите только картофель без капли оливкового или сливочного масла… Вот уже три недели, как вы пьете одну воду. А теперь вам придется обходиться без мяса.

Но они не унывали и продолжали шутить.

— А соль-то у вас есть, милая Мартина?

— Соль-то есть, сударь, но и ее немного.

— Ну что ж, картофель с солью — совсем не плохо, когда хочется есть.

Мартина вернулась на кухню, а они принялись шепотом потешаться над ее необыкновенной скаредностью. Конечно, она никогда не предло-

жит им взаймы даже десяти франков, а ведь у нее есть капиталец, спрятанный в надежном, никому не ведомом месте. Впрочем, они посмеивались добродушно, нимало не сердясь на Мартину, — ей это так же не приходит в голову, как и достать звезды с неба, чтобы подать их к столу.

И все же вечером, когда они легли спать, Паскаль почувствовал, что Клотильду лихорадит, что ее мучает бессонница. Он привык исповедовать ее в эти часы, в полумраке, когда они лежали в объятьях друг у друга, и она решилась наконец сознаться в своем беспокойстве за него, за себя, за весь дом. Что станется с ними теперь, когда больше нет денег? Она чуть не заговорила о его матери. Но не посмела, только рассказала ему о попытках, сделанных ею и Мартиной: о найденном старом списке, о составленных и отосланных счетах, о деньгах, которые они безуспешно пытались получить. При других обстоятельствах это признание огорчило бы его, разгневало, оскорбило бы, ибо они действовали за его спиной, вопреки принципам, которых он придерживался как врач. Но теперь, глубоко взволнованный, он молчал, и это молчание красноречивее слов говорило о том, как велик был минутами его страх перед нищетой, скрываемый под маской беспеч-

ности. Он тут же простил Клотильду, страстно прижал ее к груди и в конце концов одобрил ее поведение, признав, что долго так жить, как они живут, нельзя. Оба замолчали, но она чувствовала, что он не спит и тоже думает о том, где бы достать денег, необходимых для повседневных нужд. Так прошла их первая несчастливая ночь, ночь, когда они вместе страдали: она терзалась его отчаянием, а он не мог перенести мысль о том, что она осталась без хлеба.

На следующий день за обедом они ели одни фрукты. Доктор молчал все утро, видимо, в нем происходила какая-то внутренняя борьба. И только к трем часам он принял решение.

— Ну, ну, довольно сидеть сложа руки, — сказал он своей подруге, — я не хочу, чтобы ты постилась еще и вечером. Надень шляпу и пойдем.

Она взглянула на него, силясь понять.

— Да, да, раз наши должники не захотели отдать деньги вам, я хочу убедиться, откажут ли они и мне.

У него тряслись руки, мысль о том, чтобы спустя столько лет потребовать платы со своих пациентов, пугала его, но он храбрился, силился улыбнуться. Однако по дрожащему голосу Паскаля Клотильда поняла, чего стоит ему эта жертва,

и у нее заныла душа.

— Нет, нет, учитель, не ходи к ним, это слишком для тебя мучительно… Мартина могла бы сходить еще раз.

Но Мартина, присутствовавшая при разговоре, напротив, горячо поддержала доктора:

— Вот еще! А почему бы хозяину и не пойти! Нет ничего зазорного требовать то, что тебе причитается… Разве не так? Каждому свое… По-моему, очень хорошо, если хозяин покажет наконец, что он настоящий мужчина.

И как некогда в дни благоденствия, старый царь Давид, — так в шутку называл себя Паскаль, — вышел из дому об руку с Ависагой. Ни тот, ни другая еще не были в лохмотьях — на нем был, по обыкновению, наглухо застегнутый сюртук, а на ней — хорошенькое полотняное платье в красный горошек; но сознание собственной бедности уже принижало их, и, как нищие, они старались стушеваться, скромно крадучись вдоль домов. Залитые солнцем улицы были пустынны, взгляды редких прохожих смущали Паскаля и Клотильду, но они не могли ускорить шаг, так мучительно сжималось их сердце.

Паскаль решил начать обход с бывшего судейского чиновника, которого лечил когда-то от

болезни почек. Он вошел к нему в дом, оставив Клотильду одну на бульваре Совер. И почувствовал облегчение, когда, не дожидаясь, чтобы его об этом попросили, чиновник сам обещал заплатить гонорар в октябре, когда получит свою ренту. У семидесятилетней парализованной дамы доктор встретил другой прием: она была оскорблена тем, что ей послали счет через служанку, которая была к тому же недостаточно вежлива, — так что Паскаль поспешил принести пациентке свои извинения и согласился предоставить ей любую отсрочку. Затем ему пришлось подняться на четвертый этаж, к сборщику налогов, такому же бедняку, как и он сам; Паскаль застал его еще больным и даже не осмелился высказать свою просьбу. После этого он побывал у продавщицы галантереи, у жены адвоката, торговца оливковым маслом, булочника, — все у людей состоятельных; но он уходил отовсюду несолоно хлебавши, одни отказывали ему под тем или иным предлогом, другие просто не желали его принять. Нашелся даже пациент, заявивший, что просто не понимает, о чем идет речь. Оставалась маркиза де Валькейра, единственная представительница весьма старинного рода, известная своей скупостью богатая вдова, у которой была

десятилетняя дочь. Паскаль оставил ее напоследок, так как этот визит его пугал. И все же он решился позвонить у дверей ее старинного особняка — величественного здания эпохи Мазарини — в конце бульвара Совер. Он оставался там так долго, что гулявшая в тени деревьев Клотильда забеспокоилась.

Когда через полчаса, тянувшиеся томительно долго, он наконец показался, Клотильда вздохнула с облегчением и встретила его шуткой:

— Ну что? У нее не оказалось мелочи?

Да, доктор опять ничего не получил. Дама встретила его жалобами на своих фермеров, которые не хотят ей платить.

— Представь себе, — продолжал Паскаль, желая объяснить Клотильде свое долгое отсутствие, — девочка больна. Боюсь, как бы у нее не оказался тиф… Мать захотела показать мне бедную крошку, и я осмотрел ее…

Клотильда не могла удержаться от улыбки.

— И ты назначил ей лечение?

— Ну конечно. Разве я мог поступить иначе?

Растроганная до глубины души, Клотильда снова взяла его под руку, и он почувствовал, что она крепко прижимает его руку к своему сердцу. В течение нескольких минут они шли так, сами

не зная куда. Все кончено, им остается только вернуться домой ни с чем. Но Паскаль упрямо не соглашался на это, не хотел, чтобы она сидела на хлебе и воде. Выйдя снова на бульвар Совер, они свернули налево, к новому городу; казалось, несчастье с остервенением преследует их и безудержно влечет куда-то.

— Послушай, — сказал он наконец, — мне пришла в голову мысль... Что, если я обращусь к Рамону, он охотно даст нам тысячу франков, а мы вернем их, как только у нас наладятся дела.

Она ответила не сразу. Отвергнутый ею Рамон женился и, обосновавшись в новом городе, был на пути к тому, чтобы стать модным красавцем врачом и сколотить состояние. К счастью, Рамон умен, честен, у него доброе сердце. Если он больше не приходит к ним, то, безусловно, из деликатности. Зато при встрече на улице он всегда дружески приветствует обоих, радуясь их счастью.

— Тебе это неприятно? — спросил простодушно Паскаль, который охотно открыл бы молодому врачу свой дом, свой кошелек и свое сердце.

Она поспешила ответить:

— О нет! Между нами никогда ничего не было, кроме взаимной симпатии и полной откровен-

ности. Мне кажется, я доставила ему много горя, но он меня простил. Ты прав, у нас нет лучшего друга, мы должны обратиться к Рамону.

Но неудача сопутствовала им. Рамона не было дома, он уехал на врачебную консультацию в Марсель и должен был вернуться только на следующий день к вечеру; их встретила молодая г-жа Рамон, подруга детства Клотильды, но младше ее на три года. По-видимому, она была немного смущена, но держалась все же очень любезно. Разумеется, доктор не обратился к ней со своей просьбой и только мимоходом заметил, что приходил к Рамону по делу.

Оказавшись на улице, Паскаль и Клотильда снова почувствовали себя одинокими, беспомощными. Куда теперь идти? Что еще предпринять? И они снова тронулись в путь, наудачу.

— Я не сказала тебе, учитель, — отважилась наконец Клотильда. — Мартина говорит, что встретила бабушку… И бабушка беспокоилась о нас, спрашивала, почему мы не обращаемся к ней, раз так стеснены в деньгах… Вот, кстати, ее дверь…

В самом деле, они оказались на углу улицы Банн и площади Субпрефектуры. Паскаль все понял и не дал ей договорить.

— Никогда! Слышишь… И ты не пойдешь. Ты это предложила из-за меня, тебе тяжело видеть мое разоренье. У меня тоже болит душа, когда я думаю, что ты страдаешь со мной. Но лучше страдать, чем совершить поступок, при воспоминании о котором будешь мучиться всю жизнь. Я не хочу, не могу…

Они свернули с улицы Банн и очутились в старом квартале.

— В тысячу раз лучше обратиться к чужим людям… Может быть, у нас еще найдутся друзья, но только среди бедняков.

И, примирившись с мыслью о подаянии, Давид продолжал свой путь об руку с Ависагой: старый обнищавший царь ходил из дома в дом, опираясь на плечо любящей служанки, чья юность была ему отныне единственной поддержкой. Время приближалось к шести, жара спала, узкие улицы наполнились людьми; и в этом многолюдном квартале, где они пользовались всеобщей любовью, их приветствовали, им улыбались. К восхищению примешивалась жалость, потому что все знали о их разорении. И все же они казались еще прекраснее: он — седой, она — белокурая. Чувствовалось, что беда сроднила их, что они стали еще ближе друг другу, — и если жизнь

надломила Паскаля, Клотильда поддерживала его своим мужеством, и они по-прежнему не опускали головы, гордые своей сияющей любовью. У проходящих мимо рабочих было больше денег в карманах блуз, чем у них. Но никто не осмеливался предложить им подаяние, в котором не отказывают голодным. На улице Канкуэн они решили зайти к Гирод; оказалось, что она умерла на прошлой неделе. Две другие попытки тоже окончились неудачей. Они дошли до того, что стали мечтать о десяти франках. Они бродили по городу с трех часов дня.

О, этот Плассан, разделенный на три квартала бульваром Совер, Римской улицей и улицей Банн, этот город с закрытыми ставнями, сожженный солнцем, словно вымерший, под сонной личиной которого таилась жизнь притонов и клубов, — они трижды его пересекли, медленно шагая, при догорающем свете жаркого августовского дня! На бульваре стояли старомодные дилижансы — лошадей уже успели выпрячь, — возившие пассажиров в горные деревни; а у дверей кафе в черной тени платанов толпились с семи часов утра завсегдатаи, которые встречали Паскаля и Клотильду с усмешкой. Они почувствовали, что в новом городе, где слуги торчали на пороге

богатых домов, к ним относятся с меньшей симпатией, чем в пустынных улицах квартала Св. Марка, старинные особняки которого хранили дружелюбное молчание. Они снова углубились в старый квартал и, дойдя до церкви Св. Сатюрнена, вошли в густой сад, затенявший абсиду храма, — прелестный мирный уголок, но им вскоре пришлось обратиться в бегство, потому что какой-то нищий попросил у них подаяния. Близ вокзала строили много домов — там росло новое предместье, — и они направились туда. Затем в последний раз дошли до площади Субпрефектуры, так как у них вновь забрезжила надежда, что в конце концов какой-нибудь встречный предложит им денег. Но люди провожали их только снисходительными улыбками прощения, так прекрасны и трогательны они были вдвоем. Они натрудили себе ноги, ступая по мелким неровным камням Вьорны, которыми были вымощены улицы. Пришлось вернуться ни с чем в Сулейяду: покорная служанка Ависага, в расцвете юности и красоты, вела престарелого Давида, нищего царя, лишившегося своего достояния, усталого от бесполезных скитаний по градам и весям.

Было восемь часов. Ожидавшая их Мартина поняла, что сегодня ей нечего будет стряпать на

ужин. Она сказала, что уже поела, и так как у нее был больной вид, Паскаль тотчас же отослал ее спать.

— Мы прекрасно обойдемся без тебя, — повторяла Клотильда. — Ведь картофель на плите, мы возьмем его сами.

Служанка нехотя уступила. Она процедила сквозь зубы что-то вроде: когда все съедено, не к чему садиться за стол! Затем, перед тем как запереться на ключ в своей комнате, добавила:

— Сударь, овес кончился. У Добряка какой-то чудной вид. Хорошо, кабы вы его проведали!

Встревоженные Паскаль и Клотильда поспешили на конюшню. И в самом деле, старый конь лежал на подстилке, погруженный в дремоту. Вот уже полгода, как его не выводили гулять из-за ревматизма, к тому же он совершенно ослеп. Никто не понимал, почему доктор держит это старое животное, даже Мартина советовала прикончить его хотя бы из жалости. Но Паскаль и Клотильда негодовали, возмущались, как будто им предлагали убить старого родственника, который зажился на этом свете. Ни за что! Добряк служил им больше четверти века и умрет у них естественной смертью, как честный труженик, каким он всегда был! И в этот вечер доктор не

преминул внимательно его осмотреть. Он поднял копыта, исследовал десны, выслушал сердце.

— Нет, он ничем не болен, — сказал наконец доктор. — Просто старость… Ах, бедняга, больше ему уже не возить нас!

Мысль о том, что у Добряка кончился овес, мучила Клотильду. Но Паскаль ее успокоил: много ли надо такому старому животному, которое вдобавок уже больше не работает! Тогда Клотильда выхватила пучок травы из охапки, оставленной здесь служанкой, и оба обрадовались, когда Добряк просто из дружеских чувств согласился поесть травы из ее рук.

— Ага! У тебя все еще есть аппетит, ты зря стараешься нас разжалобить!.. — сказала Клотильда, смеясь. — До свидания! Спи спокойно!

И они оставили дремать Добряка, по заведенной привычке крепко поцеловав его на прощание в морду.

Близилась ночь. Им пришло в голову поужинать в спальне, чтобы не оставаться одним внизу в пустом доме. Клотильда проворно отнесла наверх картофель, солонку и красивый графин с ключевой водой, а Паскаль взял корзинку с виноградом, первым ранним виноградом, собранным со шпалер террасы. Они заперли дверь, поставили

ли блюдо картофеля на столик между солонкой и графином, а корзинку с виноградом на стул, рядом. И начался роскошный пир, напомнивший им восхитительный завтрак наутро после их брачной ночи, когда заупрямившаяся Мартина не хотела им отвечать. Они были в восторге, что остались вдвоем, что снова прислуживают себе сами и едят из одной тарелки, сидя рядом.

Этот вечер черной нужды, которую они так и не сумели побороть, был самый чудесный в их жизни. С тех пор как они вернулись домой и очутились в своей большой уютной спальне, как бы за сто лье от равнодушного города, который они исколесили вдоль и поперек, грусть, страх и воспоминание о тяжелых часах, проведенных в бесполезных поисках, — все отступило назад. Они снова обрели беспечность, забыли обо всем, кроме своей любви, забыли о том, что бедны и что завтра им снова придется искать друга, который накормил бы их. Зачем бояться бедности, зачем мучиться, если достаточно быть вместе, чтобы испытывать величайшее счастье.

И все же он сказал со страхом:

— Боже мой! Как мы боялись сегодняшнего вечера! Благоразумно ли быть такими счастливыми? Кто знает, что ждет нас завтра!

Но она закрыла ему рот своей маленькой ручкой.

— Нет, нет! И завтра мы будем любить друг друга, как любим сегодня! Люби меня, как только можешь, — так, как люблю тебя я!

Никогда еще они не ели с такой охотой. Клотильда уплетала картофель за обе щеки с аппетитом молодой, здоровой девушки и звонко смеялась, находя его великолепным, вкуснее всяких изысканных блюд. Паскаль же обрел былой аппетит, каким обладал в тридцать лет. Они запивали еду большими глотками воды, которая казалась им чудесной. А поданный на десерт виноград — этот сок земли, позлащенный солнцем, — приводил их в восхищение. Они слишком много ели, они опьянели от воды и фруктов, а больше всего от веселья. Ни разу в жизни не доводилось им устраивать такого пиршества. Даже их роскошный свадебный завтрак с котлетами, хлебом и вином не опьянил их такой радостью жизни; от одного сознания, что они вдвоем, — фаянсовая посуда в их глазах превращалась в золотую, а скудная пища — в божественные яства, недоступные самим богам.

Совсем стемнело, но они не зажигали лампы, счастливые, что могут тотчас же лечь в постель.

Окна были широко раскрыты прямо в огромное летнее небо, и вечерний ветер, все еще знойный, приносил далекий запах лаванды. На горизонте поднималась луна, полная, большая, и вся комната сияла мягким серебристым светом, в котором они видели друг друга словно сквозь дымку грезы.

Их пиршество завершилось великолепным даром Клотильды; прелестная, с обнаженными руками, шеей и грудью, она по-царски подарила ему свое тело. Предыдущей ночью они впервые почувствовали беспокойство, смутный страх перед приближением грозной беды. Теперь они снова позабыли весь мир, то была ночь высшего блаженства, дарованная им благосклонной природой, ночь, когда не существовало ничего, кроме их страсти.

Она открыла ему свои объятья, предаваясь, отдаваясь ему безраздельно.

— Учитель, учитель! Я хотела работать для тебя, но убедилась, что непригодна ни для чего, не способна заработать на кусок хлеба. Я умею только любить, отдаваться, быть твоим минутным наслаждением… И для меня достаточно быть твоим наслаждением, учитель! Если бы ты только знал, как я счастлива, что ты находишь меня красивой,

что я могу подарить тебе свою красоту. Я владею только ею и счастлива, если даю тебе счастье.

Он восхищенно сжимал ее в объятьях, бормоча:

— О да, ты прекрасна! Красивее, желаннее всех на свете!.. Жалкие драгоценности, какими я украшал тебя, золото, каменья не стоят малюсенького кусочка твоей шелковистой кожи. Каждый твой ноготок, каждый волос — бесценное сокровище. Я с благоговением перецеловал бы одну за другой каждую твою ресничку!

— Пойми, учитель, я счастлива тем, что ты старше меня, что я молода, ведь из-за этого ты больше ценишь то, что я дарю тебе. Если бы ты был так же молод, как я, мое тело не давало бы тебе такого наслаждения и я не была бы так счастлива! Я горжусь своей молодостью и красотой только из-за тебя, они радуют меня только потому, что я могу отдать их тебе.

Паскаль был глубоко взволнован, глаза его увлажнились, ибо он чувствовал, что эта прелестная, страстно любимая женщина принадлежит ему целиком.

— Ты сделала меня самым богатым, самым могущественным властелином на свете, ты осыпаешь меня дарами, ты даешь мне божественное

наслаждение, равного которому не испытал ни один мужчина.

И она отдавалась ему все с большей страстью, как будто вливая в него свою кровь.

— Возьми меня, учитель, пусть я исчезну, растворюсь в тебе… Возьми мою юность, возьми ее всю сразу, в одном поцелуе, выпей одним глотком, исчерпай ее, чтобы не осталось ничего, кроме вкуса меда на твоих губах. Это будет для меня таким счастьем, что я стану благодарить тебя. Возьми меня, учитель, возьми мои губы, ибо они свежи, мое дыхание, ибо оно чисто, мою шею, ибо она сладка для целующих ее уст, возьми мои руки, всю меня, все мое тело, — оно едва раскрывшийся бутон, оно нежное, как шелк, и его запах пьянит тебя… Слышишь, учитель, пусть я буду букетом цветов, чтобы ты вдыхал его аромат! Пусть я буду чудесным плодом, который насыщает тебя! Пусть я буду вечной лаской, которая нежит тебя! Я твоя вещь, я цветок, выросший у твоих ног, чтобы пленять тебя, вода, которая дает тебе прохладу, сок земли, который бьет ключом, чтобы вернуть тебе молодость. Я ничто, учитель, если не принадлежу тебе!

Она отдалась ему, и он взял ее. В эту минуту лунный свет озарил ее всю, в ее торжествующей

наготе. Она предстала перед ним как воплощение женской красоты в пору ее неувядающей юности. Никогда еще она не казалась ему такой молодой, такой ослепительной, такой божественной. И он благодарил ее, словно она принесла ему все сокровища земли. Ничто не может сравниться с даром молодой женщины, которая, отдавая себя, вызывает прилив жизненных сил и, быть может, зачинает ребенка. Оба подумали о ребенке, и от этого безмерным стало их счастье на царственном пиршестве любви и юности, которому могли бы позавидовать короли.

XI

Но на следующую ночь вернулась тревожная бессонница. Ни Паскаль, ни Клотильда не поверяли друг другу своих страданий, и в темноте опечаленной спальни они часами лежали бок о бок, делая вид, что спят, а на самом деле неотступно думали, как выйти из трудного положения, которое все ухудшалось. Каждый из них, забывая о собственном горе, дрожал за другого. Пришлось влезть в долги. Мартина брала в кредит хлеб, вино, изредка мясо; ей было очень стыдно, приходилось лгать и изворачиваться, потому что все знали о разорении Паскаля. Доктору пришла мысль заложить Сулейяду; но это была крайняя мера. У Паскаля не оставалось ничего, кроме этой усадьбы, оцененной в двадцать тысяч франков, а при продаже он мог получить самое большее пятнадцать. Но тогда действительно наступит беспросветная нужда, они останутся без крова, даже негде будет приклонить голову. И Клотильда умоляла его подождать с продажей, не делать непоправимого шага, пока остается хоть какая-то надежда.

Так прошло три или четыре дня. Наступил сентябрь, и, как назло, погода испортилась; страшные бури свирепствовали в округе, часть ограды поместья рухнула, и поправить ее не удалось, — в этом месте теперь зияла дыра. У булочника служанку уже встречали невежливо. Как-то утром она пришла от мясника и расплакалась, говоря, что он продает ей самые плохие куски. Еще несколько дней, и никто не станет отпускать продукты в долг. Надо немедленно принять меры и найти деньги на ежедневные расходы.

В понедельник, в начале новой мучительной недели, Клотильда волновалась все утро. Казалось, в ней происходит какая-то борьба, но решение она приняла только после обеда, когда Паскаль отказался от оставшегося со вчерашнего дня мяса. Не колеблясь больше, она спокойно отправилась в город вместе с Мартиной, положив в корзинку служанки небольшой сверток — старые платья — для раздачи бедным, как она объяснила.

Вернулась она через два часа, очень бледная. Но ее большие чистые глаза, не умеющие лгать, сияли. Она тотчас же подошла к доктору, взглянула ему прямо в лицо и во всем призналась.

— Прости меня, учитель, я ослушалась тебя и боюсь, ты очень огорчишься.

Он не понял, забеспокоился:

— Что ты наделала?

Медленно, не спуская с Паскаля глаз, она вытащила из кармана конверт, а из него кредитные билеты. Его вдруг осенила догадка.

— Боже мой! Драгоценности! Все мои подарки! — закричал он.

Паскаль, обычно такой добрый и такой мягкий, был охвачен порывом гнева. Он резко схватил ее за руки, до боли сжал пальцы, державшие банкноты.

— Боже мой! Что ты наделала, несчастная! Ведь ты продала мое сердце! Мы вложили в эти драгоценности сердце, и ради денег ты отдала его вместе с ними!.. Мои подарки — это воспоминания о проведенных нами божественных часах, — они принадлежат тебе, тебе одной! Могу ли я отнять их у тебя, воспользоваться ими? Да разве это возможно? Подумала ли ты, какое горе мне причинишь?

Она кротко возразила:

— Но неужели, учитель, я могла примириться с нашей нуждой, порой у нас нет даже хлеба, а между тем кольца, ожерелья, серьги без упо-

требления лежали у меня в столе. Все во мне восставало, я сочла бы себя скрягой, эгоисткой, если бы их оставила… Как мне ни тяжело было с ними расставаться, — да, признаюсь, так тяжело, что у меня едва хватило мужества, — но я твердо уверена — я сделала лишь то, что должна была сделать любящая, покорная жена.

И так как Паскаль все еще не выпускал ее рук, у нее на глаза навернулись слезы, и она добавила столь же кротко, пытаясь улыбнуться:

— Не сжимай — мне очень больно!

Тогда он тоже расплакался, потрясенный до глубины души, исполненный бескрайней нежности.

— Я негодяй, если мог рассердиться из-за этого… Ты правильно сделала, ты не могла поступить иначе… Прости меня, но мне было так горько видеть тебя ограбленной… Дай же мне руки, твои бедные руки, и их полечу.

Он осторожно взял их и покрыл поцелуями: они казались ему еще прекраснее, чем обычно, тонкие, изящные, без единого кольца. Успокоенная и обрадованная Клотильда рассказала ему о своей затее, о том, как она доверилась во всем Мартине и как они вдвоем отправились к перекупщице, той самой, которая продала Пас-

калю лиф из старинных алансонских кружев. После тщательного осмотра драгоценностей и нескончаемых препирательств эта женщина дала за все шесть тысяч франков. Паскаль с трудом превозмог себя: шесть тысяч франков! Да ведь он заплатил за них больше чем втрое, по крайней мере — двадцать тысяч!

— Послушай, — сказал он наконец, — я беру эти деньги, потому что ты даришь их от всего сердца, но, условимся, они принадлежат тебе. Клянусь, я стану еще скупее Мартины и буду давать ей лишь по несколько су на самое необходимое. Деньги будут храниться для тебя в секретере, пока мне не удастся пополнить всю сумму и вернуть ее тебе.

Он сел, посадил ее к себе на колени и, все еще растроганный, крепко обнял. Потом, склонившись к ней, спросил шепотом:

— Ты продала все, все без исключения?

Не говоря ни слова, она слегка высвободилась из его объятий и привычным, полным прелести жестом опустила пальцы за воротник платья. Покраснев, она улыбнулась и вытащила наконец тоненькую цепочку, на которой светились молочно-белые звезды семи жемчужин; казалось, что она извлекла на свет частицу своей наготы, что вся прелесть ее тела воплотилась в этом чу-

десном ожерелье, которое она носила на груди, в сокровенной тайне. И тотчас же она опять спрятала его, скрыла от посторонних глаз.

Паскаль тоже покраснел и, охваченный огромной радостью, стал осыпать ее безумными поцелуями.

— Какая ты милая и как я тебя люблю!

Но с этого вечера воспоминание о проданных драгоценностях тяжестью легло на его сердце; он не мог без горечи смотреть на спрятанные в секретере деньги. Его угнетала близкая неминуемая нищета, но еще мучительнее была мысль о своих шестидесяти годах, ведь в этом возрасте он уже не способен создать счастливую жизнь для любимой женщины, — это было возвратом к тревожной действительности от обманувшей его мечты о вечной любви. Чувствуя себя стариком, он впадал в отчаянье, терзался угрызениями совести, бессильным гневом против себя самого, словно его душу тяготил какой-то дурной поступок.

И вдруг он словно прозрел. Однажды утром, когда он был один дома, пришло письмо со штемпелем Плассана; Паскаль долго рассматривал конверт, не узнавая почерка. Письмо было без подписи; с первых же строк он возмутился, чуть не разорвал его, но, весь дрожа, сел и дочитал до

конца. Впрочем, письмо было безупречно вежливо. Осторожные гладкие фразы нанизывались одна на другую, словно в речи дипломата, единственная цель которого — убеждать. В письме приводилось множество веских доводов, ему пытались доказать, что скандал в Сулейяде слишком затянулся. Пусть даже страсть в какой-то мере оправдывала совершенную им ошибку, но человек в его возрасте и с его положением заслужит только презрение, если будет по-прежнему портить жизнь обманутой им молодой родственнице. Всем известно, какое влияние он имеет на нее, и можно даже предположить, что она видит особую доблесть в том, чтобы жертвовать собой ради него; но неужели он не понимает, она не может любить старика и чувствует к нему лишь сострадание и благодарность; давно пора освободить девушку от позорящих ее старческих объятий, ведь она теперь отверженная, не жена и не мать. И если он не может оставить ей хотя бы небольшое состояние, следует надеяться, — писал безымянный автор, — что Паскаль поступит как порядочный человек и, пока не поздно, найдет в себе силы расстаться с Клотильдой, дабы не мешать ее счастью. Письмо заканчивалось назидательным рассуждением о том, что дурное

поведение всегда бывает наказано.

С первых же слов Паскаль понял, что анонимное письмо дело рук его матери. Старая г-жа Ругон, несомненно, продиктовала его; Паскалю даже слышались свойственные ей интонации. Между тем гнев, охвативший его во время чтения, утих. Он побледнел, задрожал, словно в ознобе, и дрожь эта все не проходила. В письме высказывались правильные мысли, оно объясняло доктору собственное беспокойство, пробуждало угрызения совести — он стар, беден и, несмотря на это, не отпускает Клотильду. Он вскочил, остановился перед зеркалом, долго рассматривал себя, и глаза его наполнились слезами, в такое отчаяние его привели собственные морщины и седая борода. Объявший его смертельный холод был вызван мыслью, что разлука с Клотильдой теперь неизбежна, неотвратима, как рок. Он гнал прочь эту мысль, не представлял себе, что когда-нибудь примирится с ней; да, она будет вновь и вновь возвращаться, ни на минуту не оставит его, станет вечно терзать, — его ждет постоянная борьба между чувством и разумом, пока в один страшный вечер он не примет решения, которое будет стоить ему крови и слез. Он трусливо дрожал при одном предположении, что

когда-нибудь у него достанет на это мужества. Это было началом конца, приближалась развязка, Паскалю стало страшно за Клотильду, еще такую юную, — он обязан спасти ее от себя самого.

Преследуемый отдельными словами, выражениями из полученного письма, он мучился, стараясь убедить себя, что Клотильда и в самом деле его не любит, — в ней говорит только жалость и благодарность. Как облегчила бы ему разрыв уверенность, что она жертвует собой и, удерживая ее подле себя, он только потворствует своему чудовищному эгоизму! Но напрасно он присматривался к ней, подвергая всевозможным испытаниям, — в его объятьях она по-прежнему была нежной и страстной. Он падал духом, видя, что его старания оборачиваются против принятого им поневоле решения, которого он так опасался, и что Клотильда становится ему еще дороже. Он пытался доказать себе необходимость разлуки, перебирал все доводы в пользу нее. Жизнь, которую они вели в последние месяцы, — жизнь вдали от людей, жизнь без обязанностей, без какой бы то ни было работы, предосудительна. Сам-то он годен лишь на то, чтобы успокоиться где-нибудь под землей, в уголке кладбища; но не была ли такая жизнь вредна для Клотильды,

не станет ли девушка испорченной, безвольной, неспособной желать и действовать? Он развращал ее своим поклонением, тем, что пренебрегал хулой, сплетнями. Потом ему вдруг представлялось, что он умер, оставил ее на улице, без средств, всеми презираемую. Никто не давал ей приюта, она скиталась одна, бездомная, навсегда потеряв надежду иметь мужа и детей. Нет! Нет! Это было бы преступлением, он не должен ради нескольких дней личного счастья обрекать ее на позор и нищету.

Как-то утром Клотильда вышла ненадолго по соседству и вернулась домой потрясенная, бледная, дрожащая. Поднявшись к себе в спальню, она упала на руки Паскаля почти в обмороке. Она бессвязано лепетала:

— Боже мой!.. Боже!.. эти женщины…

Испуганный, он забросал ее вопросами:

— Ну, отвечай же! Что случилось?

Краска стыда залила ее щеки. Она обняла Паскаля, спрятала лицо на его плече.

— О, эти женщины!.. Я перешла на теневую сторону улицы, закрыла зонтик и нечаянно толкнула им ребенка, он упал… Тогда они напустились на меня, стали выкрикивать всякие гадости, что у меня никогда не будет детей, что

дети не родятся у таких, как я! И, боже мой, еще многое другое, я даже не могу повторить их слова, а кое-чего я просто не поняла!

Она плакала навзрыд. Паскаль сильно побледнел и, не зная, что сказать, безумно целовал ее, плача вместе с ней. Он ясно представил себе, как Клотильду преследуют, поносят. Наконец он нашел в себе силы и пробормотал:

— Это моя вина, ты страдаешь из-за меня... Послушай, уедем отсюда далеко-далеко, куда-нибудь, где нас не знают, где тебя будут уважать и ты будешь счастлива.

Увидев, что он плачет, она мужественно подавила слезы.

— Как гадко я поступила! А я-то давала себе зарок ничего тебе не говорить! Но дома мне стало так горько, что я не сдержалась... Вот видишь, все уже прошло, не огорчайся... Я люблю тебя.

Она уже улыбалась и снова нежно привлекла его к себе, целуя, как целуют, когда хотят облегчить неутешное горе.

— Я тебя люблю, так люблю, что это за все меня вознаграждает! Ты один мне нужен на свете, все остальное не имеет значения! Ты так добр, ты даешь мне столько счастья!

Но он плакал, не переставая, и она снова за-

плакала вместе с ним; так сидели они долго и в бесконечной тоске смешивали поцелуи и слезы.

Оставшись один, Паскаль осыпал себя гневными упреками. Он не имеет права причинять новые страдания обожаемому им ребенку. Но в тот же вечер произошло событие, подсказавшее ему выход, которого он искал, смертельно боясь его найти. После обеда Мартина таинственно отвела Паскаля в сторону.

— Я видела госпожу Фелисите, и она поручила мне передать это письмо, сударь, и велела вам сказать, что принесла бы его сама, если бы не боялась за свое доброе имя… Она просит вернуть ей письмо господина Максима и сообщить, какой ответ даст на него барышня.

Это и в самом деле было письмо от Максима. Получив его, Фелисите обрадовалась: она воспользуется им, чтобы вернуть сына, — ведь, вопреки ее ожиданиям, нищета не сломила Паскаля и не привела к ней. Ни Паскаль, ни Клотильда не обратились к ней, не попросили у нее помощи, поэтому она еще раз переменила намерение и снова решила их разлучить; на этот раз случай показался ей подходящим. Максим писал бабушке, настойчиво прося ее повлиять на сестру в его пользу. У бедняги признали сухотку спинного

мозга, и теперь он передвигается только с помощью слуги. Но Максим особенно горевал о своей ошибке, он не устоял перед красивой брюнеткой, которая втерлась к нему в дом, и в объятьях этой женщины растратил остатки здоровья; хуже всего, что эта сердцеедка — теперь Максим уже не сомневался в этом — была подарком его отца. Саккар услужливо подослал ее, чтобы ускорить получение наследства. Выгнав ее вон, Максим заперся в своем особняке, не принимал отца, трепеща при мысли, что в одно прекрасное утро тот влезет к нему в окно. Одиночество пугало его, и он в отчаянии настойчиво звал сестру, надеясь, что она станет его опорой против всех этих мерзких покушений и в то же время честной, ласковой сиделкой. Максим намекал, что она не раскается, если будет к нему внимательна. В конце письма он напоминал Клотильде, что при последней встрече в Плассане она обещала переселиться к нему, если это будет необходимо.

Паскаль похолодел. Он еще раз перечитал все четыре страницы. Это был повод для разлуки, приемлемый для него самого, благоприятный для Клотильды и такой удобный, естественный, что надо было немедленно соглашаться; но несмотря на все доводы разума, он чувствовал себя таким

слабым, нерешительным, что ему пришлось на минутку присесть: у него дрожали ноги. Но он хотел быть стойким, взял себя в руки и позвал свою подругу.

— На, прочти это письмо, его переслала твоя бабушка.

Клотильда внимательно прочла письмо до конца, ничем не выдав себя — ни словом, ни жестом. Затем сказала очень просто:

— Ну и что ж!.. Ты ответишь сам, не правда ли?.. Я отказываюсь.

Он с трудом удержался от радостного восклицания. И тут же услышал как бы со стороны свой рассудительный голос:

— Ты отказываешься… но так нельзя… Надо все обдумать, подождем с ответом до завтра, а сейчас побеседуем, хочешь?

Но она удивилась, пришла в негодование.

— Расстаться? Но почему? И ты в самом деле согласен!.. Какое безумие! Ведь мы любим друг друга, и вдруг расстанемся, и я — уеду туда, где меня никто не любит!.. Ну подумай, ведь это же нелепость.

Он постарался переменить разговор и завел речь о данном ею обещании, о ее долге.

— Вспомни, дорогая, как ты огорчилась, когда

я предупредил тебя, что здоровье Максима под угрозой. И вот теперь болезнь сразила его, он немощный, одинокий, призывает тебя!.. Ты не можешь оставить его в таком положении. Ты должна выполнить свой долг.

— Долг! — воскликнула она. — Но разве у меня есть долг по отношению к брату, который никогда мною не интересовался? Мой долг быть там, куда влечет меня сердце.

— Но ты обещала, я тоже обещал за тебя и сказал, что ты будешь благоразумна… Не захочешь же ты, чтобы я оказался лжецом!

— Благоразумна?! Это ты неблагоразумен! Разве благоразумно нам расставаться, ведь мы оба умрем с горя.

И, желая положить конец спору, она отмахнулась от Паскаля, не дала ему продолжать.

— Впрочем, к чему эти разговоры? Все очень просто, достаточно одного слова. Ты в самом деле хочешь, чтобы я уехала?

— Мне ли хотеть этого, великий боже! — воскликнул он.

— Ну, если ты не отсылаешь меня, я остаюсь!

Теперь она уже смеялась и, подбежав к своей конторке, написала красным карандашом поперек письма только два слова: «Я отказыва-

юсь!» Она позвала Мартину, чтобы служанка тут же отнесла письмо. Паскаль тоже смеялся, его охватила такая радость, что он был не в силах противиться Клотильде. Счастливый тем, что может оставить ее у себя, он уже не подчинялся доводам разума.

Зато ночью, когда Клотильда заснула, какие угрызения совести испытал он при мысли о своем малодушии! Он еще раз уступил потребности в счастье, сладостному желанию каждый вечер ощущать ее в своих объятьях, такую стройную и нежную в длинной ночной рубашке, вдыхать благоухание ее юной свежести. После нее он уж больше не полюбит, все в нем протестовало против необходимости отказаться от женщины и от любви. На лбу Паскаля выступил холодный пот, когда он представлял себе, что она уехала и он остался один, без нее, без ласки и нежности, которыми она его окружала, без ее дыхания, тонкого ума, бесстрашной прямоты, без всего ее физического и духовного существа, столь же необходимого ему, как солнечный свет. Но она должна его покинуть, а он — найти в себе силы, даже если после этого умрет с горя. Стараясь не будить спавшую в его объятьях Клотильду, грудь которой чуть вздымалась от чистого, как у ребен-

ка, дыхания, Паскаль с ужасающей трезвостью обдумывал положение и презирал себя за недостаток мужества. Все было кончено: там, у брата, ее ожидала благополучная жизнь, богатство; он больше не должен потворствовать своему старческому эгоизму — нельзя держать ее в нищете и подвергать насмешкам. И, теряя волю оттого, что она лежала рядом, прелестная и покорная своему старому царю, он давал себе клятву быть сильным, отказаться от жертвы, приносимой этой девочкой, и вернуть ей счастье, жизнь, хотя бы против ее воли.

И началась борьба великодушия. Спустя несколько дней Паскаль сумел доказать Клотильде всю жестокость ее слов: «Я отказываюсь!» — на письме Максима, и она написала бабушке, чтобы подробно объяснить свой отказ. Но она по-прежнему не хотела покидать Сулейяду. Паскаль стал невероятно скуп, стараясь как можно реже прибегать к деньгам, вырученным за драгоценности, она же превзошла его и ела сухой хлеб, не переставая при этом весело смеяться. Однажды утром он застал ее, когда она давала Мартине советы, как экономнее вести хозяйство. Раз десять в день она внимательно вглядывалась в Паскаля, бросалась ему на шею, покрывала поцелуями,

чтобы отвлечь его от страшной мысли о разлуке, которую постоянно читала в его глазах. Вскоре у нее появился другой довод против отъезда. Как-то вечером после обеда у доктора началось сердцебиение, он был близок к обмороку. Это его удивило; раньше он не страдал болезнью сердца и потому решил, что виною всему нервное расстройство. С тех пор как Паскаль отдался радостям любви, он стал чувствовать себя хуже, испытывал странное ощущение, будто что-то хрупкое разбилось у него внутри. Клотильда сразу взволновалась, засуетилась. Ну, вот он наконец перестанет говорить об ее отъезде? Если любимый человек болен, надо быть возле него, ухаживать за ним!

Теперь война между ними уже не прекращалась. Это была беспрерывная борьба нежности, самопожертвования ради одной цели — сделать другого счастливым. Чем больше убеждался Паскаль в доброте и любви к нему Клотильды, тем сильнее терзала его мысль о разлуке, и вместе с тем он понимал, что необходимость ее возрастает с каждым днем. Сам он уже принял твердое решение, но волновался, не зная, как заставить Клотильду согласиться на отъезд. Перед ним возникала сцена ее отчаяния и слез: как вести себя,

что ей сказать? Где взять силы, чтобы обнять друг друга в последний раз и разлучиться навсегда? Время шло, а он ничего не мог придумать, и вечером он называл себя трусом, когда, потушив свечу, Клотильда вновь обвивала его своими прохладными руками, счастливая, ликующая от сознания одержанной победы.

Зачастую она шутила, и в ее голосе сквозило тонкое лукавство.

— Учитель, ты такой добрый, ты не отошлешь меня.

Но это его сердило, и, хмурясь, он взволнованно возражал:

— Нет, нет, не говори о моей доброте!.. Будь я действительно добр, ты давно переехала бы к Максиму, жила бы у него в довольстве, почете и впереди у тебя было бы прекрасное, спокойное будущее, а вместо этого ты продолжаешь жить здесь в бедности, терпя оскорбления, без всякой надежды на будущее, в печальном обществе такого старого безумца, как я!.. Нет, я просто трус и бессовестный человек!

Она не давала ему договорить. Он и в самом деле расплачивался за свою доброту, порождаемую любовью к жизни, ту безграничную доброту, которую расточал на все и вся, непре-

станно заботясь о всеобщем благе. Не по своей ли доброте он желал счастья Клотильде ценой своего собственного? Он испытывал потребность в самопожертвовании и знал, что пойдет на него, бесстрашно, героически. Но подобно несчастным, которые решают покончить с собой, он ждал удобного случая, минуты и предлога, чтобы, собравшись с духом, осуществить свое намерение.

Однажды утром Клотильда вошла в кабинет и была поражена, увидев, что Паскаль, вставший в семь часов утра, сидит за письменным столом. Уже давно он не раскрывал книги, не брал в руки пера.

— Вот как! Ты работаешь?

Не поднимая головы, видимо, поглощенный своими мыслями, он ответил:

— Да, над генеалогическим древом, в которое я еще не внес новых данных.

Она постояла несколько минут сзади него, смотря, как он пишет. Паскаль дополнял записи о тете Диде, дяде Маккаре и маленьком Шарле, описывал их смерть, проставлял даты. Он продолжал сидеть, не оборачиваясь, словно не замечал, что она пришла и ждет, как всегда по утрам, поцелуев и шуток; при виде этого Клотильда подошла к окну, затем вернулась обратно, не зная,

чем заняться.

— Итак, ты всерьез начал работать?

— Конечно, ты же знаешь, мне следовало отметить еще месяц тому назад все эти смерти. У меня тут уйма дела!

Она пристально, вопрошающе смотрела ему в глаза, как бы ища в них ответа.

— Хорошо, давай работать… Если я могу разыскать что-нибудь или переписать, поручи это мне!

Отныне он, казалось, с головой ушел в работу. Впрочем, такова была одна из его теорий: полный покой вреден, нельзя предписывать его даже очень переутомленным людям. Человек живет только благодаря взаимодействию с окружающей его внешней средой; получаемые извне ощущения преобразуются им в действия, мысли, поступки; следовательно, если при наличии полного покоя человек продолжает получать ощущения, не осваивая их и не передавая вовне преобразованными, они излишне обременяют его, и это ведет к болезни и неизбежной потере равновесия. Доктор убедился на собственном опыте, что работа лучший регулятор жизни. Даже когда ему бывало не по себе, он все же садился за письменный стол и вновь обретал работоспо-

собность. Особенно хорошо он чувствовал себя, когда ему удавалось выполнить намеченный урок, по столько-то страниц утром в одни и те же часы; и он говорил, что этот урок подобен шесту канатоходца, ибо дает ему устойчивость среди повседневных неприятностей, приступов малодушия и ошибок. Вот почему он считал леность и праздность двух последних месяцев единственной причиной сердцебиения, от которого порой задыхался. Если он хочет излечиться — ему надо лишь снова приняться за свой основной труд.

С лихорадочным, преувеличенным воодушевлением Паскаль часами развивал, объяснял эти теории Клотильде. Казалось, он вновь охвачен любовью к науке, которая целиком поглощала его до взрыва страсти к Клотильде. Он без устали повторял ей, что ему предстоит еще очень многое сделать и он не может оставить незавершенным труд всей своей жизни, если хочет возвести это прочное и величественное здание. Видимо, его снова снедало беспокойство. По двадцать раз на дню он открывал большой шкаф, доставал с верхней полки папки и пополнял их новыми данными. Его воззрения на наследственность менялись, и он решил вновь все пересмотреть, переделать и вывести из естественной и социаль-

ной истории своей семьи широкие обобщения, закон развития, применимый ко всему человечеству. Одновременно он вернулся к своему способу лечения — подкожным впрыскиваниям, стремясь расширить их применение: это было смутное предвидение новой терапии, неясная, еще не разработанная теория о благотворном, возрождающем влиянии труда, родившаяся на основании убеждения и личного опыта.

Теперь, садясь за письменный стол, Паскаль всякий раз жаловался:

— У меня не хватит времени! Жизнь слишком коротка!

Можно было подумать, что он не хочет терять ни минуты. Однажды утром он вдруг поднял голову и сказал своей подруге, которая переписывала что-то, сидя рядом с ним:

— Послушай, Клотильда… Если я умру…

— Что за мысли! — испуганно запротестовала она.

— Если я умру, слушай меня внимательно… Ты тотчас же запрешь все двери. Мои папки оставишь у себя, только у себя. Когда же приведешь в порядок остальные рукописи, ты передашь их Рамону… Слышишь? Такова моя последняя воля.

Но она перебила его, отказалась выслушать.

— Нет, нет, не говори глупостей!

— Клотильда, поклянись, что ты сохранишь папки, а остальные бумаги вручишь Рамону.

Наконец она стала серьезной и, обливаясь слезами, дала требуемую клятву. Взволнованный Паскаль обнял ее, осыпая ласками, как будто его сердце вновь раскрылось навстречу ей. Успокоившись, он рассказал о своих опасениях. Они опять возобновились, с тех пор как он взялся за работу, поэтому он был постоянно начеку, ему казалось, что Мартина бродит возле шкафа. Разве враги не могли воспользоваться слепым благочестием этой женщины и толкнуть ее на дурной поступок, уверив, что таким образом она спасет душу хозяина? Его уже давно мучили эти подозрения! Под угрозой близкого одиночества он снова испытал страдания ученого, за которым неотступно следят, которого преследуют близкие в его же доме, посягая на самое дорогое — на творения его разума.

Однажды вечером, когда он говорил об этом с Клотильдой, у него вырвалось:

— Понимаешь, когда тебя здесь не будет…

Она вся побелела и, видя, что он задрожал и умолк, воскликнула:

— О учитель, учитель, ты не переставая ду-

маешь об этом ужасе! Я вижу это по твоим глазам, — ты что-то скрываешь, что-то таишь от меня… Но если я уеду, а ты умрешь, здесь же никого не будет, чтобы спасти твой труд?

Решив, что она освоилась с мыслью об отъезде, он пересилил себя и весело ответил:

— Неужели ты думаешь, что я позволю себе умереть, не повидавшись с тобой? Я напишу тебе, черт побери! И ты вернешься, чтобы закрыть мне глаза!

Она упала на стул и зарыдала.

— Боже мой, да разве это возможно?! Ты хочешь, чтобы завтра же меня здесь не было, а ведь мы не расстаемся ни на минуту, живем душа в душу! И, однако, если бы у нас был ребенок…

— Ты выносишь мне приговор! — прервал он резко. — Будь у нас ребенок, ты никогда не уехала бы. Но разве ты не видишь, что я слишком стар и презираю себя за это! Со мной ты останешься бесплодной и не почувствуешь себя настоящей женщиной, матерью! Уходи же, потому что я больше не мужчина!

Тщетно она пыталась его успокоить.

— Нет, я знаю, о чем ты думаешь, мы говорили об этом уже двадцать раз: если рождение ребенка не является конечной целью, то любовь — это

только ненужная грязь, — возразил он. — Ты отбросила как-то вечером роман, который читала, ибо его герои были потрясены рождением ребенка, словно и не догадывались, что это может случиться, и теперь не знали, как от него избавиться... А я! Как я ждал, как я любил бы твоего ребенка!

С этого дня Паскаль, казалось, совсем ушел в работу. Он сидел за письменным столом по четыре-пять часов, и утром и днем не поднимая головы от бумаг. Он преувеличивал свою занятость, требуя, чтобы ему не мешали и ни с чем бы к нему не обращались. Но если Клотильда на цыпочках выходила из комнаты, чтобы отдать распоряжения Мартине или пройтись, он бросал вокруг беглый взгляд и, убедившись, что ее нет, ронял голову на стол в беспросветном отчаянии. Это была болезненная передышка после огромного напряжения, к которому он себя принуждал; трудно было чувствовать подле себя Клотильду и продолжать сидеть за столом, вместо того чтобы заключить ее в объятья и держать так часами, нежно целуя. Ах, работа! Какую страстную надежду он возлагал на свой труд, видя в нем единственное прибежище, единственную возможность найти забвение! Но чаще всего Паскаль не мог работать, он разыгры-

вал комедию, устремлял на открытую страницу печальные, полные слез глаза, а мысли его были далеко, они путались, разбегались, неизменно обращаясь к любимому образу. Неужели ему предстоит убедиться в провале своей теории труда, ведь он считал труд владыкой, единственным творцом, регулятором мира? Неужели он должен отбросить перо, отказаться от всякой деятельности и прозябать, отдавая свою любовь случайным красоткам. А может быть, все дело в старости, и она виновата в том, что он не может написать ни страницы и не способен произвести на свет ребенка? Его всегда преследовал страх перед бессилием. Опустив голову на стол, он сидел ослабевший, подавленный и грезил о том, что ему тридцать лет и что в объятьях Клотильды он каждую ночь черпает мужество для завтрашнего труда. Слезы текли по его седой бороде; но, услышав шаги Клотильды, поднимавшейся наверх, он быстро выпрямлялся, снова брал перо в руки, чтобы она застала его по-прежнему погруженного в глубокое раздумье, тогда как в душе у него были отчаянье и пустота.

Приближалась середина сентября, уже прошли две тягостные, бесконечно долгие недели, но ничто еще не было решено. И вот однажды утром

Клотильда, к своему великому удивлению, увидела, что к ним в дом входит ее бабушка Фелисите. Накануне Паскаль встретил ее на улице Банн и, горя нетерпением принести себя в жертву, но не находя сил для разрыва с Клотильдой, он во все посвятил мать, хотя это ему и претило, и попросил ее прийти к ним на следующий день. А она как раз получила новое отчаянное письмо от Максима.

Фелисите поспешила объяснить причину своего появления:

— Да, это я, моя милая! — сказала она. — И ты, конечно, понимаешь, если я решилась переступить порог вашего дома, для этого понадобились веские причины... По-моему, ты не в своем уме, я не могу допустить, чтобы ты окончательно испортила себе жизнь, и хочу поговорить с тобой последний раз.

И тут же со слезами в голосе она прочла письмо Максима. Он пригвожден к креслу, по-видимому, сухотка спинного мозга быстро развивается и протекает очень тяжело. Он требует от сестры окончательного ответа, все еще надеясь, что она приедет, ему претит мысль о другой сиделке. Однако ему придется прибегнуть к услугам чужого человека, если его покинут, оставят одного

в таком плачевном положении. Окончив чтение, Фелисите дала понять, как обидно будет, если состояние Максима перейдет в чужие руки; но она особенно настаивала на долге, на необходимости помогать родственникам, уверяла, что Клотильда клятвенно обещала Максиму приехать.

— Припомни-ка, милочка, ведь ты говорила Максиму, что приедешь к нему, если он будет в тебе нуждаться. Я как сейчас слышу твои слова... Разве это не так, сынок?

С тех пор как его мать была здесь, Паскаль, бледный, поникший, молчал, не мешая ей разглагольствовать. В ответ он только кивнул головой.

Тогда Фелисите повторила все доводы, какие он сам приводил Клотильде: громкий скандал, грозящий Клотильде позором, надвигающаяся нищета, столь тягостная для них обоих, невозможность продолжать эту жизнь; ведь, старея, Паскаль утратит остатки здоровья, а она, такая молодая, кончит тем, что бесповоротно испортит себе будущее. На что им надеяться теперь, когда пришла бедность? Было нелепо и жестоко дольше упрямиться.

Клотильда стояла прямая, молчаливая, замкнувшись в себе, и явно не желала вступать в спор. Но так как бабушка упорно не оставляла ее

в покое, она наконец сказала:

— Повторяю еще раз, у меня нет никакого долга перед братом, мой долг быть здесь. Брат может располагать своим состоянием, как ему вздумается, мне оно не нужно. Когда мы совсем обеднеем, учитель рассчитает Мартину, и я буду его служанкой.

Она подтвердила свои слова решительным жестом. О да, посвятить себя своему властелину, отдать ему жизнь, скитаться с нищенской сумой по дорогам, ведя его за руку! А потом, по возвращении, как было в тот вечер, когда они ходили из дома в дом, щедро дарить ему свою юность и согревать его в своих чистых объятьях!

Старая г-жа Ругон презрительно вздернула подбородок.

— Стать его служанкой? Лучше ты стала бы с самого начала его женой… Почему вы не поженитесь? Это было бы куда проще и приличнее.

Фелисите напомнила, что она уже приходила к ним и требовала во избежание скандала узаконить их союз; Клотильда тогда еще удивилась и возразила, сказав, что они с доктором не думали о браке, если же это потребуется, они готовы пожениться, только позднее, — ведь это не к спеху!

— Мы поженимся! Я согласна! — воскликнула

Клотильда. — Ты, бабушка, права! — И, обращаясь к Паскалю, добавила: — Ты мне сто раз повторял, что сделаешь, как я захочу… Так вот, слышишь, женись на мне. Я буду твоей женой и останусь здесь. Жена ведь не должна покидать мужа!

Он ответил только жестом, словно боялся выдать себя и с криком благодарности согласиться на вечный союз, который она предлагала. Его жест мог выражать колебание, отказ. К чему этот брак in extremis[1], когда все рушится.

— Без сомнения, тобой владеют прекрасные чувства, — продолжала Фелисите. — Ты все уладила в своей маленькой головке! Но бракосочетание не даст вам дохода; а пока что Паскаль тратит на тебя немало денег, ты для него самое тяжкое бремя.

Эти слова оказали необычайное действие на Клотильду, она взволнованно бросилась к Паскалю, лицо ее пылало, глаза были полны слез.

— Учитель, учитель, неужели бабушка сказала правду и тебе жаль денег, которые ты тратишь на меня?

Он еще больше побледнел, но сидел все такой же неподвижный, удрученный. Словно говоря

---

[1] Примечания: 1
В последний момент (*лат.*).

сам с собой, он глухо пробормотал:

— У меня столько работы! Я хотел бы снова заняться своими папками, рукописями, заметками и закончить дело моей жизни!.. Если бы я остался один, может быть, мне удалось бы все устроить. Я продал бы Сулейяду, — о, только ради куска хлеба, — ведь она не дорого стоит. Я перебрался бы вместе со всеми моими бумагами в маленькую комнатку и работал бы с утра до ночи, стараясь не чувствовать себя слишком несчастным.

Он избегал смотреть на нее, а взволнованная Клотильда не могла удовлетвориться этим скорбным бормотаньем. Ее страх все усиливался, так как она чувствовала, что сейчас будет сказано непоправимое.

— Посмотри на меня, учитель, посмотри мне в глаза… Заклинаю тебя, будь мужествен, сделай выбор между работой и мной, ведь ты сказал, будто отсылаешь меня, чтобы лучше работать!

Наступила минута, когда надо было произнести героическую ложь. Паскаль поднял голову, смело взглянул Клотильде в глаза и с улыбкой умирающего, который призывает смерть, произнес своим прежним голосом, в котором звучала неземная доброта:

— Не надо так волноваться! Разве ты не можешь

попросту выполнить свой долг, как это делают другие люди?.. У меня много работы, мне надо побыть одному, а ты, дорогая, должна переселиться к брату. Уезжай же, все кончено!

Воцарилось зловещее молчание. Она по-прежнему пристально смотрела на него в надежде, что он уступит. Сказал ли он правду, не жертвовал ли собой ради ее счастья?! Вдруг она смутно почувствовала, что он лжет, словно ее предупредили об этом какие-то исходившие от него волны.

— Ты отсылаешь меня навсегда? И не разрешишь мне вскоре вернуться?

Он собрал все свое мужество и вместо ответа опять улыбнулся, как бы говоря — уезжают не для того, чтобы возвращаться назавтра; тогда все снова запуталось, — и несмотря на неясное подозрение, Клотильда поверила, что он искренне предпочел работу, как человек науки, для которого его творение дороже любимой женщины. Побледнев еще больше, она подождала немного среди наступившей гнетущей тишины, затем произнесла медленно, кротко и с полной покорностью:

— Хорошо, учитель, я уеду, когда ты захочешь, и вернусь только в том случае, если ты меня позовешь.

Итак, между ними разверзлась бездна. Непоправимое свершилось. Фелисите, удивленная, что ей так легко уступили, тотчас же потребовала назначить день отъезда. Она была в восторге от своей настойчивости, считая, что вся честь победы принадлежит ей одной. В тот день была пятница, решили, что Клотильда уедет в воскресенье. Послали даже телеграмму Максиму.

Мистраль дул уже три дня. Вечером он усилился, словно обретя новую силу; Мартина объявила, что, по народной примете, он продлится еще три дня, не меньше. В конце сентября ветры в долине Вьорны бывают ужасны. Мартина обошла все комнаты, чтобы проверить, плотно ли заперты ставни. Стоило начаться мистралю, и, проносясь наискось над крышами Плассана, он обрушивался на возвышенность, где стояла Сулейяда. Ветер бесчинствовал здесь, словно сорвавшись с цепи, и без передышки днем и ночью сотрясал весь дом от погреба до чердака. Он сносил черепицу, срывал окна; жалобно завывая, врывался сквозь щели в дом, а плохо закрытые двери хлопали с шумом, похожим на пушечную пальбу. Можно было подумать, что дом подвергается осаде, такой раздавался грохот и вой.

На другой день в этом мрачном, сотрясаемом

бурей доме Паскаль решил заняться вместе с Клотильдой подготовкой к ее отъезду. Старая г-жа Ругон должна была прийти только в воскресенье, чтобы проститься. Когда Мартина узнала о предстоящей разлуке, она на мгновенье опешила, замерла и у нее глаза заблестели, но так как Паскаль и Клотильда отослали ее, сказав, что сами уложат вещи, она возвратилась на кухню и принялась за повседневную работу, будто ее совсем не касалось событие, перевернувшее жизнь всех троих. Стоило, однако, Паскалю позвать ее, как она прибегала, быстрая и легкая, с таким радостным, просветленным лицом, с такой готовностью служить ему, что казалась совсем молодой. А он ни на минуту не отходил от Клотильды, помогал ей, желая удостовериться, взяла ли она все необходимое. Посреди неприбранной комнаты стояли два больших раскрытых сундука; повсюду валялись свертки и платья; в двадцатый раз Паскаль и Клотильда пересматривали ящики и шкафы. И в этой суете, беспокоясь о том, чтобы ничего не забыть, они, казалось, хотели заглушить жгучую боль в груди. Порой они отвлекались от своих дум, Паскаль тщательно следил, чтобы зря не пропадало место, он клал в шляпное отделение разные мелочи, размещал коробочки среди ру-

башек и носовых платков, а Клотильда снимала с вешалок платья и складывала их на кровати, чтобы потом положить в верхний ящик сундука. Если же, утомившись, они отрывались от работы и смотрели в глаза друг другу, то сперва улыбались, затем сдерживали слезы, внезапно навернувшиеся при мысли о неминуемой разлуке. Но они были тверды, хотя сердца их исходили кровью. Боже мой! Так это правда, что они уже не вместе? И они прислушивались к ветру, ужасному ветру, грозившему сокрушить дом.

Сколько раз в этот последний день они подходили к окну, привлеченные бурей, желая, чтобы она унесла с собой весь мир! Во время мистраля солнце не перестает светить, небо остается неизменно голубым; но эта голубизна — мертвенная, мутная, и даже желтое солнце бледнеет в пыльном воздухе. Они глядели, как вдали, над дорогой, вьются огромные белые клубы, как взлохмаченные деревья неистово гнутся в одну сторону, словно бегут, спешат друг за другом; поля иссушены, опустошены непрекращающимся вихрем, беспрерывно грохочущим, как гром. Сломанные ветви, крутясь, исчезают из вида, сорванные крыши уносит так далеко, что их невозможно отыскать. Ах, почему мистраль не подхватит их

обоих и не забросит вместе в неведомые края, где можно быть счастливыми? Когда сундуки были почти готовы, Паскаль захотел отворить ставень, захлопнутый ветром, но в полураскрытое окно ворвался такой вихрь, что Клотильде пришлось прийти ему на помощь. Только совместными усилиями им удалось наконец открыть задвижку. Последние неуложенные вещи разлетелись по комнате, и Паскаль с Клотильдой подняли с пола осколки маленького ручного зеркала, упавшего со стула. Не предрекало ли разбитое зеркало чью-то близкую смерть, как говорили женщины предместья?

Вечером после унылого обеда в их светлой столовой, где по стенам цвели яркие пастели Клотильды, Паскаль заговорил о том, чтобы пораньше лечь спать. Клотильда должна была ехать утренним поездом, уходящим в четверть одиннадцатого, и он беспокоился, что ее утомит предстоящее длительное путешествие — двадцать часов, проведенных в вагоне. Когда настало время ложиться, он обнял ее, выразив твердое намерение спать с этой же ночи в одиночестве, вернуться в свою комнату. Клотильде непременно надо отдохнуть, сказал он. Если же они будут вместе, ни он, ни она не смежат век, это будет

бессонная, бесконечно грустная ночь. Тщетно молила она его своими большими кроткими глазами, тщетно протягивала к нему восхитительные руки: он нашел в себе сверхчеловеческую силу уйти, только поцеловал ее в глаза, как ребенка, укрыл одеялом и попросил быть умницей и хорошо спать. Разве разлука уже не совершилась? Он сгорел бы со стыда и его замучили бы угрызения совести, если бы он остался с нею сегодня, ведь она уже не принадлежит ему. Но как мучительно было вернуться в сырую покинутую комнату, где его ожидало холодное, одинокое ложе! Ему казалось, что теперь и уже навсегда пришла старость и придавила его свинцовой тяжестью. Сначала он обвинял в своей бессоннице ветер. Уснувший дом наполнился завыванием, стенания и гневные выкрики чередовались, переходя в непрерывные всхлипывания. Дважды он вставал с постели и подходил к дверям Клотильды, но ничего не услышал. Потом он спустился вниз и закрыл дверь, которая глухо хлопала, будто в нее стучалось несчастье. Ветер разгуливал по темным комнатам, и Паскаль снова лег, замерзший, дрожащий, преследуемый мрачными видениями. Доктору пришло в голову, что шум, который докучал ему, не давая уснуть, вовсе не голос раз-

бушевавшегося мистраля. Это был зов Клотильды — внутренний голос, говоривший ему, что она еще здесь, а он сам отказался от нее. И он метался в приступе глубокой тоски, безумного отчаяния. Боже мой! Никогда больше не обладать ею, хотя стоит ему сказать лишь слово, и она вновь будет с ним навсегда! Ведь это означало добровольно оторвать от себя эту юную плоть. В тридцать лет женщина может вновь обрести любовь. Но какое усилие должен сделать одержимый страстью мужчина, чтобы на закате своей мужской жизни отказаться от манящего юного тела, так щедро ему подаренного, принадлежащего ему всецело! Раз десять он готов был спрыгнуть с кровати, чтобы бежать к Клотильде, обнять ее, оставить у себя. Этот страшный припадок продолжался до рассвета, а ветер все так же неистово осаждал дом, содрогавшийся от его порывов.

В шесть часов утра Мартине почудилось, что хозяин стучит в пол, зовет ее, и она поднялась к нему. Уже два дня служанку не покидало радостное, восторженное настроение, но, увидев, что Паскаль, полуодетый, лежит на кровати и в изнеможении кусает подушку, чтобы заглушить рыдания, она замерла на месте, удивленная, встревоженная. Паскаль хотел было встать и

одеться, но с ним случился новый приступ — закружилась голова, и он чуть не задохнулся от сердцебиения.

Едва придя в себя после минутного обморока, он снова в отчаянии залепетал:

— Нет, нет! Я не могу, я слишком страдаю… Лучше мне умереть, умереть сейчас же….

Все же он узнал Мартину и, не совладав с собой, излил ей свою душу:

— Голубушка моя, я слишком страдаю, сердце мое разрывается. Клотильда уносит его с собой, уносит все мое существо. Я не могу жить без нее… Сегодня ночью я чуть не умер, я хотел бы умереть, пока она еще здесь, не терзаться больше при мысли, что она меня покидает… О боже мой! Она уезжает, ее больше не будет здесь, и я останусь один, один, один…

Служанка, которая с такой радостной готовностью вбежала в его спальню, стала белой, как воск, и лицо ее приобрело скорбное и суровое выражение. С минуту она смотрела, как, прижимая к губам одеяло, он судорожно комкает простыню и в отчаянии глухо стонет. Наконец, преисполнившись решимости, она произнесла с усилием:

— Поверьте, сударь, зря вы так расстраиваетесь… Это же смешно. Но уж коли вы впрямь не

можете обойтись без барышни, давайте я расскажу ей, в каком виде вас застала…

При этих словах он порывисто вскочил и оперся о спинку стула, так как еле держался на ногах.

— Я запрещаю вам это, Мартина!

— Так я и послушалась! А потом опять вы станете убиваться и плакать в три ручья… Нет, нет! Я побегу за барышней, скажу ей всю правду и заставлю остаться с нами!

Но Паскаль крепко стиснул ее руку, дрожа от гнева.

— Я приказываю вам молчать, слышите? Иначе вы уедете вместе с ней… Зачем вы вошли сюда? Я захворал из-за непогоды. И это никого не касается.

Но тут же, смутившись и уступив своей обычной доброте, он заулыбался.

— Бедняжка, вот вы меня и рассердили! Не мешайте же мне поступать, как мне велит долг, ко всеобщему благу. И ни слова, иначе вы причините мне большое горе!

Мартина еле сдержала слезы. Пререкаться не было времени, потому что почти тотчас же вошла Клотильда, вставшая спозаранку, — ей не терпелось увидеть Паскаля; без сомнения, до последней минуты она надеялась, что он оставит ее

у себя. У нее тоже веки отяжелели от бессонницы; войдя, она пристально, вопрошающе взглянула на Паскаля. Но он так осунулся за ночь, что она забеспокоилась.

— Да это же пустяки, уверяю тебя. Я бы спал как убитый, не будь мистраля. Правда, Мартина, я как раз говорил вам об этом.

Служанка подтвердила его слова кивком головы. И Клотильда подчинилась, поборола желание рассказать ему о борьбе, о страданиях, которые вытерпела ночью, когда и он погибал от душевных мук. Обе женщины теперь лишь безропотно покорялись, помогая ему жертвовать собой.

— Постой, — сказал он, открывая секретер, — тут есть кое-что для тебя... Возьми! Здесь в конверте семьсот франков.

И как она ни протестовала, ни отбивалась, он заставил ее выслушать отчет. Из шести тысяч франков, полученных за драгоценности, было потрачено не более двухсот, кроме того, он взял себе сто франков, при строгой экономии их должно было хватить до конца месяца, ведь он стал теперь настоящим скрягой. А затем он продаст Сулейяду, примется за работу и как-нибудь проживет. Но к оставшимся пяти тысячам он не притронется, это ее достояние, и в любую минуту

она найдет эти деньги в ящике секретера.

— Учитель, учитель, как ты меня огорчаешь!

Он перебил ее:

— Такова моя воля. Не разрывай же мне сердца… Постой, уже половина восьмого, я пойду перевяжу твои вещи, ведь все уложено.

Когда Клотильда и Мартина остались вдвоем, лицом к лицу, они молча переглянулись. С тех пор как в доме все пошло по-новому, они чувствовали взаимную глухую неприязнь, вызванную явной победой молодой хозяйки и скрытой ревностью старой служанки к Паскалю, которого обе боготворили. Теперь, казалось, восторжествовала служанка. Но в эту последнюю минуту их сблизила общая тревога.

— Мартина, он не должен питаться как нищий! Обещай мне, что он будет каждый день получать вино и мясо.

— Не беспокойтесь, барышня.

— Имей в виду, что эти пять тысяч франков принадлежат ему. Надеюсь, вы не станете морить себя голодом, пока они будут у вас под рукой. Я хочу, чтобы ты его баловала.

— Повторяю, барышня, это уж моя забота, хозяин ни в чем не будет нуждаться.

Снова наступило молчанье. Они по-прежнему

глядели друг на друга.

— И еще, следи, чтобы он не работал слишком много. Я уезжаю в тревоге, его здоровье ухудшилось за последнее время. Ведь ты будешь его беречь?

— Да, барышня, не беспокойтесь!

— Я вверяю его тебе. У него не будет никого, кроме тебя, и это меня немного утешает, потому что ты очень его любишь. Люби его изо всех сил, люби его за нас обеих!

— Да, барышня, как только смогу.

У обеих слезы навернулись на глаза, и Клотильда наконец попросила:

— Поцелуй меня, Мартина.

— О, барышня, с удовольствием!

Войдя, Паскаль застал их в объятьях друг у друга. Он сделал вид, что не заметил этого, вероятно, чтобы не растрогаться самому. Подчеркнуто громко он заговорил о последних приготовлениях к отъезду, как человек, который спешит к поезду и боится опоздать. Он перевязал сундуки, дядюшка Дюрье должен был погрузить их на свою повозку и доставить прямо на вокзал. Между тем еще не было восьми — оставались два тяжелых часа. Они тянулись смертельно долго; Паскаль и Клотильда томились без дела, пережи-

вая горечь предстоящей разлуки. Завтрак занял каких-нибудь четверть часа. Затем пришлось встать из-за стола, снова сесть. Они не отрываясь смотрели на часы. Минуты в этом мрачном доме длились бесконечно, как агония.

— Какой ветер! — сказала Клотильда, когда от порыва мистраля застонали все двери.

Паскаль подошел к окну, взглянул, как отчаянно гнутся деревья под напором бури.

— Утром ветер еще усилился. Надо будет заняться крышей, с нее сорваны черепицы.

Они уже не были вместе. Они слышали только этот неистовый ветер, который все сметал, словно унося с собой их жизнь.

Наконец в половине девятого Паскаль сказал:

— Клотильда, пора!

Она поднялась со стула. Минутами она забывала, что уезжает. И вдруг полностью осознала страшную правду. Она взглянула на него в последний раз, но он не раскрыл объятий, не удержал ее. Все было кончено. На ее помертвелом лице застыло выражение глубокого отчаяния.

Они обменялись ничего не значащими словами.

— Ты ведь будешь писать?

— Конечно, и ты подавай о себе весточки как

можно чаще.

— Если ты заболеешь, тотчас же вызови меня!

— Обещаю. Но не тревожься, я еще крепкий…

В минуту, когда надо было расстаться с этим столь дорогим ей домом, Клотильда окинула его сверху донизу нерешительным взглядом. Потом бросилась на грудь Паскаля и обняла его, бормоча:

— Я хочу поцеловать тебя, пока я еще здесь, хочу поблагодарить… Учитель, это ты сделал меня тем, что я есть. Как ты сам часто повторял, ты исправил мою наследственность. Чем стала бы я там, в среде, где вырос Максим?.. Да, если я чего-нибудь и стою, я обязана этим тебе одному, ты взял меня в этот дом, где правят доброта и правда, и вырастил достойной твоей любви… Теперь, когда ты сделал меня своей и одарил с беспримерной щедростью, ты отсылаешь меня прочь. Да исполнится твоя воля, ты мой господин, и я повинуюсь тебе. Я все равно люблю тебя и буду любить вечно.

Он прижал ее к сердцу со словами:

— Я желаю только твоего блага и довершаю свое дело.

В последнем душераздирающем поцелуе она чуть слышно прошептала:

— Ах, если бы у нас был ребенок!

Сквозь заглушенные рыдания ей послышались неразборчивые слова:

— Да, вот о чем я мечтал, единственное истинное и благое творение, но я не мог его создать… Прости же меня, постарайся быть счастливой…

Старая г-жа Ругон, очень оживленная и проворная несмотря на свои восемьдесят лет, уже ждала их на вокзале. Она ликовала, считая, что теперь Паскаль в ее власти. Когда она увидела, что они с Клотильдой стоят, не замечая ничего вокруг, она взяла на себя все заботы, купила билет, сдала багаж, усадила путешественницу в дамское купе. Затем она словоохотливо заговорила о Максиме, стала давать наставления, требуя, чтобы ее держали в курсе дел. Поезд все не отправлялся, и еще пять томительных минут они оставались лицом к лицу, не произнося больше ни слова. И вот наступил конец — последние объятья, громкий стук колес, приветственные взмахи носовых платков.

Внезапно Паскаль заметил, что остался один на перроне, поезд исчез там, за поворотом пути. Тогда, не слушая больше матери, он с проворством юноши бросился прочь, поднялся на холм по каменистым уступам и через три минуты оказался на террасе Сулейяды. Тут свирепствовал

мистраль, и от его бурного дыхания столетние кипарисы сгибались, словно соломинки. В выцветшем небе показалось солнце, уставшее от бури, которая уже шесть дней непрерывно туманила его лик. Подобно истерзанным деревьям, Паскаль держался крепко, хотя его одежда хлопала, как флаг, а волосы и борода развевались по ветру. Запыхавшись, прижав руки к сердцу, чтобы удержать его биение, он смотрел, как вдаль по голой равнине убегает поезд, крошечный поезд, который, казалось, вот-вот подхватит и унесет, как сухую ветку, мистраль.

XII

С этого дня Паскаль заперся в большом опустевшем доме. Он совсем перестал выходить, не навещал даже немногих оставшихся у него больных и жил, затворив наглухо двери и окна, в полном одиночестве и тишине. Мартине был дан строгий приказ никого к нему не пускать.

— Но как же, сударь, ваша матушка, госпожа Ругон?

— С ней-то я как раз и не хочу встречаться... у меня есть на то основания... Вы скажете ей, что мне надо побыть одному, что я прошу извинить меня.

Трижды приходила старая г-жа Ругон. Она бушевала внизу, Паскаль слышал, как она гневно кричала и требовала, чтобы ее впустили. Затем шум затихал, и до него доносились только сетования и заговорщический шепот обеих женщин. Но Паскаль ни разу не уступил, ни разу не перегнулся через перила, чтобы позвать к себе мать.

Однажды Мартина набралась смелости и сказала:

— А все-таки, сударь, это жестоко — запереть

дверь перед носом собственной матери. Ведь госпожа Ругон приходит с добрыми намерениями, она знает, в какой нужде вы оказались, и хочет лишь предложить вам помощь.

Он закричал в отчаянии:

— Деньги! Но я не хочу их, слышите!.. Я буду работать и заработаю себе на жизнь, черт побери!

Между тем деньги были бы как нельзя более кстати. Паскаль упрямился и не желал брать ни одного су из пяти тысяч франков, запертых в секретере. Теперь, когда он остался вдвоем с Мартиной, он полностью отрешился от житейских забот; он готов был довольствоваться хлебом и водой; каждый раз, когда служанка просила у него денег, чтобы купить вина, мяса, чего-нибудь сладкого, он пожимал плечами. Зачем? Со вчерашнего дня оставалась корка хлеба, чего еще надо? Но, преисполненная любви и сочувствия к хозяину, Мартина приходила в отчаяние от его скаредности, превосходившей теперь ее собственную, от нищеты, на которую он обрекал себя и весь дом. Даже рабочие из предместья жили лучше. В ней шла, по-видимому, тяжелая внутренняя борьба. Верная, собачья преданность Паскалю боролась со страстью к деньгам, скопленным по одному су, спрятанным в укромном

месте и, по ее выражению, дающим приплод. Служанке было легче пожертвовать куском собственного тела, чем своими сбережениями. Пока хозяин страдал, но был не одинок, ей даже в голову не приходило коснуться своего капитала. Но вот однажды утром, увидев, что они дошли до крайности, что в очаге нет огня, а кладовая пуста, она в порыве неслыханного героизма исчезла на целый час и вернулась с провизией и сдачей со стофранкового билета.

Паскаль, как раз спустившийся по лестнице, удивился, спросил, откуда у нее деньги, он терял хладнокровие при одной мысли, что Мартина была у его матери, и готов был все выбросить в окошко.

— Да нет же, сударь, нет, — бормотала Мартина, запинаясь, — деньги вовсе не оттуда…

И она ответила ему заранее придуманной ложью.

— Представьте себе, дела с кредиторами господина Грангийо улаживаются, — по крайней мере, похоже на то… Я надумала заглянуть туда сегодня утром, и мне сказали, что и вам причитается малая толика, а пока я могу взять сто франков… И спросили с меня только расписку. А потом вы все уладите сами.

Паскаль даже не удивился. Мартина была уверена, что хозяин не пойдет ее проверять. Все же она почувствовала облегчение, видя, как беспечно, легко принял он на веру ее россказни.

— Тем лучше! — вскричал он. — Я же говорил, что никогда не надо отчаиваться. Это даст мне возможность привести в порядок дела.

Этими делами была продажа Сулейяды, о чем он смутно помышлял. Но как тяжело покинуть дом, где выросла Клотильда, где они прожили вместе почти восемнадцать лет! Он решил подождать две-три недели, чтобы все взвесить. Когда же появилась надежда вернуть часть денег, он отбросил всякую мысль о продаже. Он снова ушел в себя, ел то, что подавала Мартина, и даже не замечал созданного ею скромного благополучия, а служанка по-прежнему боготворила его, страдала, что ей пришлось затронуть свои сбережения, и вместе с тем была счастлива: ведь она содержит своего обожаемого хозяина, а он даже не подозревает этого.

Между тем Паскаль был несдержан с Мартиной. Потом он раскаивался, сожалел о своей резкости. Но он пребывал в таком лихорадочном возбуждении, что не мог справиться с собой и раздражался по малейшему поводу. Однажды вечером он

услышал, что его мать снова без устали болтает на кухне, и пришел в дикую ярость.

— Запомните хорошенько, Мартина, я не хочу, чтобы она переступала порог Сулейяды. Если только вы примете ее еще раз у себя внизу, я вас выгоню!

Потрясенная, она словно приросла к полу. За все тридцать два года, что она ему служила, он никогда не угрожал ее уволить.

— О, сударь, и у вас хватило бы духа! Да я все равно не уйду, я лягу у порога.

Он уже пожалел о своей запальчивости и сразу смягчился:

— Да ведь я сержусь потому, что знаю, в чем дело. Она приходит сюда, чтобы вас подзуживать, восстанавливать против меня, разве не так? Да, да, она подбирается к моим бумагам, она хочет все украсть, все уничтожить там, наверху, в кабинете. Я-то хорошо ее знаю — когда она чего-нибудь захочет, то уж не отступится… Так вот, вы можете ей сказать — я настороже, и пока я жив, ей даже близко не подойти к шкафу. Вдобавок ключ у меня здесь, в кармане.

И в самом деле, его опять обуял страх ученого, которого травят, преследуют. С тех пор как он остался один, ему всюду мерещились ловушки,

расставляемые исподтишка врагами. Круг сужался, и если Паскаль проявлял такую непреклонную суровость против всяких попыток вторжения в его дом и отражал атаки матери, то лишь потому, что не обманывался относительно ее истинных намерений и боялся уступить. Стоит только матери проникнуть к нему, и она мало-помалу завладеет им, лишит собственной воли. Муки Паскаля возобновились, днем он был начеку, по вечерам сам запирал все двери и даже ночью частенько вставал, чтобы проверить, не взломаны ли замки. Он боялся, что служанка перейдет на сторону матери, и, желая обеспечить ему вечное блаженство, откроет ей двери. Он уже видел, как его папки пылают в камине, и сторожил их, вновь охваченный судорожной, болезненной страстью к этой груде мертвых бумаг, к холодным страницам рукописей, ради которых он пожертвовал любимой женщиной и которые хотел полюбить так, чтобы забыть все на свете.

С той поры, как уехала Клотильда, Паскаль весь ушел в работу, пытаясь найти в ней забвение. Он запирался у себя, никогда не заглядывал в сад и однажды, когда Мартина сообщила о приходе доктора Рамона, нашел в себе силы ответить, что не может его принять, — это ожесточенное стрем-

ление к одиночеству происходило от желания справиться с собой, ни на минуту не отрываясь от работы. Славный Рамон! Как охотно он обнял бы его! Ибо Паскаль чутьем угадывал великодушные чувства, побудившие Рамона заглянуть к старому учителю, чтобы утешить его. Но зачем терять целый час? Зачем подвергать себя волнениям и поддаваться слезам, которые лишь ослабят его? С утра он садился за стол, проводил за ним все утренние и послеобеденные часы, часто засиживаясь допоздна, при свете лампы. Он задумал осуществить свой прежний замысел: на основе документов и сведений о собственной семье заново пересмотреть теорию наследственности и установить, учитывая влияние среды, по каким законам наследственные признаки передаются в данной группе людей, переходя с математической точностью от человека к человеку: создать обширную библию, книгу бытия семьи, общества, всего человечества. Он надеялся, что огромный размах задуманного плана, усилия, необходимые для осуществления этой величественной задачи, захватят его целиком, вернут ему здоровье, веру, гордость и дадут высшее счастье — сознание, что он завершил дело своей жизни. Но тщетно пытался Паскаль отдаться этой страсти, отдаться

с жаром, весь без остатка — он только бесплодно растрачивал физические и нравственные силы, — слабел с каждым днем и все больше приходил в отчаяние. Было ли это банкротством его творческой мысли? Труд отнял у Паскаля всю жизнь, он считал его единственным двигателем, благодетелем и утешителем, — неужели теперь он придет к выводу, что превыше всего — любить и быть любимым? Порой он погружался в размышления о своей новой теории равновесия сил, согласно которой все, что человек воспринимает посредством органов чувств, он должен возвращать в форме работы. Какой здоровой, счастливой была бы жизнь, если бы человек действовал, как хорошо отрегулированный механизм, который преобразует в двигательную силу энергию, поглощаемую в виде топлива, и поддерживает свою мощь и красоту слаженной, точной работой всех составных частей! В подобном существовании гармонически сочетались бы физические и интеллектуальные усилия, чувства и разум, половая функция и деятельность мозга, а всякое излишество было бы исключено, ибо излишество есть не что иное, как нарушение равновесия и болезнь. О, если бы можно было снова начать жизнь, зная, как надо ее прожить,

копать землю, изучать людей, любить женщину, стремиться к совершенству человечества, ко всеобщему счастью путем правильного использования всех возможностей, заложенных в человеке, — какое прекрасное наследство оставил бы после себя врач-философ! Но эта далекая мечта, эта смутно рисовавшаяся ему теория наполняла Паскаля горечью при мысли, что сам-то он лишь растраченная и втуне погибшая сила.

Мысль о том, что он конченый человек, больше всего снедала Паскаля. Тоска по Клотильде, страдание оттого, что она ему больше не принадлежит, уверенность, что она больше никогда не будет принадлежать ему, с каждым днем усугубляли его скорбь, которая брала верх над всем. В работе Паскаль не нашел спасения, порой он ронял голову на начатую страницу и плакал часами, не имея мужества снова взяться за перо. Его упорство в труде, дни добровольного заточения приводили к ужасным ночам, ночам томительной бессонницы, когда он кусал простыню, чтобы не выкрикнуть имени Клотильды. В этом мрачном доме, где он жил затворником, она была повсюду. Она чудилась ему в каждой комнате, за каждой дверью, на каждом стуле. Когда он обедал внизу, в столовой, ему казалось, что она занимает

место напротив него. В кабинете, наверху, она была по-прежнему его помощницей; она так долго прожила с ним здесь в уединении, что ее образ, казалось, запечатлелся на каждой вещи: Паскаль беспрестанно ощущал ее подле себя, он видел ее за конторкой, стройную, тонкую, склонившую над пастелью свою изящную головку. Он не пытался бежать от этого мучительного и сладостного наваждения, ибо заранее знал, что все равно встретит Клотильду повсюду; вот она грезит в саду на террасе, вот идет медленным шагом по дорожкам сосновой рощи или сидит в прохладной тени платанов, внимая неустанной песне источника, а иногда лежит в сумерках на току, устремив взгляд на небо в ожидании первых звезд. Но подлинным святилищем, обителью желания и горя, куда он входил с трепетом, была ее спальня, в которой она ему отдалась, где они спали вместе. С печального утра разлуки он хранил у себя ключ от спальни, где все осталось на прежнем месте, даже забытая ею юбка лежала на кресле. Здесь он ощущал Клотильду вплоть до ее дыхания, воздух и тот хранил аромат ее юности, словно запах духов. Паскаль как безумный раскрывал объятья навстречу призраку, который бродил за закрытыми ставнями в нежном

полумраке комнаты, обитой стареньким ситцем цвета утренней зари. Он рыдал, глядя на мебель, целовал белье, вмятину на постели, где запечатлелись божественные контуры ее тела. Радость от пребывания здесь, тоска по Клотильде — эти страстные и противоречивые чувства до такой степени ослабляли его, что он не каждый день отваживался входить сюда и спал в своей холодной комнате, где во время бессонных ночей Клотильда не казалась ему такой близкой и живой.

У Паскаля, упорно занятого работой, была еще одна горькая радость — письма Клотильды. Она регулярно писала ему два раза в неделю длинные письма по восемь-десять страниц, в которых рассказывала о своей повседневной жизни. Как видно, ей было не очень сладко в Париже. Максим, больше не покидавший кресла, мучил ее капризами, присущими избалованным детям и больным; она жила отшельницей, ни на минуту не оставляя брата, даже не имела возможности подойти к окну, чтобы взглянуть на проспект, где бесконечными вереницами двигались роскошные экипажи, по направлению к Булонскому лесу и обратно; по некоторым фразам можно было понять, что Максим, который вечно боялся, как бы его не обманули, не обобрали, и нетерпеливо

требовал приезда сестры, стал подозревать даже Клотильду, не доверял ей и возненавидел, как и всех, кто ему прислуживал. Она дважды видела отца — тот всегда был весел, по горло занят делами и служил ныне Республике, вознесшей его на вершину политического и финансового успеха. Саккар доверительно поведал ей, что бедняга Максим стал совершенно несносен, — у нее поистине много мужества, если она соглашается приносить себя в жертву. Понимая, что одной ей не справиться, он даже проявил любезность и на другой же день прислал племянницу своего парикмахера, молоденькую восемнадцатилетнюю девушку по имени Роза, ослепительную блондинку, скромницу на вид, которая помогала теперь ухаживать за больным. Впрочем, Клотильда не жаловалась, напротив, она старалась казаться спокойной, довольной, примирившейся с жизнью. Ее письма дышали бодростью, она не гневалась на Паскаля за их горькую разлуку, не взывала в отчаянии к его любви, не просила выписать ее обратно. Но он чувствовал между строк, что она трепещет от возмущения, тянется к нему всем существом, готова совершить безумство и вернуться сейчас же, по первому его слову.

Но именно этого слова Паскаль не хотел напи-

сать. Все уладится, Максим свыкнется с сестрой, раз они решились принести жертву, надо довести дело до конца. Достаточно одной строчки, написанной им в минуту слабости, и весь смысл сделанного усилия будет сведен на нет, несчастье начнется снова. Для ответа Клотильде Паскалю приходилось призывать всю свою стойкость. Во время мучительных, бессонных ночей он боролся с собой, отчаянно звал ее, вскакивал, чтобы ей написать, немедленно вызвать ее телеграммой, но днем, после того как лихорадочное возбуждение разрешалось слезами, ответ получался всегда очень короткий, почти холодный. Паскаль следил за каждой фразой и переписывал письмо, если ему казалось, что он выдал себя. Но какой мукой были для него эти ужасные письма, короткие, бесстрастные, в которых он превозмогал свое чувство только для того, чтобы оттолкнуть ее, принять всю вину на себя и внушить ей, что она вправе его забыть, если и он ее забыл! После этих писем он был весь в поту, обессиленный, как будто совершил трудный, нечеловеческий подвиг.

Стояли последние дни октября, прошел месяц с отъезда Клотильды, и вдруг однажды утром у Паскаля началось резкое удушье. Уже не раз у него бывала легкая одышка, которую он относил

за счет переутомления. Теперь симптомы были настолько ясны, что он не мог больше обманываться: острая боль — сперва в области сердца, затем во всей груди и левой руке, обильный холодный пот, подавленность, смертельная тоска. Это был приступ грудной жабы. Он длился не более минуты, и Паскаль сначала скорее удивился, чем испугался. Как и все врачи, он был слеп в отношении собственного здоровья и никогда не задумывался над тем, что у него тоже может быть болезнь сердца.

Едва он успел прийти в себя, как вошла Мартина, доложившая, что доктор Рамон ждет внизу и настойчиво просит его принять. И, вероятно, уступая бессознательной потребности узнать правду, Паскаль воскликнул:

— Ну что ж, пусть поднимется, если ему хочется, я буду рад!

Мужчины обнялись, но не сказали ни слова об отсутствующей, о той, чей отъезд оставил в доме такую пустоту, — только обменялись крепким и скорбным рукопожатием.

— Угадайте, зачем я к вам зашел? — вскричал, входя, Рамон. — По поводу денег. Мой тесть, господин Левек, известный вам стряпчий, рассказал мне не далее как вчера о суммах, которые вы

доверили конторе нотариуса Грангийо. Он очень советует вам заняться этим делом, потому что, по его словам, некоторым кредиторам удалось получить обратно свои вклады.

— Да, я знаю, вопрос улаживается, — сказал Паскаль. — Мартина даже получила как будто двести франков.

Рамон очень удивился.

— Как Мартина? И без вашего участия? Ну как же, согласны ли вы уполномочить моего тестя заняться этим делом? Он все выяснит, ведь у вас нет ни времени, ни интереса к таким вещам.

— Конечно, я уполномочиваю господина Левека, передайте ему мою глубокую благодарность.

Покончив с этим делом, молодой человек заметил бледность Паскаля и стал расспрашивать, что с ним. Улыбаясь, Паскаль ответил:

— Представьте, мой друг, у меня только что был приступ грудной жабы… Нет, это не мое воображение, налицо все симптомы… Постойте, уж если вы пришли, вы меня и выслушаете.

Сначала Рамон отказался, пытаясь обратить разговор в шутку. Разве такой новичок, как он, смеет ставить диагноз ветерану науки? Тем не менее он внимательно всмотрелся в Паскаля, нашел, что у него осунувшееся, изменившееся

лицо, до странности пристальный взгляд. Затем он решил тщательно освидетельствовать его и долго выслушивал, прильнув ухом к груди. Прошло несколько минут в глубоком молчании.

— Ну как? — спросил Паскаль, когда молодой врач выпрямился.

Тот ответил не сразу. Рамон чувствовал на себе взгляд учителя и не отвел глаз; на прямой, мужественный вопрос он ответил просто:

— Да, правда, полагаю, что у вас склероз сердца.

— Спасибо, что не солгали мне, — произнес доктор. — А я боялся, что вы мне солжете, и это огорчило бы меня.

Рамон снова принялся его выслушивать, говоря вполголоса:

— Да, сердце пульсирует сильно, первый удар глухой, зато следующий, напротив, очень резкий… Чувствуется, что сердце опущено и смещено влево… Налицо склероз, по крайней мере, это вполне вероятно. Но со склерозом живут двадцать лет, — добавил он, снова вставая.

— Бывает, конечно, — заметил Паскаль, — если человек не умирает сразу, на месте.

Они поговорили еще, дивясь необычному случаю склероза сердца, который им пришлось

наблюдать в плассанской больнице. Уходя, молодой врач объявил, что снова придет, когда получше разузнает о деле Грангийо.

Оставшись один, Паскаль почувствовал себя обреченным. Все объяснилось — недавние сердцебиения, головокружение, удушье; главное, его бедное сердце, переутомленное волнениями и работой, было изношено, он чувствовал безмерную усталость и близость конца, относительно которого больше не обманывался. Между тем он не испытывал страха. Сперва он подумал, что, в свою очередь, платит дань наследственности, что склероз — этот вид вырождения — был его долей физиологической немощи, неизбежным ужасным наследием предков. У одних первородный изъян, невроз, превращался в порок или добродетель, в гениальность, преступность, запой, святость; другие умирали от чахотки, эпилепсии, сухотки спинного мозга; он жил страстью и должен был умереть от болезни сердца. Это не пугало его, он уже не восставал против этого явного проявления наследственности, без сомнения, роковой и неизбежной. Напротив, он смирялся, уверенный, что всякий протест против естественных законов — бессмыслен. Почему же он радовался, ликовал когда-то при мысли,

что не такой, как остальные члены семьи, чувствовал, что он отличен от нее, не имеет с ней ничего общего. Это рассуждение было отнюдь не философским. Ведь одни выродки ни на кого не похожи. Уродиться в свою семью показалось ему, ей-богу, столь же приятным и лестным, как принадлежать ко всякой иной семье: разве люди не походят друг на друга, разве человек не тождествен повсюду и не наделен той же смесью добра и зла? Спокойный, притихший перед угрозой страданий и смерти, он соглашался принять жизнь такой, какова она есть.

Теперь Паскаль уже не расставался с мыслью, что может умереть с минуты на минуту. Это помогло ему стать над своим несчастьем, дойти до полного самоотречения. Он не перестал работать, но никогда еще не понимал так ясно, что награду за труд надо искать в самом труде, ибо дело, начатое тобой, будет продолжено другими и все равно останется незавершенным. Однажды вечером за обедом Мартина сообщила ему, что рабочий-шляпник Сартер, бывший питомец дома умалишенных в Тюлет, повесился. Весь вечер Паскаль размышлял об этом странном случае — о человеке, которого, как ему казалось, он вылечил подкожными впрыскиваниями от мании убий-

ства, а тот во время нового приступа сохранил ясность мысли и повесился, вместо того чтобы схватить за горло первого встречного. И Паскаль вспоминал, как рассудителен был шляпник, слушая советы вновь зажить жизнью добропорядочного рабочего. Что же представляла собой эта разрушительная сила, эта жажда убийства, обернувшаяся самоубийством, если смерть вопреки всему сделала свое дело? С гибелью Сартера исчезло последнее тщеславное удовлетворение Паскаля, мнившего себя врачом-исцелителем, и отныне, садясь по утрам за работу, он считал себя только учеником, который читает по складам и вечно ищет истину, по мере того как она осложняется и отступает все дальше.

И все же, несмотря на обретенное спокойствие, у Паскаля оставалась одна забота, он тревожился о том, что будет с Добряком, его старой лошадью, если он умрет раньше нее. Бедный конь совсем ослеп, ноги были парализованы, и он уже не поднимался со своей подстилки. Когда хозяин приходил его проведывать, Добряк еще различал его шаги, поворачивал голову и был, видимо, доволен, если его целовали в морду. Соседи пожимали плечами, подшучивали над этим старым родственником, которого доктор не соглашался

прикончить. Паскаль не хотел умереть первым, боясь, что на следующий же день после его смерти позовут живодера. И вот однажды утром Паскаль вошел в конюшню, но Добряк не услышал его, не поднял головы. Он околел и лежал с таким спокойным видом, словно был доволен, что тихо кончил век у себя дома. Паскаль встал перед ним на колени, поцеловал еще раз на прощанье, и две крупные слезы скатились по его щекам.

В этот же день у Паскаля снова пробудился интерес к соседу, г-ну Белломбру. Доктор заметил из окна, что отставной учитель прогуливается, как обычно, по ту сторону ограды, греясь на неярком солнце первых ноябрьских дней; вид старого учителя, вкушающего покой и счастье, сначала привел Паскаля в недоумение. Пожалуй, он еще никогда не задумывался над тем, что рядом живет семидесятилетний старик без жены, без детей, без собаки и черпает свое эгоистическое счастье в наслаждении существовать вне жизни. Потом он вспомнил, как негодовал против этого человека, как иронизировал над его страхом перед жизнью, как втайне желал ему всяких бед, надеясь, что возмездие настигнет себялюбца в лице служанки-любовницы или неожиданно приехавшей родственницы. Но нет! Г-н Белломбр выглядел

все таким же бодрым, и Паскаль предвидел, что он еще долго будет прозябать, черствый, скупой, никому не нужный и счастливый. Между тем доктор больше не питал к нему ненависти, даже готов был пожалеть старика, — тот просто смешон и жалок, ибо никто его не любит. А Паскаль умирал оттого, что остался один! Его сердце готово было разорваться от сочувствия к горю других людей! Нет, нет, лучше страдания, одни страдания, чем этот эгоизм, эта смерть всего, что есть в тебе человечного и живого!

В эту ночь у Паскаля повторился приступ грудной жабы. Он продолжался около пяти минут, и доктор думал, что задохнется и даже не успеет позвать служанку. Отдышавшись, он не стал ее тревожить, предпочел никому не говорить об ухудшении болезни: теперь сомнений быть не могло — все кончено, и он едва ли протянет месяц. Первая его мысль была о Клотильде. Почему бы не вызвать ее? Как раз накануне он получил от нее письмо и собирался написать утром ответ. И вдруг он вспомнил о своих бумагах. Если он внезапно умрет, они окажутся в руках матери, которая все уничтожит. А ведь здесь были не только папки, но и все его рукописи, заметки, тридцать лет творчества и труда. И тогда совер-

шится преступление, которого он так боялся, что, дрожа, вскакивал ночью во время бессонницы и настороженно прислушивался, не взламывают ли шкаф. Он был снова в поту — ему казалось, что его уже обокрали, втоптали в грязь и развеяли по ветру пепел его детища. И тотчас же мысленно он обратился к Клотильде; стоит позвать ее, и она приедет, закроет ему глаза, защитит память о нем. Он уже сел за стол, торопясь ей написать, чтобы письмо ушло с утренней почтой.

Но, очутившись перед листом белой бумаги, с пером в руке, он почувствовал угрызения совести, растущее недовольство собой. Разве хитроумная мысль о бумагах — об их спасении при помощи Клотильды — не была слабостью, предлогом, выдуманным для того, чтобы снова иметь ее подле себя. В основе этого замысла лежал эгоизм. Он думал о себе, а не о ней. Он представил себе, что она возвращается сюда, в бедность, и осуждена ухаживать за больным стариком; в особенности его пугала мысль о ней, об ее отчаянии, ужасе, когда ей придется стать свидетельницей его агонии и он испустит дух на ее глазах. Нет, нет! Он хочет уберечь ее от этих страшных минут, — здесь ее ждут дни душераздирающего расставанья, затем — безутешное горе, и он не имеет права возло-

жить на нее это страшное бремя, не почувствовав себя преступником. Важнее всего ее спокойствие, ее счастье — все остальное безразлично! Он умрет в своей норе, счастливый при мысли, что она счастлива. Что до спасения рукописей — быть может, у него достанет сил расстаться с ними и передать их Рамону. Но даже если всем его бумагам суждено погибнуть, он пойдет на это, пусть лучше от него ничего не останется, даже мысли, лишь бы не потревожить покоя любимой женщины!

И Паскаль с трудом принялся писать один из своих вымученных ответов, ничего не значащих, почти холодных. В последнем письме, не жалуясь на Максима, Клотильда давала понять, что брат охладел к ней, пленившись Розой, племянницей отцовского парикмахера, этой ослепительной блондинкой, скромницей на вид. Паскаль угадывал в этом какую-то уловку Саккара, зарившегося на состояние прикованного к креслу больного сына, который, почувствовав приближение смерти, вновь поддался своим рано пробудившимся порочным наклонностям. Но, несмотря на тревогу за Клотильду, Паскаль все же давал ей отеческие советы, повторяя, что ее долг оставаться подле брата до конца. Когда он закончил письмо, слезы

застлали ему глаза. Ведь этим самым он подписал собственный приговор и обрек себя на смерть старого брошенного животного, смерть без прощального поцелуя, без пожатия дружеской руки. Потом им снова овладели сомнения: имеет ли он право оставлять Клотильду там, в этой ужасной обстановке, где вокруг нее творятся всевозможные мерзости?

В Сулейяде почтальон приносил письма и газеты к девяти часам утра; когда у Паскаля бывало письмо для Клотильды, он смотрел в окно, карауля почтальона, чтобы лично вручить ему конверт и быть уверенным, что никто не перехватит их переписки. Но в это утро, спустившись вниз, при виде почтальона он, к своему удивлению, получил новое послание от молодой женщины, хотя и не ждал его. Не прочитав письма, он отослал свое. Затем поднялся к себе, сел, как всегда, за стол и вскрыл конверт.

Первые же строки ошеломили, потрясли его. Клотильда писала, что беременна уже два месяца. Пока у нее не было полной уверенности, она не решалась сообщать ему эту новость. Теперь сомнений быть не могло. Она, безусловно, зачала в последние дни августа, в ту незабвенную ночь, когда она осчастливила его щедрым даром своей

юности после их горьких скитаний из дома в дом. Разве они сами не почувствовали во время объятий тот божественный и ни с чем не сравнимый трепет, который предвещает зачатие. Первый месяц по приезде в Париж Клотильда сомневалась, приписывала случайную задержку месячных недомоганью, вполне естественному после волнений и горести разлуки. Но так как и второй месяц не принес никаких перемен, она подождала еще несколько дней и теперь удостоверилась в своей беременности, которую подтверждали и все другие признаки. В коротком письме сообщалась только новость, но все оно дышало бурной радостью, бесконечной любовью, желанием немедленно вернуться.

Ошеломленный, боясь, что неправильно понял, Паскаль перечитал письмо. Ребенок! А он-то считал, что не может иметь ребенка, и так презирал себя за это в день ее отъезда, когда отчаянно завывал мистраль, — оказывается, ребенок уже существовал, и она увозила его с собой, когда Паскаль глядел вслед поезду, убегавшему вдаль по голой равнине. Вот оно, настоящее творение, единственное благое, единственно жизнеспособное, — счастье и гордость переполняли его. Все отошло на второй план — работа, страх наслед-

ственности. Появился ребенок — не все ли равно, каким он будет; важно, что жизнь не оборвется, что она продолжится, завещанная его второму «я». Он был потрясен, растроган до глубины души. Он смеялся, разговаривал вслух, покрывал письмо пламенными поцелуями.

Шум шагов несколько отрезвил его. Обернувшись, он увидел Мартину.

— Внизу ждет господин Рамон.

— Пусть он войдет! Пусть войдет!

Это был еще один вестник счастья. Едва переступив порог, Рамон весело крикнул:

— Победа! Я принес вам деньги, учитель, не все, но солидную сумму.

И он рассказал, каким образом его тесть г-н Левек обнаружил, что Паскалю необыкновенно повезло. От расписок на сто двадцать тысяч франков, из которых явствовало, что г-н Грангийо является личным кредитором Паскаля, было мало толку, ибо тот оказался неплатежеспособным. Но положение неожиданно спасла доверенность, которую доктор выдал однажды по просьбе нотариуса для помещения части или всех своих денег под залог недвижимого имущества. Имя держателя не было проставлено, и нотариус, как это иногда практикуется, взял одного из своих

служащих в качестве подставного лица; и восемьдесят тысяч франков, выгодно помещенные этим честным человеком совершенно независимо от операций патрона, были таким образом спасены. Если бы Паскаль не бездействовал, а обратился к прокурору, то давно выяснил бы это. Словом, четыре тысячи франков верного дохода вернулись в его карман.

Доктор схватил молодого человека за руки, восторженно сжал их.

— Друг мой, если бы вы знали, как я счастлив! Письмо Клотильды принесло мне огромное счастье. Да, я собирался вызвать ее, но мысль о моей нищете, о лишениях, которые ей придется терпеть из-за меня, портила мне радость встречи. И вот я вновь обрел свое состояние, по крайней мере, у меня есть на что содержать мою маленькую семью.

В избытке чувств он протянул Рамону письмо Клотильды и заставил прочесть. Когда же зараженный волнением доктора молодой человек, улыбаясь, вернул листок, Паскаль уступил невольному порыву нежности и обнял Рамона своими длинными руками как друг, как брат. Мужчины крепко поцеловались.

— Раз вы явились ко мне посланцем счастья, я

попрошу вас об одной услуге. Вы знаете, я не доверяю здесь никому, даже моей старой служанке. Поэтому вы сами пошлете эту телеграмму.

Он сел к столу и написал кратко: «Жду тебя. Выезжай сегодня вечером».

— Постойте, — продолжал он, — сегодня шестое ноября, правда? Сейчас около десяти часов, телеграмму она получит в полдень. Таким образом, у нее будет достаточно времени, чтобы собраться и сесть вечером на восьмичасовой экспресс, который доставит ее в Марсель завтра утром. Но там она задержится из-за пересадки и приедет сюда не раньше завтрашнего дня, седьмого ноября, с пятичасовым поездом.

Сложив телеграмму, он поднялся.

— Боже мой! Завтра в пять часов! Как долго ждать! Что я буду делать до пяти часов!

И, снова охваченный беспокойством, он попросил:

— Рамон, дорогой собрат, докажите мне вашу дружбу и будьте вполне откровенны!

— Что вы хотите сказать, учитель?

— Вы отлично понимаете… В прошлый раз вы меня осмотрели. Как вы думаете, протяну я еще год?

Он вопросительно смотрел на молодого челове-

ка, не давая ему отвести глаза. Рамон попытался избежать ответа, обернуть все в шутку: позволительно ли врачу задавать подобные вопросы?

— Рамон, прошу вас, будьте серьезны!

Тогда Рамон со всей искренностью ответил, что, по его мнению, Паскаль вполне может надеяться еще на год жизни. Он обосновал свое мнение тем, что склероз сердца у Паскаля не слишком далеко зашел, а остальные органы вполне здоровы. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов непредвиденного, неизвестного, ведь всегда возможна какая-нибудь случайность. И оба начали обсуждать болезнь с таким спокойствием, словно были на консилиуме у постели больного; они взвешивали «за» и «против», приводя каждый свои доводы, определяли роковой исход на основе наиболее достоверных и типичных симптомов.

Паскаль обрел свое обычное хладнокровие и вновь отрешился от самого себя, будто речь шла не о нем.

— Да, — пробормотал он наконец, — вы правы. Я могу прожить еще год… Видите ли, друг мой, я хотел бы прожить еще два года, безумно хотел бы, какое это было бы блаженство! — И, отдавшись мечтам о будущем, он добавил: — Ребенок родится к концу мая… Если бы протянуть до того, как

он немного подрастет, скажем, до того, как ему исполнится полтора года, двадцать месяцев, не больше. Пусть встанет на ножки, сделает первые шаги… Многого я не прошу, только бы увидеть, как он начнет ходить, а после, боже мой, после…

И он махнул рукой. Затем, увлеченный обманчивой надеждой, произнес:

— Два года — это не так уж невозможно. Я наблюдал любопытнейший случай, тележник из предместья прожил четыре года, опровергнув все мои предположения… Два года, я проживу два года, должен их прожить!

Рамон опустил голову и больше не отвечал. Он был смущен, чувствуя, что проявил слишком большой оптимизм; радость учителя была для него мучительна, словно возбуждение, овладевшее этим столь уравновешенным человеком, предвещало смутную, но грозную опасность.

— Вы ведь хотели, чтобы я тотчас отправил телеграмму?

— Да, да, поторопитесь, милый Рамон, и приходите послезавтра. Она уже будет здесь, и я хочу, чтобы вы обняли нас обоих.

День тянулся очень долго. Ночью Паскаль едва успел задремать после счастливых бессонных часов, полных надежд и грез, как в четыре часа он

внезапно проснулся от жестокого приступа. Ему казалось, будто ужасная тяжесть, весь дом навалился ему на грудь и с силой расплющил ее; он не мог дышать, боль распространилась до плеч, до шеи, парализовала левую руку. Впрочем, сознание оставалось совершенно ясным, Паскалю казалось, что сердце останавливается, что жизнь вот-вот оборвется в этих безжалостных тисках. Но до наступления острого момента приступа у него хватило сил подняться и стукнуть палкой об пол, чтобы вызвать Мартину. Потом он снова упал на кровать, обливаясь холодным потом, и уже не мог больше ни двигаться, ни говорить.

К счастью, Мартина услышала его призыв благодаря полной тишине, стоявшей в пустом доме. Она оделась, закуталась в платок и быстро поднялась наверх со свечой в руке. Было еще темно, ночь не успела смениться рассветом. Увидя хозяина, у которого жили одни глаза, зубы были стиснуты, язык одеревенел, лицо исказилось мукой, она перепугалась и с криком подбежала к кровати:

— Боже мой! Боже! Сударь, что с вами? Ответьте мне, сударь! Не пугайте меня!

Паскаль задыхался все сильнее, никак не мог перевести дух. Затем мало-помалу тиски, сжи-

мавшие его грудь, разжались, и он прошептал чуть слышно:

— Пять тысяч франков в секретере принадлежат Клотильде. Скажите ей, с нотариусом все улажено, у нее будет на что жить…

Мартина, которая удивленно слушала его, была сбита с толку и, не зная еще о хороших вестях, принесенных Рамоном, покаялась в своем обмане.

— Сударь, простите меня, я солгала. Лгать дальше было бы дурно. Увидев, как вы одиноки и несчастны, я затронула свои сбережения.

— Бедняжка! И вы решились на это!

— Я все же немного надеялась, сударь, что вы когда-нибудь вернете мне долг.

Приступ проходил, Паскаль уже мог повернуть голову и взглянуть на Мартину. Он был поражен и растроган. Что произошло в сердце скупой старой девы, которая целых тридцать лет жадно копила деньги, никогда не брала из них ни гроша ни для других, ни для себя? Он все еще не понимал, ему просто захотелось поблагодарить ее, проявить к ней доброту.

— Вы — славная женщина, Мартина! Все ваши деньги будут вам возвращены… Я полагаю, что скоро умру…

Она не дала ему договорить, протестуя всем существом, негодующе крича:

— Умереть! Вам… сударь! Умереть раньше меня! Я не хочу, я сделаю все, я не дам вам умереть!

Служанка упала на колени перед кроватью, исступленно обхватила Паскаля, стала ощупывать его тело, чтобы понять, где притаилась болезнь, она цеплялась за него в надежде, что никто не посмеет отнять у нее обожаемого хозяина.

— Вы должны мне сказать, где у вас болит, я буду за вами ухаживать, спасу вас. Если надо умереть, я умру ради вас, сударь… Я могу проводить подле вас дни и ночи. Я еще крепкая и пересилю вашу болезнь, вот увидите. Умереть! Умереть! Да нет, это невозможно! Бог милосерден, он не допустит несправедливости. Я так много молилась в жизни, должен же он меня послушать! Он внемлет моей мольбе, сударь, он вас спасет!

Паскаль смотрел на нее, слушал, и внезапно его словно осенило. Да ведь эта несчастная девушка любила его, любила всю жизнь! Он вспомнил тридцать лет ее слепой преданности, былое безмолвное обожание, когда в молодости она прислуживала ему, чуть ли не стоя на коленях, и позднее ее глухую ревность к Клотильде, понял все, что она должна была бессознательно

выстрадать за это время. Теперь она снова стоит на коленях, но уже перед его смертным одром, поседевшая, с выцветшими глазами, глядящими на него с бледного лица монахини, изнуренной воздержанием. И он понял, что она ничего не подозревает, даже не знает, как сильно любила его, любила только ради счастья быть с ним и служить ему.

Слезы скатились по щекам Паскаля. Щемящая жалость, бесконечная человеческая нежность переполнили его больное сердце. Он обратился к ней на «ты».

— Бедняжка, ты самая лучшая женщина на свете! Постой, поцелуй меня, так крепко, как сильно ты меня любишь!

Она тоже рыдала. Уронив седую голову, она спрятала на груди у хозяина лицо, постаревшее за долгие годы службы. И вдруг, словно обезумев, она поцеловала Паскаля, вложив в этот поцелуй всю прожитую жизнь.

— Ну, ладно! Не будем волноваться, как бы ты ни старалась, все равно мне скоро конец… Но если хочешь, чтобы я тебя любил, сделай то, что я попрошу…

Прежде всего он упрямо пожелал уйти из своей комнаты. Она казалась ему холодной, высокой,

пустой, темной. Ему захотелось умереть не здесь, а в спальне Клотильды, где они любили друг друга и куда он входил теперь со священным трепетом. Мартине пришлось принести эту последнюю жертву, она помогла хозяину встать и, поддерживая его, так как он еле держался на ногах, довела до постели, еще хранившей тепло влюбленных. Он вынул ключ от шкафа из-под подушки, куда прятал его на ночь, и переложил под другую подушку, в спальне, чтобы охранять, пока жив. Чуть брезжил рассвет, служанка поставила свечу на стол.

— Ну вот, теперь я улегся и дышу немного свободней, сделай мне удовольствие и сбегай к доктору Рамону… Разбуди его и приведи сюда…

Мартина уже собиралась выйти из комнаты, когда он испуганно окликнул ее:

— Но смотри, не вздумай заходить к моей матери и звать ее…

Мартина в смятении вернулась и стала просить:

— Но, сударь, я столько раз обещала госпоже Ругон…

Однако Паскаль оставался неумолим. Всю жизнь он был почтителен с матерью и считал, что вправе оградить себя от ее присутствия в

минуту смерти. Он наотрез отказался ее видеть. И служанке пришлось поклясться, что она не проронит ни слова. Только после этого он снова улыбнулся ей.

— Иди скорей… О, ты еще меня застанешь, это случится не сейчас.

Наконец рассвело, занялось бледное ноябрьское утро. Паскаль еще раньше попросил открыть ставни и, оставшись один, стал следить, как разгорается свет последнего — он в этом не сомневался — дня его жизни. Накануне шел дождь, нежаркое солнце было словно окутано дымкой. С ближних платанов долетал гомон пробудившихся птиц, а там, вдали, где-то среди спящей долины протяжно и жалобно свистел паровоз. Паскаль был один, совсем один в большом мрачном доме, он ощущал его пустоту, прислушивался к окружающей тишине. День наступал медленно, и Паскаль продолжал следить, как ширится на оконном стекле белое пятно света. Потом пламя свечи поблекло, и комната выступила из полумрака. Он ждал, что утро облегчит его страдания, и не обманулся; на него успокоительно действовала обивка цвета утренней зари, знакомая мебель, просторная кровать, где он любил и где собирался умереть. Под высоким потолком, в трепетном

воздухе спальни веяло чистым ароматом юности, бесконечной сладостью любви, которые нежили его как привычная живительная ласка.

Хотя приступ кончился, Паскаль очень страдал. Мучительная боль в груди не проходила, а онемевшая левая рука оттягивала плечо, словно была свинцовой. В бесконечно долгом, томительном ожидании помощи, которая должна была прийти вместе с Мартиной, ему не оставалось ничего другого, как сосредоточиться мыслями на страдании, о котором кричало все его тело. И он смирялся, не находил в душе возмущения, поднимавшегося в нем прежде при виде физической боли, которая выводила его из себя, как противоестественная и бесцельная жестокость. Даже усомнившись в возможности исцеления, он врачевал больных, только чтобы победить ее. И не потому ли он безропотно принимает теперь муки, выпавшие на его долю, что поднялся еще на одну ступень в своей вере в жизнь и достиг той просветленности, благодаря которой жизнь представляется совершенной, даже при роковой неизбежности страдания, которое, быть может, является ее движущей силой? Да! Прожить всю жизнь, прожить и выстрадать ее всю, не возмущаясь, не дерзая менять ее к лучшему,

и устранять из нее страдание — вот подлинное мужество и подлинная мудрость, — умирающий ясно видел это, и, желая отвлечься, забыть о боли, он возвращался к своим последним теориям, мечтал о возможности использовать страдание, претворить его в действие, в работу. Если, становясь просвещеннее, человек острее чувствует страдание, то он, вполне вероятно, становится также более сильным, более закаленным, более способным к сопротивлению. Мозг развивается и укрепляется от упражнения, если только не нарушено равновесие между получаемыми ощущениями и отдачей их в виде работы. Но тогда мы вправе мечтать о таком человечестве, у которого количество труда будет настолько совпадать с суммой ощущений, что даже из страдания люди научатся извлекать пользу и тем самым упразднят его.

Наконец солнце встало, и, лежа в мучительном полузабытьи, Паскаль отдался далеким, смутным надеждам, как вдруг почувствовал, что где-то глубоко в груди возникает новый приступ. На мгновенье он безумно испугался: неужели это конец? Неужели он умрет в полном одиночестве? Но тут на лестнице послышались быстрые шаги, вошел Рамон в сопровождении Мартины.

Больной успел проговорить, до того как начал задыхаться:

— Сделайте впрыскивание, два впрыскивания дистиллированной воды, скорее, не менее десяти граммов!

К несчастью, доктору Рамону пришлось затратить время на поиски шприца и на то, чтобы все приготовить. Это отняло несколько минут, а приступ был ужасный.

Рамон с тревогой наблюдал за его развитием. Лицо Паскаля исказилось, губы посинели. Но после двух инъекций приступ был прерван, а потом мало-помалу наступило улучшение. На этот раз рокового исхода удалось избежать.

Как только Паскаль перестал задыхаться, он бросил взгляд на часы и сказал спокойным, хотя и слабым голосом:

— Друг мой, уже семь часов… Через двенадцать часов, сегодня, в семь вечера, я умру.

И, заметив, что молодой человек хочет возражать, готов спорить, он попросил:

— Нет, не лгите. Вы были здесь, когда начался приступ, и понимаете все так же хорошо, как и я… Теперь все произойдет с математической точностью; и я могу час за часом описать все стадии болезни.

Он сделал паузу, передохнул, затем добавил:

— Впрочем, все хорошо, я доволен… Клотильда будет здесь в пять часов, и я хочу только одного — увидеть ее и умереть у нее на руках.

Вскоре Паскаль почувствовал значительное облегчение. Влияние впрыскивания было поистине чудодейственным, он смог приподняться, опершись на подушки. Голос звучал бодрее, и никогда еще его мысль не работала так ясно.

— Учитель, — сказал Рамон, — я вас не оставлю одного. Я предупредил жену, что мы проведем день вместе; и несмотря на все ваши разговоры, я очень надеюсь, что он не будет последним… Ведь вы разрешите, чтобы я устроился здесь, как у себя дома?

Паскаль улыбался. Он распорядился, чтобы Мартина приготовила завтрак для Рамона. Если она понадобится, ее позовут.

И мужчины остались наедине, дружески беседуя; один из них — старик с длинной седой бородой, лежа, рассуждал как мудрец, другой, сидя у его изголовья, слушал с почтительностью ученика.

— В самом деле, — пробормотал учитель, будто разговаривая сам с собой, — действие этих впрыскиваний поистине удивительно. — Затем,

повысив голос, почти весело добавил: — Друг мой Рамон, может быть, это и не очень щедрый подарок, но я хочу завещать вам мои рукописи. Да, я оставил распоряжение Клотильде, и она отдаст вам рукописи, когда меня не станет… Вы пороетесь в них и, быть может, встретите неплохие мысли. Если же вы когда-нибудь извлечете из них пользу, ну что ж, тем лучше для всех!

И Паскаль пожелал передать Рамону свое научное завещание. Он отчетливо сознавал, что был лишь предтечей, одиноким пионером, который выдвигает несовершенные теории, ощупью бредет в области практической деятельности и терпит поражения из-за своего пока еще примитивного метода. Доктор рассказал Рамону, какой восторг его охватил, когда он нашел, как ему казалось, панацею от всех зол — экстракт нервного вещества, вводимый больным; он перечислил также свои неудачи и разочарования — ужасная смерть Лафуаса, гибель от туберкулеза Валентена, новый приступ безумия Сартера, толкнувший его на самоубийство. Вот почему Паскаль умирал, исполненный сомнений, утратив веру, необходимую врачу-исцелителю, но такова была его любовь к жизни, что он возлагал на нее все надежды, видя только в ней источник силы и

здоровья. Однако он не хотел затруднять путь в будущее, напротив, он был счастлив завещать молодежи свою гипотезу. Теории меняются каждые двадцать лет, нерушимыми остаются только доказанные истины, на основании которых продолжает развиваться наука. Пусть даже его гипотеза имеет временное значение, труд все же не пропал даром, потому что прогресс заключается, бесспорно, в усилии человека, в непрерывном движении его мысли. Как знать? Пусть он даже уйдет из жизни усталый и разочарованный, не оправдав надежд, которые возлагал на введение экстракта. На смену ему придут другие труженики, молодые, пылкие, убежденные, они вернутся к его идее, разъяснят ее, разовьют. И, быть может, она положит начало целой эпохе, новому миру.

— Ах, дорогой Рамон, — продолжал Паскаль, — если бы можно было прожить еще одну жизнь!.. Тогда я начал бы все сызнова, вернулся бы к своей идее, потому что совсем недавно меня поразил один странный факт, — впрыскивания простой дистиллированной воды почти столь же действенны… Сама вводимая жидкость не играет роли, важно чисто механическое воздействие. Последний месяц я много писал об этом. Вы найдете у меня заметки, любопытные наблюдения…

В конце концов я, несомненно, пришел бы к тому, что уверовал бы в единственное лекарство — труд и в то, что здоровье заключается в гармонической деятельности всех органов, словом, создал бы динамическую терапию, если можно позволить себе так выразиться.

Он все больше увлекался, позабыв о близкой смерти, с горячим интересом рассуждая о жизни. Он набросал в общих чертах свою новую теорию. Человек существует в определенной среде, которая непрестанно воздействует на чувствительные окончания его нервов. Таким образом приводятся в действие не только чувства, но и все внутренние и внешние органы. Ощущения, отражаясь в головном и в костном мозгу, в нервных центрах, преобразуются в усилия, движение, мысли. И Паскаль приходил к выводу, что хорошее самочувствие состоит в нормальном ходе этого процесса: получать ощущения, возвращать их в форме идей и поступков, поддерживать человеческий организм равномерной работой всех органов. Таким образом, труд становится великим законом, регулятором жизни человечества. Отсюда следует вывод: в случае нарушения равновесия, когда внешних раздражителей уже недостаточно, терапия должна

создавать искусственное раздражение, восстанавливая нормальный тонус, который есть не что иное, как совершенное здоровье. И Паскаль мечтал о новейших методах лечения: внушение, всемогущая власть врача — для органов чувств; электричество, втирания, массаж — для кожи и сухожилий, пищевой режим — для желудка, курс лечения на высоких горных плато — для легких, и, наконец, введение дистиллированной воды — для кровеносной системы. Неоспоримое, чисто механическое воздействие впрыскиваний и натолкнуло Паскаля на его теорию. Благодаря своей склонности к обобщению он развил эту гипотезу, и спасение мира виделось ему ныне в безупречном равновесии полученных ощущений и затраченного труда, а непрерывная деятельность человечества была залогом его движения вперед.

Вдруг Паскаль рассмеялся от души.

— Ну вот я опять и увлекся!.. А ведь я считаю в глубине души, что единственная мудрость состоит в том, чтобы не вмешиваться, предоставляя природе делать свое дело! Ах я старый, неисправимый безумец!

Но Рамон в порыве любви и восхищения сжал его руки.

— Учитель! Учитель! Ведь такая убежденность, такое безумие присущи гению!.. Не беспокойтесь. Я внимательно выслушал вас и постараюсь быть достойным вашего наследия; согласен, в этом, вероятно, кроется великое завтра!

В мирной тишине комнаты, где ничто не нарушало их уединения, Паскаль вновь заговорил со спокойным мужеством умирающего философа, который дает свое последнее наставление. Он вернулся к наблюдениям над собой, объяснил, что часто излечивался работой, регулярной и методической работой без перенапряжения. Пробило одиннадцать. Пригласив Рамона позавтракать с ним, Паскаль продолжал развивать те же возвышенные, отвлеченные идеи, пока Мартина им подавала. Лучи ласкового солнца наконец пробились сквозь серые утренние облака и нежно позолотили большую комнату. Допив последний глоток молока, Паскаль умолк.

Молодой врач в это время ел грушу.

— Вам хуже?

— Нет, нет! Кушайте!

Но доктор не мог обмануть Рамона. Это был приступ, и притом жестокий. Удушье наступило внезапно, и Паскаль упал навзничь на подушку с посиневшим уже лицом. Он ухватился за оде-

яло, судорожно вцепившись в него, как бы ища точку опоры, чтобы сбросить страшную тяжесть, навалившуюся на грудь. Обессиленный, мертвенно-бледный, он лежал, широко раскрыв глаза, и смотрел на часы с выражением бесконечного отчаяния и скорби. В течение долгих десяти минут он, казалось, умирал.

Рамон тотчас же сделал впрыскивание. Но действие на этот раз оказалось слабее, и облегчение наступило не сразу.

Крупные слезы показались на глазах Паскаля, как только к нему вернулась жизнь. Он еще не мог говорить, он плакал. Затем, по-прежнему не спуская с часов на камине своего затуманенного взгляда, он сказал:

— Друг мой, я умру в четыре часа, я ее не увижу!

Желая отвлечь Паскаля от этой мысли, Рамон стал утверждать против всякой очевидности, что конец не так уж близок, — тогда Паскаля вновь охватила страсть ученого, и ему захотелось дать молодому собрату последний урок, основанный на непосредственном наблюдении. Доктору неоднократно приходилось оказывать помощь в случаях, похожих на его собственный: особенно запомнилось ему, как он произвел вскрытие

сердца старого нищего, умершего в больнице от склероза.

— Я так и вижу мое сердце… цвета увядшей листвы, сосуды стали хрупкими, оно как бы съежилось, но на самом деле немного увеличилось в объеме. От воспалительного процесса оно затвердело, и его нелегко вскрыть…

Паскаль говорил тише и тише. Он ясно чувствует, что сердце его слабеет, сокращается вяло и медленно. Вместо нормальной струи крови через аорту поступает лишь красная пена. Вены набухли от черной крови, и удушье увеличивается по мере того, как замедляется деятельность сердца — этого всасывающего и нагнетающего аппарата, регулирующего кровообращение. А после инъекции, несмотря на боли, сердце постепенно оживает, будто подстегнутое ударом хлыста, оно прогоняет по венам черную кровь и вливает в организм силы вместе с красной артериальной кровью. Но приступ должен повториться, как только кончится механическое воздействие впрыскивания. Паскаль мог даже с точностью предсказать, когда он начнется. Благодаря впрыскиваниям сердце выдержит три приступа, но третий приступ будет последним, больной умрет в четыре часа.

Еле слышным голосом Паскаль успел в последний раз выразить восхищение мужеством сердца, этого неустанного труженика, который ни на секунду, даже во время сна, не прерывает работы, между тем как другие органы ленятся, отдыхают.

— Славное сердце! Как героически ты борешься!.. Какая преданность, какая щедрость никогда не устающих мышц! Ты слишком сильно любило, слишком много боролось, вот почему ты разбилось. Славное сердце, ты не хочешь умирать и все еще бьешься!

Но вот наступил первый из предсказанных приступов. Паскаль преодолел его, но был измучен, задыхался, речь его стала отрывистой, дыхание со свистом вырывалось из груди. Несмотря на все свое мужество, он глухо стонал: боже мой! неужели эта мука никогда не кончится! И вместе с тем у него было лишь одно пламенное желание — чтобы агония продлилась и он мог в последний раз обнять Клотильду. А вдруг он ошибся? Ведь Рамон без устали твердит это. Вдруг он проживет до пяти часов! Его глаза обратились к часам, и он больше не отрывал взгляда от стрелок, придавая минутам значение вечности. Когда-то они с Клотильдой частенько подшучивали над этими часами в стиле ампир — позолоченными бронзо-

выми часами, на которых Амур лукаво созерцал уснувшее Время. На них было три часа. Потом они показали половину четвертого. Только бы еще два часа жизни, только два часа, о господи! Солнце клонилось к закату, бледное зимнее небо дышало великим покоем; минутами Паскаль прислушивался к отдаленным гудкам паровозов, доносившимся с равнины. Вот поезд, направляющийся в Тюлет. Неужели марсельский поезд никогда не прибудет!

Без двадцати четыре Паскаль сделал знак Рамону, чтобы тот подошел к нему. Он уже не мог говорить достаточно громко.

— Если бы пульс не был таким слабым, я протянул бы до шести. Я надеялся, но это конец…

И он прошептал имя Клотильды. В этот душераздирающий прощальный лепет Паскаль вложил все свое отчаяние при мысли, что больше ее не увидит. И вдруг он снова забеспокоился о своих рукописях.

— Не покидайте меня… Ключ у меня под подушкой. Скажите Клотильде, чтобы она его взяла, ей известны мои распоряжения…

Новое впрыскивание без десяти четыре не дало никаких результатов. Ровно в четыре начался второй приступ. После того как удушье про-

шло, Паскаль рывком поднялся и захотел встать под влиянием внезапного прилива сил. Жажда простора, воздуха гнала его прочь из спальни. Непреодолимый зов жизни, всей его жизни, исходил, как ему чудилось, из соседней комнаты. И он устремился туда нетвердыми шагами, задыхаясь, перегнувшись влево и цепляясь за мебель.

Доктор Рамон стремительно подбежал, чтобы удержать его.

— Учитель! Учитель! Умоляю вас, ложитесь!

Но Паскаль противился из последних сил, хотел умереть стоя. Страстное желание остаться жить после смерти, героическая мысль о работе увлекали его, заставляя превозмочь слабость. Он хрипло бормотал:

— Нет, нет!.. Туда… туда!

Другу пришлось его поддержать, и Паскаль, спотыкаясь, смотря прямо вперед невидящим взглядом, дошел до середины кабинета и здесь упал на стул перед письменным столом, где среди брошенных в беспорядке бумаг и книг валялась недописанная страница. Он тяжко вздохнул, веки его сомкнулись. Но он тотчас открыл глаза и стал шарить по столу, отыскивая начатую работу. Посреди разрозненных записей он набрел на родословное древо. Еще накануне он исправил

в нем даты. Он узнал листок, придвинул его, расправил.

— Учитель! Учитель! Вы убиваете себя! — в порыве жалости и восхищения твердил потрясенный Рамон.

Паскаль не слушал, не слыхал. Он нащупал карандаш, схватил его и так низко склонился над родословным древом, как будто затуманенные глаза уже ничего не видели. В последний раз перед ним прошли все члены семьи. Его внимание остановило имя Максима. Он записал: «Умер от сухотки спинного мозга в 1873 г.», уверенный в том, что племянник не переживет этого года. Вдруг его поразило стоящее рядом имя Клотильды, и он дополнил заметку словами: «в 1874 г. родила сына от своего дяди Паскаля». Теперь он искал свое имя, теряя силы, поминутно впадая в беспамятство. Наконец он нашел его, рука умирающего приобрела твердость, и он разделался с собой, написав крупным, решительным почерком: «Умер от сердечной болезни седьмого ноября 1873 г.». После этого огромного усилия хрипы участились, он стал задыхаться, как вдруг в глаза ему бросился незаполненный листок родословного древа над именем Клотильды. Пальцы Паскаля уже не могли держать карандаш. И все

же он добавил скачущими буквами несколько слов, в которые вложил всю свою исстрадавшуюся любовь, свое безумное душевное смятение: «Неизвестный ребенок, который родится в 1874 году. Каким-то он будет?!» Написав это, Паскаль сразу поник. Мартина вместе с Рамоном с трудом донесли его до кровати.

Третий приступ случился в четверть пятого. Во время этого последнего удушья лицо Паскаля выражало невыносимое страдание. Как человеку и ученому ему пришлось испить чашу мученичества до дна. Казалось, его помутневшие глаза все еще ищут циферблат, чтобы узнать время. Видя, что он шевелит губами, Рамон низко склонился над ним. Паскаль и в самом деле что-то говорил, но так тихо, что шепот было трудно отличить от дыхания.

— Четыре часа… сердце замирает, поступление крови через аорту прекратилось… Клапан слабеет, отказывается работать.

Вдруг он страшно захрипел, прерывистое дыхание почти прекратилось.

— Дело идет слишком быстро… Не оставляйте меня одного, ключ под подушкой… Клотильда! Клотильда!

Задыхаясь от рыданий, Мартина бросилась на

колени возле кровати. Она понимала, что хозяин умирает. Но не смела сбегать за священником, хотя и очень желала этого; и она сама стала читать отходную, горячо прося милосердного бога простить ее хозяина и направить его прямехонько в рай.

Паскаль умирал. Лицо его посинело. Несколько секунд он пребывал в полной неподвижности, потом хотел вздохнуть, выпятил губы и открыл рот, как раскрывает клюв птица, чтобы поймать последний глоток воздуха. И наступил конец — смерть.

XIII

Клотильда получила телеграмму Паскаля только после завтрака, около часа пополудни. Как раз в этот день Максим, все больше донимавший сестру своими капризами и болезненной раздражительностью, с утра на нее дулся. Ей так и не удалось снискать расположение брата: она казалась ему слишком бесхитростной, слишком серьезной, чтобы развлекать его, и теперь он запирался вдвоем с Розой — блондинкой, скромницей на вид, которая его забавляла. С тех пор как болезнь одолела этого эгоиста и жуира, осудив его на неподвижность, он утратил свое прежнее недоверие к женщинам — пожирательницам мужчин. И когда Клотильда постучалась к нему, чтобы сообщить о телеграмме Паскаля и о своем отъезде, ей не сразу открыли. Роза делала больному растирания. Максим тотчас же согласился отпустить сестру, прося ее вернуться поскорее, как только она закончит дела, но чувствовалось, что эта просьба вызвана лишь желанием соблюсти приличия.

До самого отъезда Клотильда укладывала че-

моданы. В спешке, ошеломленная внезапностью принятого Паскалем решения, она не размышляла, вся отдавшись радости возвращения в Сулейяду. Но когда после наскоро проглоченного обеда, прощания с братом и бесконечно долгой езды в фиакре под холодным ноябрьским дождем от Булонского леса до Лионского вокзала Клотильда очутилась наконец в дамском купе восьмичасового поезда, она вернулась к действительности, начала размышлять, и в душу ее закралось смутное беспокойство. Чем вызвана эта срочная и столь лаконичная телеграмма: «Жду тебя. Выезжай сегодня вечером»? Без сомнения, это был ответ на письмо, возвещавшее о ее беременности. Но ведь Паскаль хотел, чтобы она оставалась в Париже, считал, что она там счастлива, странно, почему же он так спешно вызывает ее. Клотильда ждала не телеграммы, а письма, после которого она собиралась все подготовить и уехать лишь некоторое время спустя. Не случилось ли что-нибудь, не заболел ли Паскаль, почему он хочет немедленно увидеться с ней? И с этой минуты страх ее, все возрастая, перешел в предчувствие и завладел ею целиком.

Проливной дождь не переставая хлестал в окна вагона, когда поезд шел ночью по равнинам Бур-

гундии. Ливень прекратился только в Маконе. После Лиона начало рассветать. У Клотильды были с собой письма Паскаля, и она с нетерпением ждала восхода, чтобы перечитать, изучить эти письма, почерк которых уже давно казался ей изменившимся. И в самом деле, у нее сжалось сердце, когда она заметила неровные буквы и пропуски в словах. Паскаль был болен, очень болен; эта догадка превратилась в уверенность, в прозрение, и сердце заговорило в ней сильнее доводов рассудка. Остальная часть дороги показалась Клотильде нестерпимо долгой, ибо по мере приближения к дому тревога ее возрастала. Вдобавок поезд прибыл в Марсель в половине первого, а пересадки на плассанский поезд пришлось ждать до двадцати минут четвертого. Три долгих часа ожидания! Она второпях закусила в вокзальном буфете, словно боялась опоздать; потом, пробравшись между омнибусами и фиакрами, вышла в запыленный сад и долго томилась там на скамейке под неярким, но еще ласковым солнцем. Наконец она снова очутилась в поезде, который останавливался каждые четверть часа на какой-нибудь станции. Она смотрела в окно, и ей казалось, что она уехала отсюда двадцать лет тому назад и что все кругом изменилось. Ко-

гда поезд миновал Святую Марту, она испытала глубокое волнение, увидев вдали Сулейяду и два столетних кипариса у террасы, которые можно было разглядеть за три лье, и сердце ее забилось.

Было пять часов вечера, уже спускались сумерки. Поезд громыхнул на входной стрелке, и Клотильда вскоре вышла из вагона. Сердце ее сжалось оттого, что Паскаля не было на перроне. С самого Лиона она твердила себе: «Если я не увижу его тотчас, как сойду с поезда, значит, он болен!» Но, может быть, он в зале ожидания или на улице, где стоит экипаж. Она поспешно вышла с вокзала, но встретила только дядюшку Дюрье, извозчика, которого обычно нанимал доктор. Она забросала его вопросами. Старик, молчаливый провансалец, не торопился отвечать. Он был здесь со своим экипажем и взял багажную квитанцию, пожелав сперва заняться чемоданами. Клотильда переспросила дрожащим голосом:

— Все здоровы, дядюшка Дюрье?

— Ну да, барышня.

Она настойчиво повторила вопрос и узнала, что накануне, часов в шесть вечера, Мартина поручила ему поехать на вокзал к прибытию поезда. Но ни он и никто другой не видели доктора уже два месяца. Коли он не пришел сюда, может,

он и впрямь болен — в городе поговаривают, что он не очень-то крепок здоровьем.

— Подождите, барышня, пока я получу багаж. В коляске найдется для вас местечко.

— Нет, это будет слишком долго, дядюшка Дюрье. Я пойду пешком.

Она быстро поднялась по дороге. Сердце ее так сжималось, что она с трудом переводила дух. Солнце исчезло за холмами Святой Марты, с серого неба падала мелкая сероватая изморось, от которой веяло первым ноябрьским холодком; свернув на Фенуйерскую дорогу, Клотильда вновь увидела Сулейяду и испугалась; в сумерках темный фасад с закрытыми ставнями казался унылым, заброшенным, словно был одет в траур.

Страх Клотильды достиг предела, когда она заметила на пороге Рамона, видимо, поджидавшего ее. Он и в самом деле караулил ее, в надежде хоть немного смягчить силу удара. Клотильда, запыхавшись, пробежала под платанами у ручья, чтобы сократить дорогу; увидев молодого человека вместо Паскаля, которого она все еще надеялась встретить, она почувствовала, что случилось нечто ужасное, непоправимое. Несмотря на все свои усилия, Рамон еще не оправился от потрясения и был очень бледен. Он молчал, ожи-

дая ее расспросов. Она же задыхалась, не могла выговорить ни слова. Так они вошли в дом, и он провел ее в столовую, где они снова простояли несколько минут лицом к лицу, молча, в полном смятении.

— Он болен, да? — прошептала она наконец.

— Да, болен, — подтвердил Рамон.

— Я сразу поняла это, увидев вас, — продолжала Клотильда. — Раз его нет здесь, значит, он болен. — И еще настойчивее повторила: — Он болен? Очень болен? Да?

Рамон ничего не ответил, только еще больше побледнел. Клотильда взглянула на него и вдруг почувствовала дыхание смерти: о ней говорили дрожащие руки Рамона, помогавшие умирающему, горестное выражение лица, усталые глаза, только что видевшие агонию, — весь облик врача, двенадцать часов подряд самозабвенно боровшегося с неизбежным.

Клотильда громко закричала:

— Он умер!

Она пошатнулась и, безутешная, упала на руки Рамона, который, рыдая, братски обнял ее. И так они плакали на груди друг у друга.

Усадив ее на стул, он обрел наконец дар речи:

— Телеграмму, полученную вами, я сам послал

вчера, около половины одиннадцатого. Паскаль был так счастлив, так полн надежд! Он мечтал о будущем, об одном-двух годах жизни… Но неожиданно этой ночью в четыре часа у него начался первый приступ, и он послал за мной. Он сразу понял, что это конец. И все же надеялся протянуть до шести, дожить до встречи с вами… Но болезнь развивалась слишком быстро. До последнего вздоха, минута за минутой он объяснял мне, как она протекает, точно профессор, делающий вскрытие в анатомическом театре. Он умер мужественно, с вашим именем на устах, спокойный и вместе с тем в отчаянии.

Клотильда хотела вскочить, бежать в спальню, но сидела как пригвожденная, не в силах приподняться со стула. Она слушала Рамона, и крупные слезы струились из ее глаз. Каждое слово рассказа об этой стоической смерти отдавалось в ее сердце, глубоко запечатлевалось в нем. Она восстанавливала мысленно этот страшный день. Теперь она всю жизнь будет переживать его.

Чашу ее скорби переполнила Мартина; войдя в комнату, она жестко сказала:

— Плачьте, барышня, вам есть о чем плакать, ведь хозяин помер только по вашей вине!

Старая служанка стояла поодаль, возле две-

ри в кухню, измученная, безутешная, ибо у нее отняли, убили хозяина; она не нашла ни слова привета и утешения для этой девочки, которую воспитала. Не думая о последствии своих слов, о горе или радости, которое причиняет, она отводила душу, высказывала все, что у нее накипело:

— Да, уж правду сказать, хозяин потому и помер, что вы уехали, барышня.

Выйдя из оцепенения, Клотильда пыталась оправдаться:

— Но ведь он сам настаивал на моем отъезде, требовал, чтобы я уехала.

— Ну, еще бы, а вы, видно, обрадовались, коли ничегошеньки не поняли... В ночь перед вашим отъездом я застала хозяина в слезах, он едва не задохся, так горевал; а когда я хотела сказать вам об этом, он мне запретил. А потом, когда вы уехали, я многое замечала. Каждую ночь все начиналось сызнова, он зубами скрежетал, а не хотел написать и вызвать вас... Вот от чего он и помер! Это чистая правда!..

И тут Клотильда все поняла. Счастье и горе разом нахлынули на нее. Боже мой! Так это было правдой, то, что она заподозрила однажды? Но потом Паскаль горячо, упорно настаивал на ее отъезде, и она поверила, подумала, что он не

лжет, и когда настал час выбрать между ней и работой, он, как ученый, у которого любовь к творчеству берет верх над любовью к женщине, искренне предпочел работу. А между тем он лгал, и такова была его преданность, его самоотречение, что он пожертвовал собой ради ее счастья, как он его понимал. Роковое стечение обстоятельств привело его к ошибке; он обрек их всех на страдание.

И Клотильда снова оправдывалась, приходила в отчаянье:

— Но как я могла знать! Ведь я исполнила его волю, я вложила всю мою любовь в покорность.

— Уж я бы на вашем месте догадалась! — вскричала Мартина.

Тут вмешался Рамон. Он участливо взял руки Клотильды в свои и объяснил ей, что горе могло ускорить неизбежный исход, но учитель, к сожалению, был все равно обречен. Застарелая болезнь сердца, чрезмерная работа, некоторое влияние наследственности и, наконец, поздняя страсть — и его бедное сердце не выдержало.

— Пойдемте к нему, — сказала Клотильда, — я хочу его видеть.

Наверху ставни были закрыты, и в комнату не проникал даже скудный сумеречный свет. Две

восковые свечи горели в канделябрах на ночном столике в ногах кровати. Они слабо освещали лицо Паскаля. Он лежал вытянувшись, со сложенными на груди руками, Рамон и Мартина благоговейно закрыли ему глаза. По спокойному, хотя и посиневшему лицу в рамке седых кудрей и бороды его можно было принять за спящего. Он умер каких-нибудь полтора часа тому назад. Теперь на него снизошло беспредельное умиротворение, вечный покой.

Увидев его таким, поняв, что он больше ее не услышит, не увидит, что отныне она одинока, и, поцеловав его в последний раз, потеряет навсегда, Клотильда, убитая горем, упала на постель и зашептала с глубокой нежностью:

— О, учитель, учитель, учитель…

Она приложилась губами ко лбу умершего; и так как тело еще не остыло, храня живое тепло, в ней на миг проснулась надежда, она поверила, что он почувствует ее последнюю долгожданную ласку. Вот он лежит недвижим и словно улыбается, счастливый, что может наконец умереть, дождавшись их обоих — ее и ребенка, которого она носит в себе. Но тотчас же, изнемогая под бременем страшной действительности, она снова заплакала навзрыд.

Вошла Мартина с лампой в руках и поставила ее в стороне, на угол камина. Она услыхала, как Рамон, встревоженный отчаянием Клотильды, опасным при беременности, уговаривал молодую женщину.

— Соберитесь с духом, иначе я уведу вас отсюда! Подумайте о том, что вы не одна, вспомните о дорогом маленьком существе, Паскаль говорил мне о нем с такой радостью и любовью.

Еще днем служанка кое-что заподозрила, случайно услышав обрывки фраз. А тут поняла все; она уже собиралась выйти из комнаты, но теперь остановилась, напрягая слух.

Рамон понизил голос.

— Ключ от шкафа под подушкой, Паскаль повторил несколько раз, чтобы я предупредил вас об этом… Вы знаете, что вам надо сделать?

Клотильда попыталась вернуться к жизни, овладеть собой.

— Что мне надо сделать? — переспросила она. — Вы это о бумагах, да? Конечно, конечно, помню, что я должна сохранить папки, а остальные рукописи передать вам… Не бойтесь, я в полном рассудке и буду благоразумна. Но я не хочу оставлять его, я проведу здесь ночь, я буду спокойна, обещаю вам.

Она так страдала и так хотела бодрствовать подле Паскаля, оставаться с ним, пока его не вынесут отсюда, что Рамон согласился.

— Хорошо, я ухожу; меня, наверное, ждут дома. К тому же необходимо выполнить всякие формальности: зарегистрировать смерть, позаботиться о погребении, — я хочу избавить вас от этих хлопот. Не беспокойтесь ни о чем. Я все улажу и приду завтра утром.

Он поцеловал ее еще раз и ушел. Вслед за ним исчезла и Мартина; заперев на ключ входную дверь, она скрылась в ночной тьме.

Клотильда осталась в спальне одна и среди окружающей великой тишины остро ощущала пустоту дома. Она была одна с мертвым Паскалем. Пододвинув стул к изголовью кровати, она сидела не шевелясь, в полном одиночестве. Войдя сюда, она успела сбросить только шляпу и теперь, заметив на руках перчатки, сняла и их. На ней был все тот же дорожный костюм, запылившийся, измятый за двадцать часов езды по железной дороге. Без сомнения, дядюшка Дюрье уже давно доставил ее чемоданы, и они стоят там, внизу. Но у нее не было ни желания, ни сил помыться, переменить платье, она застыла в своей скорби на том же стуле, на который опустилась, придя

сюда. Жгучее раскаяние, запоздалые сожаления овладели ею. Зачем она послушалась? Зачем согласилась уехать? Если бы она осталась, он не умер бы — в этом она была твердо убеждена. Она так любила бы его, так ухаживала бы за ним, что он выздоровел бы. Каждый вечер она убаюкивала бы его в своих объятьях, согревала бы своей юностью, вдыхала бы в него жизнь поцелуями. Если не хочешь, чтобы смерть отняла у тебя любимого, надо остаться с ним, отдать ему жизнь и обратить в бегство смерть. Это ее вина, что она потеряла Паскаля и не может ласками пробудить его, ибо он уснул вечным сном. И она кляла себя за глупость, за трусость, за нежелание жертвовать собой ради него. И вот теперь она навсегда осуждена нести кару за то, что уехала; если не сердце, хотя бы простой здравый смысл должен был подсказать ей, что ее место здесь, а ее долг покорной и любящей служанки — неусыпно охранять своего властелина.

Тишина становилась такой безграничной, такой всеобъемлющей, что Клотильда на мгновенье отвела взор от лица Паскаля и оглядела комнату. Она увидела лишь смутные тени: лампа освещала сбоку большое зеркало, походившее на матовую серебряную доску, и две свечи отбра-

сывали на потолок два рыжеватых пятна. Тут она вспомнила о письмах, которые он ей писал, таких коротких и холодных, и поняла, как он мучился, пытаясь заглушить свою любовь. Сколько сил ему понадобилось, чтобы осуществить свой благородный и роковой план — сделать ее счастливой! Он упрямо желал исчезнуть, избавить ее от своей старости и нищеты; он мечтал, что вдали от него она заживет богато, сможет свободно наслаждаться своей молодостью: это было жертвой, полным самоотречением ради любви к ней. Ее переполняла глубокая благодарность и нежность к нему, смешанные с горечью и возмущением против злого рока. И внезапно перед ней встало счастливое время, ее юность, годы, когда она росла подле него, неизменно доброго и жизнерадостного. Вспомнилось, как он постепенно завоевал ее своей страстью, как после бурь, разделивших их ненадолго, она почувствовала, что принадлежит ему, и в радостном порыве отдалась любимому. Их спальня, где сейчас остывало его тело, еще хранила трепетное тепло минувших страстных ночей.

Старинные часы пробили семь, и Клотильда вздрогнула от этого негромкого звука, потревожившего глубокую тишину. Что это? Она

опомнилась, взглянула на часы, которые столько раз отмечали минуты счастья. У них был дребезжащий бой, похожий на голос доброго старого знакомца, и он радовал влюбленных, когда они лежали в темноте, обняв друг друга. Теперь уже вся мебель пробуждала в ней воспоминания. В тусклой глубине большого зеркала ей чудились отражения их обоих: они приближались, неуловимые, почти слившиеся, с блуждающей улыбкой на губах, как в те невозвратные дни, когда он приводил ее сюда, горя желанием украсить драгоценностью, убором, приобретенными в то же утро. А вот и стол, на нем горели теперь две восковые свечи, — маленький стол, за которым они съели свой нищенский обед в тот вечер, когда у них не было хлеба и она по-царски вознаградила Паскаля. А сколько воспоминаний о былой любви навевал комод с белой мраморной доской, в резной деревянной раме! Как весело они смеялись, сидя на кушетке, когда она натягивала чулки, а он поддразнивал ее! Даже от обивки стен, от старого вылинявшего ситца цвета зари доносились до нее неповторимые и нежные слова, что они нашептывали друг другу, предаваясь любовным шалостям, и даже запах ее собственных волос, запах фиалки, который он обожал. Когда умолкли

семь ударов, так долго отдававшиеся в ее сердце, она перевела взгляд на неподвижное лицо Паскаля и снова забыла о себе.

В этом полусне, в который все глубже погружалась Клотильда, она только спустя несколько минут внезапно расслышала рыдания. Кто-то вихрем ворвался в комнату, она узнала свою бабушку Фелисите. Но Клотильда не шевельнулась, не заговорила, так она оцепенела от горя. Мартина, не ожидая приказания, которое ей, несомненно, дали бы, сбегала к старой г-же Ругон, чтобы сообщить ей ужасную весть, и та, испуганная, потрясенная столь быстрой развязкой, прибежала сюда, бурно проявляя свое горе. Она рыдала подле сына, потом бросилась к Клотильде, которая, как во сне, ответила на ее поцелуй. Замкнувшаяся в своем горе, Клотильда почувствовала, однако, что ее уединение нарушено, по непрекращающейся тихой возне и шорохам в спальне. Это была Фелисите, она плакала, входила и выходила на цыпочках, наводила порядок, всюду шарила, что-то бормотала, падала на стул и тотчас же вскакивала. Было около девяти часов, когда Фелисите стала настойчиво требовать, чтобы ее внучка что-нибудь съела. Уже два раза она тихонько пыталась ее урезонить. Теперь она

снова шепнула ей:

— Клотильда, дорогая, ну, право же, это неразумно… Надо беречь силы, иначе ты не выдержишь до конца.

Но молодая женщина, упорно отказываясь, качала головой.

— Послушай, ты, наверное, позавтракала на станции в Марселе? Правда? Но с тех пор ты в рот ничего не брала… Ну, хорошо ли это? Я вовсе не хочу, чтобы и ты свалилась… У Мартины есть бульон. Я велела заправить его и приготовить к обеду цыпленка… Спустись в столовую и съешь что-нибудь, ну хоть маленький кусочек, а я побуду здесь.

С тем же страдальческим видом Клотильда качала головой. И наконец она пролепетала:

— Оставь меня, бабушка, умоляю тебя… Я не могу, я задохнусь…

Больше она не раскрывала рта. Между тем она не спала, глаза были широко раскрыты и упорно устремлены на лицо Паскаля. Шло время, она не шевелилась, сидела прямо, неподвижно, с отсутствующим видом, словно была где-то далеко, вместе с умершим. В десять часов она услышала шум: это Мартина заправляла лампу. Около одиннадцати Фелисите, которая бодрствовала в

кресле, вдруг забеспокоилась, вышла из спальни, потом вернулась. С этой минуты она только и делала, что ходила взад и вперед, нетерпеливо следя за молодой женщиной, которая все так же сидела без сна, с широко раскрытыми, немигающими глазами. Пробило полночь, и в усталой голове Клотильды гвоздем засела упрямая мысль, не дававшая ей покоя: почему она послушалась? Если бы она осталась с ним, она согрела бы его своей молодостью, он не умер бы! И только около часа ночи эта мысль перешла в кошмар. Измученная горем и усталостью, Клотильда забылась тяжелым сном.

Когда Мартина пришла к старой г-же Ругон с сообщением о внезапной смерти сына, та в испуге вскрикнула, но к ее горю примешался гнев! Как! Умирая, Паскаль не захотел ее видеть и заставил служанку поклясться, что она не сообщит матери о его болезни. Это подстегнуло ее, как удар хлыста, словно борьбе, длившейся всю жизнь между нею и сыном, было суждено продолжиться и по ту сторону могилы. Потом, когда, наспех одевшись, она примчалась в Сулейяду, мысль о страшных папках, о рукописях, наполнявших шкаф, безраздельно овладела ею. После смерти дядюшки Маккара и тети Диды

Фелисите уже не боялась того, что она называла мерзостями Тюлет; и даже бедный маленький Шарль, скончавшись, унес с собой один из позорнейших пороков наследственности, тяготевших над семьей. Оставались только папки, отвратительные папки, угрожавшие той славной легенде о Ругонах, созданию которой она посвятила всю жизнь и которая была единственной заботой ее старости, — ведь торжеству этого вымысла она упрямо отдавала последние силы своего деятельного, изворотливого ума. Долгие годы она без устали караулила папки Паскаля, возобновляя борьбу всякий раз, когда казалась побежденной, всегда была начеку, всегда в засаде. Ах, если бы она могла наконец овладеть ими, истребить их! Злосчастное прошлое кануло бы в вечность, и слава семьи, завоеванная с таким трудом и избавленная теперь от всякой угрозы, засияла бы наконец ярким светом, навязав истории свою ложь. Она уже видела, как проходит по всем трем кварталам Плассана походкой королевы, с достоинством носящей траур по павшему режиму, и все склоняются перед ней. Вот почему, когда Мартина сообщила ей, что Клотильда приехала, она, из боязни опоздать, ускорила шаги, приближаясь к Сулейяде.

Впрочем, едва Фелисите вошла в дом, как тотчас же образумилась. К чему спешить? Перед ней вся ночь. Она пожелала все же, чтобы Мартина была у нее под рукой. Она хорошо знала, как подействовать на примитивный ум служанки, ограниченный догматами религии. Вот почему, спустившись вниз, в неприбранную кухню, чтобы приглядеть, как жарится цыпленок, она первым делом поведала Мартине свое горе, ведь сын скончался, не примирившись с церковью. Она расспрашивала служанку, требовала подробностей. Но та в отчаянии только качала головой. Нет! Священник не приходил, и хозяин даже ни разу не перекрестился. Она одна опустилась на колени, чтобы прочесть отходную, чего, конечно, мало для спасения души. С каким жаром она молилась господу богу, чтобы хозяин несмотря ни на что попал в рай!

Не спуская глаз с цыпленка, который жарился на вертеле, Фелисите продолжала тихо, озабоченно:

— Ах, голубушка, ведь главная помеха на пути моего несчастного сына в царство небесное — эти ужасные бумаги, которые он оставил наверху, в шкафу. Я диву даюсь, как это гром небесный еще не испепелил их. Если мы выпустим такую заразу

из рук — позора не оберешься! И Паскаль будет гореть за это в адском пламени!

Мартина слушала ее, мертвенно побледнев.

— Так, по-вашему, сударыня, уничтожив бумаги, мы сделаем доброе дело и поможем душе хозяина обрести покой?

— Господи! Да как же иначе!.. Будь только у меня в руках эти мерзкие бумажонки, я тут же бросила бы их в огонь… И, поверьте, вам не понадобилось бы для растопки сухих виноградных лоз — одних рукописей, что лежат там, наверху, с лихвой хватило бы, чтобы изжарить трех таких цыплят, как этот!

Служанка взяла половник и стала поливать жаркое. Теперь, казалось, и она что-то обдумывала.

— Да беда в том, что у нас их нет… Я даже слышала о них разговор и могу передать вам его, сударыня… Когда мадемуазель Клотильда поднялась в спальню, доктор Рамон спросил, не помнит ли она, какое распоряжение получила, наверное, перед своим отъездом; она сказала, что помнит и должна сохранить только папки, а все остальные бумаги отдать ему.

Фелисите задрожала, невольно выдав свое беспокойство. Ей померещилось, что бумаги

ускользнули от нее, и теперь она решила заполучить не только дела, но и все исписанные доктором странички, все эти неизвестные сочинения, подозрительные и непонятные, которые были чреваты скандалом, — так подсказывал этой тщеславной старой даме ее ограниченный, фанатический ум.

— Надо действовать! — вскричала она. — И действовать нынче же ночью… Завтра, вероятно, будет слишком поздно.

— Я знаю, где ключ от шкафа, — подтвердила Мартина вполголоса, — доктор Рамон объяснил барышне!

Фелисите тотчас насторожилась.

— Ключ! Где же он?

— Под подушкой, в головах у хозяина.

Несмотря на пламя разгоревшихся виноградных лоз, по комнате как бы пронеслось холодное дуновение; и обе женщины умолкли. Слышно было только потрескивание жира, стекавшего с цыпленка в кастрюлю.

Поспешно проглотив обед, г-жа Ругон поднялась наверх вместе с Мартиной. Теперь они больше не шушукались, между ними установилось полное согласие — было решено любым способом завладеть бумагами до рассвета. Самое простое взять

ключ из-под подушки. Безусловно, Клотильда в конце концов заснет. У нее слишком измученный вид, усталость непременно ее сморит. Речь идет лишь о том, чтобы выждать. И они принялись за слежку, стали слоняться из кабинета в спальню, все время подстерегая, не смежит ли наконец молодая женщина свои большие, неподвижные глаза. Каждые четверть часа они по очереди подходили к дверям, подглядывая за Клотильдой, или томились ожиданием в кабинете, где стояла коптящая лампа. И так продолжалось до полуночи. Бездонные, потемневшие от безграничного отчаяния глаза Клотильды были по-прежнему широко открыты. Уже близилась полночь, когда Фелисите села в кресло возле постели, решив не оставлять своего поста, пока внучка не заснет. Она не отводила от нее взгляда, с раздражением замечая, что Клотильда ни разу не закрыла глаза, застыв в своем безутешном горе, которое не дает ей уснуть. Тут Фелисите почувствовала, что ее клонит в сон. Отчаявшись, она поняла, что ей не следует дольше оставаться здесь. И снова пошла за Мартиной.

— Это бесполезно, все равно она не уснет, — заявила Фелисите сдавленным, дрожащим голосом. — Надо придумать что-нибудь другое.

Она уже готова была взломать шкаф. Но старинные дубовые доски казались несокрушимыми, железная оковка держалась крепко. Разбить замок? Но чем? К тому же поднимется страшный шум, и его, конечно, услышат в соседней комнате.

И все же она стояла перед толстыми створками, ощупывала их, отыскивая какую-нибудь щель.

— Будь у меня инструмент…

Мартина, более осмотрительная, перебила ее:

— Нет, нет, сударыня! Нас захватят врасплох! Подождите, может быть, барышня уснула.

Она на цыпочках вошла в спальню и тотчас вернулась обратно.

— Ну да, она спит… Глаза закрыты, она не шевелится.

Тогда они пошли вдвоем взглянуть на Клотильду, удерживая дыхание, стараясь, чтобы под ногами не заскрипел паркет. В самом деле, Клотильда уснула, забытье ее было так глубоко, что обе старухи осмелели. И все же они опасались, как бы не задеть молодую женщину, не разбудить, ведь ее стул стоял вплотную к кровати. Вдобавок их пугало само святотатство, и притом чудовищное, — сунуть руку под подушку усопшего и обокрасть его. Не потревожат ли они

его покой? Не шевельнется ли он? От этой мысли они бледнели.

Фелисите приблизилась было к кровати и протянула руку. Но тут же отпрянула.

— Я слишком мала ростом, — пролепетала она, — попробуйте вы, Мартина!

Служанка подошла к постели, но так задрожала, что отступила, едва не упав.

— Нет, нет, я не могу! Мне кажется, что хозяин вот-вот откроет глаза.

И, дрожащие, перепуганные, они еще несколько минут оставались в спальне, где в торжественной тишине царило величие смерти, лицом к лицу с навеки уснувшим Паскалем и Клотильдой, сломленной бременем вдовства. Быть может, когда они глядели на эти навеки сомкнутые уста, на голову, которая как бы охраняла своей тяжестью творчество ученого, им открылось благородство его возвышенной жизни, посвященной труду. Свечи горели тускло. И суеверный страх прогнал обеих женщин из спальни.

Фелисите, всегда такая решительная, никогда не отступавшая ни перед чем, даже перед преступлением, теперь убежала, словно за ней гнались по пятам.

— Идемте, идемте, Мартина. Мы придумаем

что-нибудь другое, возьмем какой-нибудь инструмент.

Только в кабинете они вздохнули свободно. Тут служанка вспомнила, что ключ от секретера должен быть на ночном столике — она заметила его накануне во время приступа хозяина. Женщины отправились туда. Без зазрения совести Фелисите открыла один из ящиков. Но она обнаружила в нем только пять тысяч франков, к которым не прикоснулась, так как деньги ее не интересовали. Тщетно искала она родословное древо, которое прежде — она это знала — всегда лежало здесь. Ей страстно хотелось начать с него свое разрушительное дело! Но родословное древо так и осталось на письменном столе, где она его не заметила, ибо лихорадочно обыскивала ящики, вместо того чтобы хладнокровно оглядеться вокруг.

Снедавшая Фелисите страсть вновь привела ее к шкафу, и она остановилась, осматривая, измеряя его горящим взглядом завоевательницы. Несмотря на свой малый рост и восемьдесят с лишним лет, она вся подобралась, обуянная жаждой деятельности.

— Будь у меня инструмент!.. — повторила она.

И снова начала искать какую-нибудь трещину

в громадине-шкафу, щель, в которую можно было бы засунуть пальцы, чтобы взломать его. Она придумывала план нападения, хотела применить силу, потом вновь искала выхода в какой-нибудь уловке, которая помогла бы ей открыть шкаф при помощи хитрости.

И вдруг глаза ее заблестели — она придумала!

— Послушайте, Мартина, ведь первую створку поддерживает крючок?

— Да, сударыня, он зацепляется за кольцо винта, над средней полкой… Вот видите! Примерно там, где находится резьба!

Фелисите заранее торжествовала победу.

— У вас, наверное, найдется бурав, большой бурав… Разыщите его!

Мартина поспешно спустилась на кухню и принесла требуемый инструмент.

— Вот увидите, все обойдется без шума, — сказала г-жа Ругон, принимаясь за работу.

С необыкновенной энергией, которую трудно было заподозрить в ее маленьких, иссохших от старости руках, она вставила бурав на высоте, указанной служанкой, и просверлила первое отверстие. Но оно пришлось слишком низко, и Фелисите почувствовала, как бурав вошел в полку. Второе отверстие оказалось против железного

крюка. На этот раз она опять ошиблась. И она стала сверлить направо, налево, пока ей не удалось, орудуя все тем же буравом, подтолкнуть крючок и выбить его из кольца. Задвижка поддалась, обе створки раскрылись.

— Наконец-то! — забыв об осторожности, громко закричала Фелисите.

И тут же в тревоге замерла на месте, прислушиваясь к тому, что происходит в спальне, страшась, что разбудила Клотильду. Но дом спал, погруженный в мертвую тишину. В комнате Клотильды по-прежнему царило величавое безмолвие смерти, и Фелисите услышала только отчетливый бой часов на камине, пробивших всего один раз — час ночи. Перед ней зиял открытый настежь шкаф, с грудой бумаг, которыми были загромождены все три полки. Фелисите бросилась к шкафу — и в бесконечной тишине погребального бдения начался разгром.

— Наконец-то! — повторила она тихо. — Тридцать лет я стремлюсь к этому и жду! Скорей, скорей, Мартина, помогите мне!

Она уже успела принести высокий стул от конторки и одним прыжком вскочила на него, чтобы первым делом схватить бумаги с верхней полки, — ей помнилось, что «дела» лежали

именно там.

К своему удивлению, она не нашла жестких синих папок, здесь находились только толстые рукописи, законченные и еще не изданные произведения доктора, бесценные работы, все его исследования, все открытия, памятник будущей славы, завещанный им Рамону. Как видно, за несколько дней до смерти, считая, что под угрозой находятся только «дела» и что никто на свете не посмеет уничтожить другие его работы, доктор навел порядок в шкафу, чтобы спасти папки от первого покушения.

— Досадно! — пробормотала Фелисите. — Но здесь такая уйма бумаг, что надо взять первые попавшиеся, иначе мы не успеем. Раз я забралась на стул, очистим сначала верх… Держите, Мартина!

Она очистила полку и стала бросать рукописи служанке, которая складывала их на стол, стараясь производить как можно меньше шума. Вскоре туда перекочевали все бумаги, и Фелисите спрыгнула со стула.

— В огонь! В огонь!.. В конце концов мы доберемся и до тех, что я ищу… В огонь! В огонь! Сначала эти! Жгите все, даже самые крошечные, величиной с ноготь, даже заметки, которые невозможно разобрать, в огонь! в огонь! Только

бы помешать заразе распространиться!

И в приступе фанатической, безудержной ненависти к истине, горя страстным желанием уничтожить эти свидетельства науки, она собственноручно разорвала первую страницу какой-то рукописи, подпалила ее на лампе и бросила этот пылающий факел в большой камин, который не разжигали, должно быть, уже лет двадцать; а потом, поддерживая в нем пламя, продолжала бросать клочок за клочком остатки рукописи. Служанка, преисполнившись такой же решимости, пришла ей на помощь, схватила другую толстую тетрадь и стала вырывать из нее по листку. Огонь уже не затухал, высокий камин был охвачен ярким пламенем, которое то бледнело, то вспыхивало, получая новую пищу. Костер разгорался, все выше поднималась гора пепла, увеличивался слой почерневших страниц, по которым пробегали миллионы искр. Это была бесконечно долгая работа; скопившиеся в очаге страницы плохо горели, надо было их ворошить, переворачивать щипцами; лучше всего было их комкать и, после того как они хорошо разгорались, бросать другие. Но мало-помалу женщины приноровились, и работа пошла полным ходом.

Торопясь расправиться с новой охапкой бумаг,

Фелисите наткнулась на кресло.

— Ох, сударыня, — прошептала Мартина. — А вдруг сюда придут!

— Придут? Кто? Клотильда? Бедняжка крепко спит!.. А если она придет, когда все будет кончено, что за беда! Поверьте, я не буду прятаться, я оставлю пустой шкаф широко открытым и объявлю во всеуслышание, что очистила дом от скверны… Господи! Только бы не осталось ни одной строки этих рукописей, а до остального мне дела нет!

Между тем огонь в камине пылал уже два часа. Они вернулись к шкафу, опустошили еще две полки, оставался лишь самый низ, где лежали вперемежку какие-то заметки. Опьяненные этой иллюминацией, запыхавшиеся, покрытые испариной, они были объяты дикой жаждой разрушения. Они присаживались на корточки, пачкали руки сажей, лишь бы получше перемешать несгоревшие рукописи, и орудовали с таким неистовством, что седые космы в беспорядке разметались по плечам. Это было похоже на пляску ведьм, раздувающих адский костер ради какого-нибудь злодеяния — для сожжения святого мученика, для публичного истребления мысли, для разрушения целого мира истин и надежд. Большая комната озарялась пламенем,

от которого бледнел свет лампы, а на потолке плясали громадные, чудовищные тени.

Добравшись до глубины шкафа, откуда она уже выгребла кучи бумаг, Фелисите вдруг испустила сдавленный, торжествующий крик:

— А-а! Вот они!.. В огонь!.. В огонь!..

Наконец-то она нашла! За груду черновиков спрятал доктор синие папки. Безумная страсть к опустошению овладела Фелисите, она хватала папки обеими руками и швыряла их в огонь, который завывал, словно во время пожара.

— Горят, горят! Наконец-то они горят! Мартина, еще вот эту, эту!.. Какой огонь, какой яркий огонь!

Но служанка испугалась:

— Сударыня, будьте осторожны, вы подожжете дом… Разве не слышите, как урчит…

— Что за беда! Пусть все сгорит. Они горят, горят, какая красота! Вот еще три, еще две, и, наконец, последняя!..

Она смеялась от восторга, страшная, не помня себя, глядя на падающие куски горящей сажи. Гудение огня в камине, который никогда не прочищали, становилось все более грозным. Но это, казалось, только подстегивало Фелисите, а служанка, совсем потеряв голову, начала с криком

бегать по комнате.

Клотильда спала у ложа мертвого Паскаля, и ничто не нарушало покоя спальни. Туда не доносилось никаких звуков, только часы на камине легонько пробили три раза. Свечи горели длинным ровным пламенем; воздух был недвижим. Но сквозь тяжелый сон без сновидений Клотильда все же расслышала какой-то шум, все нарастающую кошмарную пляску. Открыв наконец глаза, она сначала ничего не поняла. Где она? Почему такая тяжесть на сердце? И вдруг она с ужасом вернулась к действительности; она увидела Паскаля, услышала крики Мартины где-то рядом и бросилась туда, испуганная, чтобы узнать, что происходит.

Еще с порога Клотильда мгновенно все поняла: широко распахнутый, опустошенный шкаф, Мартина в безумном страхе перед пожаром, ликующая Фелисите, которая толкает ногой в огонь последние обрывки папок. Дым, летающие хлопья сажи наполняли комнату, а вой пламени казался хрипом жертвы среди сатанинской пляски, только что услышанной Клотильдой сквозь сон.

И с ее губ сорвался крик — те самые слова, которые грозовой ночью выкрикнул Паскаль, застав

ее за кражей бумаг:

— Воровки! Убийцы!

Клотильда стремительно бросилась к камину; невзирая на злобное гуденье, на раскаленные куски сажи, рискуя опалить волосы и обжечь руки, она схватила кучку еще не уничтоженных пламенем листков и мужественно затушила их, прижав к груди. Но рукописей было совсем мало, жалкие остатки, едва набралась страница, крохи огромной работы, исполинского, терпеливого труда целой жизни, который огонь уничтожил за два часа. Клотильду охватил гнев, порыв яростного негодования.

— Вы воровки, убийцы!.. То, что вы сделали, — хуже убийства! Вы осквернили смерть, убили мысль, убили дух!

Старая г-жа Ругон не смутилась. Напротив, она выступила вперед, не испытывая никаких угрызений, подняв голову, готовая защищать вынесенный ею и приведенный в исполнение приговор.

— Это так ты разговариваешь со мной, твоей бабушкой?.. Я сделала то, что должна была сделать, то, в чем и ты когда-то хотела нам помочь.

— Тогда вы довели меня до сумасшествия. Но с тех пор я жила, любила и поняла… К тому же

это священное наследство, вверенное моему попечению, последняя мысль усопшего, все, что осталось от великого ума и чем я должна была поделиться со всеми… Да, верно, ты моя бабушка! Но знай, ты только что сожгла своего сына!

— Ты считаешь, что я сожгла Паскаля, потому что сожгла его бумаги! — вскричала Фелисите. — Ну что ж, я, не задумываясь, спалила бы весь город, только бы спасти славу нашей семьи!

Она все еще наступала, воинствующая, ликующая; а Клотильда, положив на стол спасенные ею почерневшие обрывки, защищала их всем своим телом, боясь, как бы Фелисите не бросила их снова в камин. Но г-жа Ругон не обращала на них внимания, не замечала она и пламени камина, которое, к счастью, гасло само по себе, а Мартина, вооружившись лопаткой, тушила сажу и последние искры горячего пепла.

— Ты отлично знаешь, — продолжала старуха, маленькая фигурка которой, казалось, выросла на глазах, — что я помышляю только об одном, лелею одну мечту, одну страсть — преуспеяние и владычество нашей семьи. Я билась за это, была на страже всю жизнь, жила так долго лишь для того, чтобы не дать ходу дурным слухам и оставить о нас добрую славу. Да, я никогда не

отчаивалась, никогда не складывала оружия, готовясь воспользоваться любой возможностью. И я достигла всего, чего хотела, потому, что умела ждать.

Широким жестом она указала на пустой шкаф, на камин, в котором затухали последние искры.

— Теперь все кончено, наша слава спасена, эти мерзкие бумаги больше не станут нас обвинять, умирая, я буду знать, что больше ей ничто не угрожает… Ругоны победили.

Вне себя Клотильда подняла руку, словно желая прогнать бабушку. Но Фелисите ушла сама, спустилась на кухню, чтобы вымыть почерневшие руки и привести в порядок волосы.

Служанка направилась за нею, но, обернувшись, уловила движение молодой хозяйки. Она вернулась.

— Я уйду отсюда, барышня, послезавтра, как только похоронят хозяина.

Наступило молчание.

— Но я не собираюсь рассчитывать вас, Мартина. Я знаю, что не вы главная виновница… Вот уже тридцать лет, как вы живете в этом доме. Оставайтесь же, оставайтесь со мной.

Старая дева, измученная, бледная как полотно, покачала седой головой.

— Нет, я служила хозяину и после него не буду служить никому!

— Даже мне!

Мартина подняла глаза, посмотрела в лицо молодой женщине — этой девочке, которую так любила и которая выросла у нее на глазах:

— Вам — нет!

Клотильда смешалась, хотела было рассказать о ребенке, которого носила, о ребенке Паскаля, ему-то Мартина, быть может, согласится служить. Но старуха угадала ее мысли, вспомнила подслушанный разговор, кинула взгляд на живот будущей матери, у которой беременность еще не была видна. Одно мгновенье она, казалось, размышляла. Потом четко сказала:

— Вы о ребенке? Нет!

И тут же сообщила Клотильде расчеты, которые сделала, как оно и полагается практичной женщине, знающей цену деньгам.

— Мне есть на что жить, я поселюсь где-нибудь на покое и буду тратить проценты со своих сбережений… А вас, барышня, я могу оставить, нужда вам больше не угрожает… Завтра господни Рамон объяснит вам, как удалось спасти у нотариуса годовой доход в четыре тысячи франков. А пока что вот ключ от секретера, где вы найдете пять

тысяч франков, их оставил хозяин… О, я отлично знаю, у нас с вами не будет недоразумений. Хозяин не уплатил мне за три месяца, но у меня есть расписки, которые это подтверждают. Кроме того, в последнее время я из собственного кармана истратила около двухсот франков, а он даже и не знал, откуда шли деньги. Все это у меня записано, и я спокойна — вы, барышня, не захотите обсчитать меня ни на один сантим… А послезавтра, когда хозяина уже не будет здесь, уйду и я.

Она спустилась на кухню, и хотя слепое благочестие толкнуло старую деву на соучастие в преступлении, Клотильду глубоко опечалил ее уход. Перед тем как вернуться в спальню, Клотильда стала собирать остатки бумаг и, к своей радости, обнаружила преспокойно лежащее на столе родословное древо, оставшееся не замеченным обеими женщинами. Эта святая реликвия было все, что уцелело от разгрома. Она схватила ее и пошла в спальню, чтобы спрятать в своем комоде вместе с обгоревшими клочками бумаг.

Оказавшись снова в торжественной тишине спальни, она ощутила странное волнение. Какое величавое безмолвие, какой глубокий мир рядом с всесокрушающим варварством, которое наполнило соседнюю комнату дымом и пеплом!

В сумраке спальни веяло священным покоем, две восковые свечи горели, не мигая, чистым, неподвижным пламенем. Она заметила, что лицо Паскаля стало совсем белым среди волн седой бороды и волос. В ореоле света он казался божественно прекрасным. Она наклонилась, еще раз поцеловала его и ощутила на губах холод мраморного лица с навеки закрытыми глазами. И так велика была ее скорбь, ибо она не уберегла творения, которое он завещал ей охранять, что она, рыдая, упала на колени. Над человеческим гением совершили надругательство, и Клотильде казалось, что весь мир рушится вместе с варварским уничтожением дела всей жизни Паскаля.

XIV

Сидя в кабинете Паскаля с ребенком на руках, которого она только что кончила кормить грудью, Клотильда застегнула корсаж. Стоял один из великолепных дней конца августа, небо пламенело, но в мягкий, дремотный полумрак обширной комнаты сквозь щели тщательно закрытых ставней пробивались лишь скупые солнечные лучи. Было около трех часов. Безмятежный воскресный покой, казалось, проникал сюда вместе с отдаленным звоном колоколов, благовестивших к вечерне. В опустевшем доме, где мать и малыш остались одни после обеда, так как служанка отпросилась навестить свою двоюродную сестру, стояла глубокая тишина.

Клотильда взглянула на своего ребенка, крупного мальчика, которому исполнилось уже три месяца. Она разрешилась от бремени в последних числах мая. Вот уже десять месяцев, как она не снимала траура по Паскалю, — простое длинное черное платье, в котором она была необыкновенно хороша, изящная, стройная, с молодым печальным лицом, обрамленным прелестными

белокурыми волосами. Улыбаться она еще не могла, но ее наполняло сладостное чувство при виде очаровательного пухленького, розового ребенка, с губами, еще влажными от молока; его взгляд упал на полосу света, в которой плясали пылинки. Он казался удивленным и не сводил глаз с этого золотого сияния, с этого ослепительного чуда. А потом к нему тихо подкрался сон, он уронил на руку матери маленькую круглую головку, уже покрытую светлым пушком.

Клотильда тихонько поднялась и уложила сына в колыбель, стоявшую подле стола. С минуту она постояла над ним и, убедившись, что ребенок заснул, опустила кисейный полог. Мягко, бесшумно ступая в полутьме, будто она едва касалась пола, Клотильда занялась делами — убрала лежавшее на столе детское белье и дважды обошла комнату в поисках затерявшегося носочка. Она была молчалива, тиха и в то же время очень деятельна. Сегодня, оставшись в полном одиночестве, она размышляла, и перед ней вновь проходил истекший год.

Не успела она прийти в себя после душераздирающих похорон Паскаля, как внезапно уехала Мартина, которая, заупрямившись, не пожелала отработать положенную неделю и привела на

свое место двоюродную сестру соседки-булочницы, крупную черноволосую девушку, к счастью, оказавшуюся довольно чистоплотной и честной. Сама Мартина поселилась в Святой Марте, забытом богом местечке, где жила настолько скупо, что умудрялась откладывать деньги из процентов со своего маленького капитала. Наследников у нее не было — кому же достанутся плоды этого неслыханного скопидомства? За десять месяцев она ни разу не переступила порога Сулейяды; хозяина здесь больше не было, и она даже не захотела взглянуть на его сына.

Потом перед Клотильдой возник образ бабушки. Фелисите навещала ее время от времени, выказывая снисходительность влиятельной родственницы с достаточно широкими взглядами, чтобы прощать чужие ошибки, если они искуплены жестокими страданиями. Она приходила без предупреждения, целовала ребенка, читала наставления, давала советы, а молодая мать оказывала г-же Ругон ту же внешнюю почтительность, какую всегда сохранял по отношению к ней Паскаль. Впрочем, Фелисите была поглощена своими успехами. Она собралась наконец воплотить в жизнь терпеливо взлелеянную и зрело обдуманную мечту об увековечении неза-

пятнанной славы семьи и пожертвовала все свое весьма значительное состояние на постройку и содержание убежища для престарелых, которое будет носить имя Ругонов. Она уже купила землю — часть бывшей загородной площадки для народных гуляний, недалеко от вокзала, и как раз в это воскресенье, в пять часов вечера, когда немного спадет жара, должна была состояться закладка первого камня — предстояло настоящее торжество, которое почтят своим присутствием власти, а королевой празднества будет Фелисите, — ее встретят рукоплесканиями, среди огромного стечения народа.

Надо сказать, что Клотильда испытывала к бабушке некоторую признательность за то, что та проявила полное бескорыстие при вскрытии завещания Паскаля, который назначил молодую женщину своей единственной наследницей; мать, имевшая право на четвертую часть имущества, выказала уважение к последней воле сына и отказалась от своей доли. Сама она собиралась лишить наследства всю свою родню, оставив ей одну только славу, и употребить весь свой капитал на сооружение убежища, которое донесет благословенное, уважаемое имя Ругонов до грядущих времен: на протяжении полувека она

жадно стремилась к наживе, но теперь презрела деньги, отдавшись более возвышенной страсти — честолюбию. Благодаря щедрости бабушки у Клотильды отпала тревога за будущее: ежегодного дохода в сумме четырех тысяч франков вполне достаточно для нее и ребенка. На эти деньги она воспитает сына, сделает из него настоящего человека. Кроме того, она положила на имя малыша в виде пожизненной ренты пять тысяч франков, хранившихся в секретере; ей принадлежала также Сулейяда, которую все советовали ей продать. Правда, содержание усадьбы стоило недорого, но что за одинокая, печальная жизнь ожидала молодую женщину в этом большом, пустынном, слишком обширном для нее доме, где она чувствовала себя затерянной! А между тем она все не решалась его покинуть. Может быть, так никогда и не решится.

Милая Сулейяда! В ней сосредоточилась вся ее любовь, вся жизнь, все воспоминания! Минутами ей казалось, что Паскаль по-прежнему живет здесь, ведь она оставила все в том же виде, в каком было при нем. Мебель стояла на прежнем месте, бой часов отмечал тот же распорядок дня. Клотильда лишь заперла комнату Паскаля, куда со священным трепетом входила теперь она одна,

чтобы поплакать, если на сердце становилось слишком тяжело. Спала она, как и прежде, когда была девушкой, в своей комнате, где они любили друг друга, на кровати, где умер Паскаль; ничто здесь не изменилось, кроме одного, — по вечерам Клотильда приносила сюда колыбель ребенка. Это была все та же уютная комната с привычной старинной мебелью, с выцветшей обивкой цвета зари, старая комната, которую теперь оживлял ребенок. А когда она сидела за обедом внизу, в светлой столовой, чувствуя себя очень одинокой, ей слышались отголоски смеха, вспоминался здоровый аппетит ее юных лет, когда оба они весело ели и пили, прославляя жизнь. И сад, и вся усадьба были тесно связаны с ее жизнью, — ведь на каждом шагу перед ней вставали неразлучные образы ее самой и Паскаля, они часто сидели вдвоем на террасе в длинной тени столетних кипарисов и созерцали долину Вьорны, окаймленную скалистыми грядами Сейи, и опаленные солнцем холмы Святой Марты. Много раз они с Паскалем проворно карабкались по каменным уступам между чахлых олив и миндальных деревьев, словно дети, убежавшие из школы. Привлекала ее и сосновая роща, душистая, нагретая солнцем, где под ногами скрипели иглы, и

огромный ток с бархатистой травой, ласкавшей плечи Клотильды, когда по вечерам она лежала там и смотрела, как на небосводе появляются первые звезды, но особенно влекли ее исполинские платаны, в тени которых они наслаждались летом дивным покоем, прислушиваясь к освежающей песенке источника, к чистой хрустальной ноте, которую он тянул в течение сотен лет! Во всем — в старых камнях дома, в каждой пяди земли Сулейяды Клотильда чувствовала горячее биение их крови, частицу их общей жизни.

Но она предпочитала проводить время в рабочем кабинете, где оживали ее лучшие воспоминания. Здесь прибавилась только колыбелька. Письменный стол доктора стоял на своем месте, у левого окна; Паскаль мог бы войти и сесть за него, потому что даже стул не был передвинут. На длинном столе в середине комнаты, между лежавшей, как прежде, грудой книг и брошюр, новым было только светлое пятно — белье грудного ребенка, которое молодая женщина как раз начала разбирать. На книжных полках стояли те же ряды томов, а большой дубовый шкаф, казалось, ревниво хранил в своих недрах наглухо запертое сокровище. Под закопченным потолком, среди беспорядочно расставленных стульев — этого

милого сердцу беспорядка мастерской, где так долго сочетались причуды молодой девушки и поиски ученого, все еще царила здоровая атмосфера труда. Больше всего волновали Клотильду ее развешанные по стенам пастели — копии с живых цветов наряду с цветами ее мечтаний, этим неудержимым полетом в воображаемые, химерические страны.

Клотильда кончала разборку крошечного детского белья, когда, подняв глаза, увидела перед собой пастель, изображающую престарелого царя Давида, положившего руку на обнаженное плечо молодой сунамитянки — Ависаги. И хотя Клотильда разучилась смеяться, она почувствовала на своем лице счастливую, умиленную улыбку. Как они любили друг друга, как мечтали о вечности в тот день, когда она шутки ради изобразила этот гордый и нежный символ! Царь был в роскошном одеянии — в прямой, отягощенной драгоценными каменьями мантии, и на его белых, как снег, волосах сверкал царский венец. Она же казалась еще нарядней, чем он, из-за своей лилейно-белой кожи, тонкой удлиненной фигуры, маленьких округлых грудей и гибких рук, исполненных божественной грации. Его уже нет, он покоится в земле, а она носит траур, чер-

ное платье, скрывающее от посторонних глаз ее торжествующую наготу, и только ребенок может подтвердить перед людьми при ярком свете дня, как спокойно и беззаветно она принесла себя в дар любимому.

Клотильда тихонько села возле колыбели. Солнечные лучи протянулись через всю комнату. В дремотном полумраке за закрытыми ставнями зной становился все тяжелее, а тишина казалась глубже. Клотильда отобрала крошечные распашонки, не спеша стала пришивать к ним завязки и вновь погрузилась в задумчивость среди жаркого безмолвия — отголоска палящего солнца за стенами дома. Мысленно обратившись к своим пастелям, отображающим действительность и фантастическим, она подумала, что двойственность ее натуры выражалась в страстном желании познать истину, заставлявшем ее часами биться над рисунком какого-нибудь цветка, и в жажде сверхъестественного, которая увлекала ее порой за пределы реальности, навевая безумные грезы о невиданных райских цветах. Такой она была всегда и чувствовала, что, несмотря на поток жизни, беспрестанно изменявший ее, она остается в глубине души все той же. Потом она подумала с глубокой благодарностью о Паскале,

который сделал ее тем, кем она стала. Он вырвал ее в раннем детстве из отвратительной среды и взял ее к себе, повинуясь, несомненно, своему доброму сердцу; в то же время ему хотелось убедиться на опыте, как будет развиваться ребенок в иной среде, окруженный правдой и любовью. Паскаля никогда не покидала мысль проверить свою старую теорию на опыте: возможно ли путем воздействия среды воспитать и даже излечить человека, исправить его, спасти физически и духовно. Конечно, Клотильда обязана Паскалю всем, что в ней есть хорошего, она представляла себе, какой бы она выросла взбалмошной и необузданной, если бы он не привил ей любовь к труду. Когда она расцвела под южным солнцем, сама жизнь бросила их в объятья друг друга, и разве ребенок не был последним проявлением его доброты и жизнелюбия и не доставлял бы им теперь много радости, если бы их не разлучила смерть?

Погрузившись в прошлое, Клотильда ясно осознала, как сильно она изменилась. Паскаль исправил ее врожденные недостатки, и она подумала сейчас о своей медленной эволюции, о борьбе в ней между действительностью и фантазией. Эта борьба началась с детских вспышек

гнева, когда зревшие в девочке семена протеста, неуравновешенности приводили ее к опасной мечтательности. А потом на нее стали находить приступы благочестия, появилась жажда иллюзий и обмана, безотлагательного счастья, ее возмущала мысль о том, что неравенство и несправедливость этого грешного мира найдут вознаграждение лишь в райском блаженстве. То было время ее споров с Паскалем, когда она терзала его, задумав убить дух ученого. Но на этом пути она вновь обрела в Паскале своего учителя, ибо он победил ее, преподав в грозовую ночь страшный урок жизни. С тех пор воздействие среды стало ощутимей, развитие Клотильды ускорилось: она превратилась в уравновешенную, благоразумную девушку, приняла жизнь такой, как она есть, в надежде, что настанет день, когда благодаря труду всего человечества мир будет избавлен от зла и страданий. Она полюбила, стала матерью и все поняла.

Вдруг ей вспомнилась другая ночь, ночь, проведенная на току. Она и теперь слышала свои собственные жалобы под звездным небом на жестокость природы, на омерзительное человечество, на несостоятельность науки и свое требование раствориться в боге, в тайне. Вне

самоотречения нет прочного счастья. Потом она услышала его ответ, изложение его символа веры: развитие разума с помощью науки, постепенное завоевание истин, как единственное возможное благо, и убеждение, что все возрастающая сумма этих истин даст в конце концов человеку если не счастье, то безмерное могущество и ясность духа. Все это приводило Паскаля к пламенной вере в жизнь. Он говорил, надо идти вместе с жизнью, которая всегда идет вперед. Нельзя надеяться на передышку, нельзя искать покоя в закоснелом невежестве и облегчения — в возврате к прошлому. Нужно обладать твердостью духа и скромностью, чтобы сказать себе — единственная награда в жизни — это прожить ее мужественно, выполняя налагаемые ею обязанности. Тогда зло окажется случайностью, которой еще не нашли объяснения, а человечество предстанет с этой точки зрения огромным механизмом, действующим ради вечного становления. Зачем рабочему, оканчивающему жизненный путь, проклинать дело своих рук лишь потому, что он не увидит, не оценит его результатов? Пусть даже процессу работы нет конца — почему не вкушать радость самого труда, движения вперед и сладостного сна после длительной усталости? Дети продолжают

труд отцов и, в свою очередь, передают дело их жизни потомкам, — вот почему родители так сильно их любят! А если это так, остается мужественно и смиренно участвовать в общем труде, отказавшись от бунтующего «я», которое требует полного счастья для себя лично.

Заглядывая теперь в свое сердце, Клотильда не ощущала страха, некогда мучившего ее при мысли о смерти. Тревога о том, что будет по ту сторону могилы, не преследовала, не терзала ее больше. Когда-то она была готова насильно вырвать у неба тайну человеческого бытия. Она томилась тоской, не понимая, зачем существует. Для чего вообще живут на земле люди? Если нет равенства, нет справедливости, каков смысл этого ненавистного прозябания, представлявшегося ей кошмаром бредовой ночи? Ее беспокойство утихло, теперь она мужественно думала обо всем этом. Может быть, ребенок — это продолжение ее самой — отогнал ее страх перед смертью? А может быть, причина крылась в обретенном ею душевном равновесии, ибо теперь она поняла, что надо жить ради самой жизни и что единственная возможность устранить душевный разлад — это радоваться выполненной задаче. Она повторяла слова доктора, который при виде

крестьянина, мирно возвращающегося домой после трудового дня, говаривал: «Вот человек, которому бредни о потустороннем мире не мешают спать по ночам!» Этим он хотел сказать, что такие вопросы возникают лишь в воспаленном мозгу бездельников. Если бы каждый делал свое дело, все спали бы спокойно. Клотильда сама испытала во время своего скорбного траура благотворное влияние труда. С тех пор как Паскаль научил ее пользоваться каждым часом, и в особенности теперь, когда она стала матерью, постоянно занятой своим ребенком, она уже не чувствовала холодной дрожи, которая пробегала у нее по спине при мысли о неведомом. Она не колеблясь отметала тревожные думы, и если ее и смущал порой страх, если от какой-нибудь повседневной неприятности ей становилось не по себе, она находила утешение и огромную поддержку в сознании, что ее ребенок стал на день старше, что завтра он будет еще старше, и так день за днем, страница за страницей совершенствуется ее живое творение. Это чудодейственно исцеляло молодую мать от всех горестей. У нее были обязанности, была цель, и чувство счастливого покоя убеждало ее: да, она делает именно то, что должна делать.

Однако в эту самую минуту она поняла, что склонность к фантастическому в ней еще не умерла. В полной тишине ей почудился легкий шорох, и она тотчас же подняла голову: кто этот божественный вестник? Не дорогой ли усопший, которого она оплакивала и чье присутствие ощущала повсюду? Как видно, у нее навеки останется что-то от верующей девочки, какой она была когда-то: любопытство ко всему таинственному, бессознательная тяга к неведомому. Она отдавала себе отчет в этой склонности и даже научно ее объясняла. Как бы ни раздвинула наука границ человеческого познания, есть, безусловно, такая черта, которую она не переступит; именно в этом желании человека узнавать все больше и больше видел Паскаль единственный смысл жизни. Клотильда допускала, со своей стороны, что в мире существуют таинственные силы, огромная область непознанного, в десять раз более обширная, чем та, которую удалось завоевать, неисследованная бесконечность, которой будет постепенно овладевать человечество. Что и говорить, это давало достаточно простора для воображения. Предаваясь мечтаниям, Клотильда утоляла ненасытную жажду в потустороннем, присущую, вероятно, каждому человеку, потреб-

ность оторваться от видимого мира и поверить в абсолютную справедливость и грядущее счастье. Все, что в ней оставалось от прежних сомнений и порывов, находило успокоение в этой грезе, ибо страждущее человечество не может жить без утешительного обмана. Теперь эти противоречия гармонически совмещались в ней. На рубеже эпохи, утомленной открытиями и вызванными наукой разрушениями, охваченной ужасом перед новым веком и безумным желанием остановить движение вперед, вернуться вспять, Клотильда являла счастливый пример равновесия, ибо страстное стремление к истине сочеталось у нее с тревогой о неведомом. Если фанатики-ученые ограничивают свой кругозор изучением природы, то ей, обыкновенной, бесхитростной женщине, вполне позволительно задумываться над тем, чего она не знает и не узнает никогда. И если символ веры Паскаля был логическим итогом всей деятельности людей, то извечный вопрос о потустороннем мире, который Клотильда по-прежнему обращала к небу, приоткрывал, мнилось ей, двери в бесконечность перед идущим вперед человечеством. Поскольку необходимо вечно учиться, смирясь с невозможностью все узнать, не означает ли это признание тайны,

вечного сомнения и вечной надежды, — иначе говоря, самой жизни?

Вновь послышался шорох, похожий на движение крыла, и Клотильда ощутила поцелуй в волосах, что на этот раз вызвало у нее улыбку. Паскаль, конечно, был здесь. И она затрепетала от безмерной любви, исходившей от всего окружающего и переполнявшей ее сердце. Как жизнерадостен и добр был Паскаль, и какую большую нежность к людям внушала ему страстная любовь к жизни! Сам он, вероятно, был только мечтателем, создавшим прекраснейшую мечту, которая привела его к вере в то, что мир станет совершенным, когда наука наделит человека неограниченным могуществом. Все принять, все использовать во имя счастья, все знать и все предвидеть, заставить природу служить человеку и жить, наслаждаясь торжеством победившего разума! А до тех пор повседневный добровольный труд должен обеспечивать здоровье всем и каждому. Быть может, когда-нибудь и само страдание будет обращено на благо человечеству. И, представляя себе огромную работу всех живущих, добрых и злых, в равной степени достойных восхищения благодаря своему мужеству и труду, она видела только братски объединенное чело-

вечество и испытывала к нему безграничную снисходительность, бесконечную жалость и жгучее сострадание. Любовь, как солнце, обогревает землю, и доброта подобна большой реке, из которой все сердца утоляют жажду.

Уже почти два часа Клотильда мерным движением поднимала и опускала иглу, а мысли ее витали далеко. Но вот завязки к распашонкам пришиты, купленные накануне пеленки перемечены. Покончив с шитьем, она встала, чтобы убрать белье. Солнце уже садилось. Сквозь ставни проникали лишь слабые косые лучи. Клотильда едва различала предметы, пришлось открыть ставень; на мгновенье она залюбовалась внезапно открывшейся перед ней широкой панорамой. Дневная жара спала, с безоблачного синего неба веял легкий ветерок. Налево отчетливо вырисовывались даже небольшие сосновые рощи среди кроваво-красных скал Сейя; а справа, позади холмов Святой Марты, уходила вдаль окутанная золотой дымкой долина Вьорны. Клотильда засмотрелась на колокольню Св. Сатюрнена, тоже позлащенную солнцем, которая высилась над розовым городом; она уже собиралась отойти от окна, когда неожиданное зрелище вновь привлекло ее внимание, и она еще долго простояла,

облокотясь на подоконник.

Вдалеке, за линией железной дороги, на бывшей площади для народных гуляний кишела огромная толпа. Клотильда тотчас вспомнила о предстоящей церемонии и догадалась, что ее бабушка Фелисите приступила к закладке приюта Ругонов — победоносного памятника, который должен донести до грядущих веков славу их семьи. Уже неделю шли грандиозные приготовления: поговаривали о том, что серебряная лопатка и творило будут вручены старой г-же Ругон, которая, несмотря на почтенный возраст, хочет насладиться своим торжеством. Больше всего Фелисите кичилась тем, что ей в третий раз удалось добиться победы над Плассаном, ибо она заставила весь город, все его три квартала выстроиться вокруг нее, сопровождать и восторженно приветствовать как благодетельницу. В самом деле, здесь должны были присутствовать дамы-патронессы, избранные из числа наиболее благородных семей квартала Св. Марка, делегация от рабочих обществ старого квартала и, наконец, наиболее почтенные жители нового города, адвокаты, нотариусы, врачи, не считая разного мелкого люда, и вся эта разодетая по-воскресному толпа устремится на празднество.

В зените своей славы Фелисите, вероятно, особенно гордилась тем, что она — одна из королев Второй империи, с достоинством носившая траур по свергнутому режиму, одержала победу над молодой Республикой в лице субпрефекта, вынудив этого представителя власти поздравлять ее и благодарить. Сначала предполагалось, что выступит с речью только мэр, но уже накануне стало достоверно известно, что будет говорить и субпрефект. Издали в свете закатного солнца Клотильда различала только черные сюртуки вперемежку со светлыми дамскими платьями. Затем послышалась отдаленная музыка — это играл оркестр городских любителей, и временами ветер доносил звучные голоса труб.

Клотильда отошла от окна, открыла большой дубовый шкаф, чтобы убрать в него свое шитье, оставленное на столе. В этот шкаф, когда-то наполненный рукописями доктора, а теперь опустевший, она складывала приданое новорожденного. Огромный зияющий шкаф казался бездонным; на широких голых полках хранились теперь лишь тонкие распашонки, одеяльце, чепчики, вязаные башмачки и стопки пеленок — миниатюрное белье грудного ребенка, пушок птенчика, еще не вылетевшего из гнезда. Там,

где покоилось столько мыслей, где тридцать лет накапливались плоды упорной работы ученого, лежали теперь носильные вещи маленького существа, которые даже нельзя было назвать одеждой, — первое белье, годное ему ненадолго и которым он скоро уже не сможет пользоваться. Казалось, что необъятный старинный шкаф ожил от этого и помолодел.

Разложив на одной из полок распашонки и простынки, Клотильда заметила большой конверт с остатками рукописей, спасенных ею от огня. И она вспомнила просьбу доктора Рамона, с которой он обратился к ней накануне вечером, — взглянуть, нет ли среди обгоревших листков бумаги чего-нибудь важного, имеющего научное значение. Он был в отчаянии от утраты бесценных рукописей, завещанных ему учителем. Тотчас же после смерти Паскаля он сделал попытку восстановить последнюю беседу с ним, всю совокупность смелых теорий, высказанных умирающим с таким героическим спокойствием; Рамон припомнил лишь выводы, а ему нужны были законченные труды, ежедневные наблюдения и сформулированные законы. Утрата была невозвратима, работу надо было начинать сызнова; Рамон жаловался, что у него имеются

только общие указания, и говорил, что из-за этой потери развитие науки задержится по меньшей мере на двадцать лет, пока не обратятся вновь к идеям одинокого исследователя, труд которого уничтожен дикой, нелепой случайностью, и не используют их.

Родословное древо, единственный оставшийся в неприкосновенности документ, Клотильда спрятала в конверт и положила на стол, подле колыбели. Просматривая обгоревшие рукописи, Клотильда окончательно убедилась, — впрочем, она была уверена в этом и раньше, — что не сохранилось ни одной целой страницы, ни одной законченной мысли. Остались только обрывки, куски наполовину сгоревших, почерневших бумаг, без последовательности, без связи. Но по мере того, как она изучала их, у нее пробуждался интерес к этим словам и фразам, наполовину уничтоженным огнем, в которых никто другой не разобрался бы. Она же вспоминала речи Паскаля в ту грозовую ночь, и фразы восстанавливались сами собой, начало слов вызывало в памяти людей и события. Так, на глаза ей попалось имя Максима; и перед ней вновь прошла вся жизнь брата, человека, настолько ей чужого, что даже смерть его, последовавшая два месяца

тому назад, оставила ее почти равнодушной. Обгоревшие строки с именем отца вызвали у Клотильды чувство неловкости; до нее дошли слухи, что он присвоил деньги и особняк сына с помощью все той же племянницы парикмахера, этой скромницы Розы, за труд которой он щедро заплатил. Встретились ей и другие имена: дяди Эжена, бывшего некоронованного короля, ныне оставшегося не у дел, кузена Сержа, настоятеля церкви Сент-Этроп, — как раз накануне ей сказали, что он умирает от чахотки. И каждая строка оживала. Из обрывков этих обугленных бумаг, где можно было разобрать лишь отдельные слоги, возникали отвратительные, но соединенные с ней кровными узами люди.

Клотильда с интересом развернула на столе родословное древо. Вид этой реликвии взволновал, умилил ее, а когда она перечитала надписи карандашом, сделанные Паскалем за несколько минут до смерти, на глазах у нее выступили слезы. С каким мужеством он вписал дату своей смерти! И какое отчаянное сожаление об уходящей жизни чувствовалось в неровном почерке строк, извещавших о предстоящем рождении ребенка! Перед Клотильдой высилось генеалогическое древо, широко раскинувшее ветви, с

многочисленными листьями, и она надолго забылась, созерцая его, ибо весь труд учителя был сосредоточен здесь — в этом систематизированном и снабженном подробнейшими данными родословии их семьи. Она вновь услышала голос Паскаля, объясняющего каждый наследственный случай, и вспомнила его уроки. Но в особенности ее интересовали дети. Коллега, которому Паскаль написал в Нумеа, чтобы запросить сведения о ребенке Этьена, рожденном на каторге, прислал наконец ответ: он кратко сообщил, что родилась девочка, кажется, вполне здоровая. Октав Муре едва не потерял свою болезненную дочь, но его сынишка по-прежнему рос здоровяком. Зато прекрасным примером крепкого здоровья и необычайной плодовитости оставалась в Валькейра семья Жана, жена которого за три года родила двух детей и была беременна третьим. Весь этот выводок беззаботно рос под ярким солнцем на плодородной земле: отец работал в поле, а мать, не унывая, варила похлебку и утирала носы малышам. Да, здесь было достаточно новых сил и труда, чтобы перевернуть весь мир! И Клотильде вдруг почудилось, что она слышит возглас Паскаля: «Что-то станется с нашей семьей? Каков будет ее последний отпрыск?» Она вновь погрузилась в

мечты перед родословным древом, уже протянувшим в будущее свои свежие побеги. Как знать, кто станет родоначальником здоровой ветви? Быть может, из их семьи появится долгожданный мудрец и преобразователь?

Негромкий плач отвлек Клотильду от этих размышлений. Кисейный полог над колыбелью заколыхался, будто от легкого вздоха: проснувшийся ребенок зашевелился и звал мать. Она тотчас взяла его на руки, весело подняла вверх, чтобы искупать в золотых лучах заходящего солнца. Но он был равнодушен к этому прекрасному вечеру; его еще неосмысленные глазки не желали смотреть на огромное небо, он только широко разевал свой розовый рот, словно вечно голодный птенец. Он плакал так горько и так проголодался, что она решила дать ему грудь. Впрочем, было самое время, он не сосал уже три часа.

Клотильда снова присела к столу. Она положила ребенка на колени, но он все же не угомонился и плакал громче и громче, проявляя нетерпение; глядя на него с улыбкой, она расстегнула корсаж. Обнажилась грудь, маленькая, округлая грудь, чуть вздувшаяся от прилива молока. Едва заметный коричневый венчик окружал сосок, подчеркивая белизну нежной кожи этой

по-прежнему прекрасной и юной женщины. Ребенок уже почувствовал молоко, приподнялся и стал искать сосок губами. Когда она приложила его ротик к груди, он удовлетворенно засопел и впился в нее, проявляя здоровый аппетит маленького существа, желающего жить. Он жадно сосал беззубыми деснами. Сначала он вцепился в грудь ручонкой, как будто для того, чтобы объявить ее своею собственностью, отстоять от всех и удержать для себя. А потом, наслаждаясь теплой струей, которая наполняла его рот, он поднял ручонку вверх и держал ее прямо, словно знамя. Клотильда с безотчетной улыбкой на губах смотрела, как этот крепыш питается ее соками. Первые недели она очень страдала от трещины на соске, и теперь еще грудь ее была болезненно-чувствительна, но она все же улыбалась умиротворенной улыбкой матери, счастливой тем, что дает свое молоко, точно так же как охотно отдала бы ему всю свою кровь.

Когда Клотильда расстегнула платье и обнажила набухшую от молока грудь, открылась и другая ее тайна, самая сокровенная и чарующая из всех: изящное ожерелье из семи молочно-белых жемчужин, которое учитель, охваченный страстной жаждой дарить, надел ей на шею в дни их нище-

ты. С тех пор она всегда носила драгоценность, скрывая ее от посторонних глаз. Простой и детски чистый жемчуг как бы говорил о ее целомудрии, сливался с ее телом. И пока ребенок сосал, она растроганно смотрела на ожерелье, вспоминая о поцелуях, живой аромат которых, казалось, хранили эти жемчужины.

Внезапно донесшиеся громкие звуки музыки удивили Клотильду. Повернувшись, она посмотрела на равнину, позлащенную лучами заходящего солнца. Ах да! Торжественная церемония, закладка первого камня! Она перевела взгляд на ребенка и снова залюбовалась им, радуясь, что он сосет с таким здоровым аппетитом. Пододвинув к себе скамеечку, она чуть-чуть приподняла колено и оперлась плечом на стол, где лежало родословное древо и почерневшие обрывки рукописей. Мысли ее были далеко, и, вкушая блаженный покой, она чувствовала, как лучшая часть ее существа, чистое материнское молоко все теснее связывает с ней дорогое создание, вышедшее из ее чрева. Ребенок родился, быть может, ему суждено стать искупителем. Колокола зазвонили, волхвы пустились в путь в сопровождении многолюдной толпы, и ликующая природа улыбается младенцу, лежащему в

пеленках. А пока, приникнув к матери, ребенок черпал из ее груди жизненные соки, она думала о его будущем. Кем станет он, когда, отдав ему все силы, она вырастит его крепким и сильным? Будет ли он ученым, который откроет хотя бы крупицу истины, полководцем, который принесет славу своей стране, или еще лучше — одним из тех народных вождей, которые примиряют страсти и утверждают царство справедливости? Она видела его прекрасным, добрым, могущественным. Такова мечта всех матерей, уверенных в том, что они произвели на свет долгожданного мессию! И в этой надежде, в этой упорной вере каждой матери, предвидящей высокую судьбу своего ребенка, крылась надежда, которая творит жизнь, и вера, которая дает человечеству неистребимую силу продолжать жизнь.

Каким будет ее ребенок? Она всматривалась в него, стараясь уловить, на кого он похож. Конечно, на своего отца, он унаследовал его глаза, что-то смелое и сильное в очертаниях лба. Себя она также узнавала в сыне, у него был тот же изящный рот и округлый подбородок. Потом с глухой тревогой она стала искать сходство с другими — со страшными предками, со всеми теми, кто значился на этом древе, дававшем по-

беги согласно законам наследственности. В кого из них он уродился — в того, в этого или еще в кого-нибудь? Но тут же ее беспокойство улеглось, она не могла не надеяться, — такой неиссякаемой надеждой было переполнено ее сердце. Вера в жизнь, которую вселил в нее учитель, помогала ей держаться стойко, мужественно, не сгибаясь. В конце концов, что значат невзгоды, страдания, людская подлость? Залог здоровья — во всеобщем труде, в жизненной силе, оплодотворяющей и зачинающей. Хорошо, если любовь приводит к рождению ребенка. Тогда вновь появляется надежда, несмотря на обнаженные язвы, на мрачную картину человеческих пороков. Жизнь начинается сызнова, продолжается та самая жизнь, в которой люди никак не могут разувериться, за которую жадно цепляются, вопреки несправедливости и горю.

Клотильда невольно посмотрела на разложенное перед ней древо предков. Да! Именно в нем таилась угроза, — сколько преступлений и грязи, сколько слез, сколько страждущей доброты! Что за необычайное смешение добра и зла! Здесь все человечество в миниатюре, с его пороками и страстями! Как знать, не лучше ли было бы испепелить весь этот презренный, злосчастный

муравейник? И вот после стольких страшных Ругонов, после стольких отвратительных Маккаров родился еще один! Жизнь не побоялась создать его, бросить этот смелый вызов, ибо она извечна. Она делает свое дело, развивается по собственным законам, равнодушная к теориям, и неустанно выполняет свою бесконечную работу. Даже рискуя создать уродов, она не может не творить, ведь производя на свет больных и безумных, она без устали продолжает свое дело в надежде создать когда-нибудь здоровых и мудрых! О, жизнь, жизнь, она неустанно обновляется, возникает вновь, многоводным потоком устремляясь к неведомому нам завершению! Жизнь, по которой мы плывем, жизнь с бесконечными и противоречивыми течениями, огромная, в постоянном движении, как безбрежное море!

Порыв горячего материнского чувства вспыхнул в сердце Клотильды, счастливой тем, что маленький ротик по-прежнему жадно сосет ее грудь. Это была молитва и призыв. Призыв к неведомому человеку, словно к неведомому богу. Призыв к человеку, каким станет завтра ее ребенок, к гению, быть может, родившемуся у нее, к мессии грядущего века, который освободит народы от сомнения и страданий! Раз людей надо

переделать — не для того ли появился на свет ее сын? Он продолжит начатые исследования, возведет рухнувшие стены, вернет уверенность бредущим ощупью людям, построит справедливое общество, где единый закон труда обеспечит всеобщее счастье. В смутные времена надо ждать пророков. Правда, он может оказаться антихристом, демоном разрушения, возвещенным в Апокалипсисе зверем, который очистит землю от наводнившей ее скверны. И жизнь будет продолжаться несмотря ни на что, только в этом случае придется запастись терпением на много тысяч лет, пока не появится наконец другой неведомый ребенок — спаситель.

Тем временем младенец высосал ее правую грудь, и так как он начал сердиться, Клотильда переложила его и дала ему левую грудь. И снова улыбнулась, ощутив прикосновение его маленьких прожорливых десен. И все же в сердце ее была надежда. Кормящая мать! Разве это не образ вечного, спасенного мира? Клотильда наклонилась и увидела ясные глаза, восхищенно открывшиеся навстречу свету. Что говорило ей это маленькое существо, от чего так забилось ее сердце под набухшей от молока грудью? Какую благую весть несут эти младенческие уста? Како-

му делу отдаст себя сын, когда станет мужчиной, сильным от ее молока? Быть может, они ничего не возвещают, быть может, уже лгут, но она все же была счастлива и полна безграничной веры в сына!

Снова вдалеке торжествующе загремел духовой оркестр. Должно быть, это был апофеоз: бабушка Фелисите со своей серебряной лопаткой в руке закладывала первый камень памятника, сооружаемого во славу Ругонов. Необъятное синее небо сияло, радуясь воскресному веселью. А в уютной тишине, в мирном уединении рабочего кабинета Клотильда улыбалась сыну, который продолжал сосать, подняв вверх ручонку, словно знамя, призывающее к жизни!